

ISSN 0132-0637

З
Октябрь

2001

Октябрь

З 2001

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

2001

МАРТ

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Эдвард РАДЗИНСКИЙ. Игры писателей. Неизданный Бомарше	3
Татьяна АНДРОНОВА. Обгоняет нас буря века. Стихи	82
Анатолий НАЙМАН. Пропущенная глава	92
Нина ГОРЛАНОВА. Принцесса и нищий. Рассказ	105
Михаил ПОПОВ. Два рассказа	111

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. Ф. ЛОСЕВ. «Смерть, где твое жало; ад, где твоя победа...» Вступление Елены Тахо-Годи. Подготовка текста А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого. Публикация А. А. Тахо-Годи	123
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Северное измерение

- Валерий ПИСИГИН.
Письма с Чукотки. Продолжение **131**
Людмила БАКШИ.
Домашний театр, или Полифония мира **164**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Ольга СЛАВНИКОВА.
Кто кому «добренский», или Великая Китайская стена **174**

Актуальная культура

- Владимир БЕРЕЗИН.
Три Саломеи **181**

Русское поле

- Рубрику ведет Павел БАСИНСКИЙ **185**

Титульный лист

- Рубрику ведет Александр ЯКОВЛЕВ **190**

Главный редактор Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Острошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министерство культуры
Российской Федерации выкупает для библиотек России
853 экземпляра журнала.**

**Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России
850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 24.01.2001. Подписано к печати 16.02.2001. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 6410 экз. Заказ № 192. Цена 39 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24.

Игры писателей

Неизданный Бомарше

Из архива Шатобриана.

Несколько пунктов из Манифеста Postrzma:

1. Игра в игру есть жизнь...

3. Презрение к настоящему есть настоящее...

5. Самый маленький остров — наш материк...

.....
9 (последний). Презрение к лающим.

Уроки охоты на льва в Африке.

Барабаны сообщают им, где сейчас лев. И они собираются — множество маленьких (местных) собачек...

Стая маленьких уродцев берет след. Они не нападают — они лают. И лев не выдерживает — уходит от нестерпимого лая, похожего на вой.

Как и положено льву, он уходит на вершину горы.

Но собачки стаей без числа бегут за ним. Они лают, они по-прежнему только лают. И, не дойдя до вершины, лев падает за-мертво... От чего он погибает? От их уродства. От мерзкого вида маленькой пасти. От несовершенства озлобленной твари. От визгливого, позорящего, незатихающего лая...

Он погибает от несвободы от лающих.

(Пункты 2, 4, 6, 7, 8 — см. «Манифест».)

Рене Франсуа Шатобриан пишет книгу

4 октября 1814 года. Золотая осень в Волчьей долине. Все было как всегда. В день его патрона Святого Франциска в большой столовой собрались самые близкие друзья Шатобриана. Рене заставил Селесту пригласить мадемуазель Н. Устроили маленький маскарад — и все сидевшие за столом получили прозвища. И, как всегда, он назвался Котом, жена Селеста — Кошкой («Ша»-тобрианы). А когда решали, как назвать мадемуазель, Селеста, с усмешкой глядя ему в глаза, предложила назвать ее Мышкой. Селеста не всегда умела быть женой Поэта. Иногда она становилась просто женой, позволяющей себе забыть свое бремя.

Он шел с мадемуазель по аллее. Все они, эти его влюбленности без числа, обязательно должны были походить на «Божественную» — на Жюльетту. Гений ищет повторений Прекрасного... Вечная Жюльетта, никогда не уходившая из его жизни. Он засмеялся, мадемуазель, конечно, похожа на Жюльетту... Вздернутый (подмигивающий солнцу) носик, девочка-женщина... Как и Жюльетта, мадемуазель носила римскую прическу «а-ля Тит»: волосы взбиты в локо-

ны и перехвачены лентой... И выходивший из моды пеплос античных богинь — рубашку с глубоким вырезом и поясом под грудь, открывавшую нежные, слабые плечи и маленькие налитые груди.

Как и Жюльетта, мадемуазель грациозно и ловко при ходьбе придерживала платье рукой, и ее ножка обнажалась по щиколотку.

Ножка мадемуазель, ножка Жюльетты... (Описать. Целомудренно.)

В новой его книге будет целая глава о Жюльетте. Как рассказать их историю? Как не стать смешным, попав в длинный список знаменитостей Европы, пребывавших у ног мадам Рекамье? (Жюльетты! Для него — Жюльетты!)

Люсьен Бонапарт, и сам Бонапарт, и герцог Веллингтон, и принц Август Прусский. Список завоевателей, плененных маленькой Жюльеттой. Как охранить ее честь, но и написать правду о Венере, отринувшей и Марса, и Юпитера — ради Поэта?..

Тот день. Она — в белой греческой тунике. Луч солнца сквозь деревья — на обнаженных руках. Солнце и мрамор. Ослепительно белая туника — на нежно-голубой софе... И все! И более он ничего не напишет... Печаль (прошлое, прошлое!) и красота сцены. Он увлекся. Успел прослезиться (легко возбуждался).

Он всмотрелся об идущей рядом мадемуазель, ибо вдруг почувствовал... Ему показалось, что в наступавшем сумраке за ними кто-то идет. Он резко обернулся.

Никого не было.

Приятное возвращение в реальность... тепло руки очаровательной мадемуазель.

Как забавно было бы соединить сцены... Ту сцену с сегодняшней... С мадемуазель. Но это можно только в Дневнике. Впрочем, даже в Дневнике ему нелзя. Он — Шатобриан.

Мадемуазель шла молча — опиралась на его руку. Она не проронила ни слова, она знала: Шатобриан думает!

Они подходили к Башне. Он рассказывал ей то, что прежде рассказывал Жюльетте, а теперь обычно рассказывает всем им. О борьбе Поэта с владыкой мира. Как Поэт заклеил Бонапарта именем Нерона, как был за это выслан из Парижа и как Господь не оставил его — он сумел купить Волчью долину. Так звали кусок земли, где стоял теперь маленький дом Поэта. А в те годы край был дик и пуст. Волки были хозяевами выжженного солнцем пустынного пространства, так напоминавшего пустыню в Аризоне, где в молодости... увы, в далекой молодости он сражался с англичанами. И вот теперь император пал...

И опять, забыв о мадемуазель, он вернулся к своему сочинению.

Король въехал в Париж. С ужасом Поэт наблюдал, как престарелый монарх, крихтя, вылез из кареты...

Подаргические, опухшие, слоновьи ноги короля (описать!)...

И, надвинув на глаза медвежьи шапки, наполеоновские солдаты старались не глядеть на жалкую старость потомка Людовика Святого.

Погруженный в мысли, он грозно сказал мадемуазель:

— И вот опять грозное небо над смутной Францией.

(Кстати, не забыть описать в книге, как этим летом по приказу короля сбрасывали Вандомскую колонну Бонапарта. Ожидали, что придут тысячи низвергать статую кумира, взявшего со страны величайший налог кровью: два миллиона французов лежат в снегах Московии, в пустынях Африки, в зеленых полях Европы. Но пришло всего несколько человек, и Поэт был среди них... Впрочем, про Поэта следует опустить. Можно быть несчастным, но нельзя — смешным.)

— И вот после того, как он залил кровью всю Европу, толпа захотела прежде него ярма, — сказал он яростно.

Мадемуазель испуганно смотрела на возбужденного Поэта. Он больно сжимал ее руку в борьбе с Бонапартом. Но она терпела. Она плохо разбиралась в политике. И очень боялась показаться глупой.

— Что-то будет,— уже печально и тихо продолжал размышлять он вслух.— Наполеон рядом, совсем рядом.

(Здесь следует вставить в книгу письмо Фуше, которое ему показали вчера. Письмо к «Агамемнону всех народов» — так льстивый негодяй именует Александра Первого. Нет, наш великий предатель неспроста доносит Александру: «Почитаю долгом сообщить, что спокойствие народов не может быть гарантировано, пока Бонапарт находится на острове Эльба». Он уже знает что-то! И он прав! Тысячу раз прав!)

— Но глупцы в Париже,— вновь грозно обратился он к мадемуазель,— в спокойствии. Они уверены, что с четырьмя сотнями солдат, оставленных Бонапарту, невозможно отвоевать империю. Забыли: этот человек не знает слова «невозможно». А рядом с Эльбой — Италия... Италия — воздух его прежней славы, пороховая гарь его побед (записать)... К нему приехала белокурая графиня Валевска с его сыном... Но белую лебедь поселили на тайной вилле и потом быстро услали. Еще бы! Он наверняка ждет к себе императрицу с наследником. Ему нужен символ прежнего величия. Ибо клянусь, он уже задумал... И Фуше прав. Проклятье!

— Говорят, она его много моложе. Но он ее любит,— тихо сказала мадемуазель.

Он оценил призыв. И, оставив книгу, окончательно вернулся к ней. Погладил ее крохотную руку.

Мадемуазель восторженно смотрела — она влюблена в него с детства. Как и все они, она росла, окруженная рассказами о нем, выросла в сетях его славы. Так что пора вытащить невод.

И голос его стал нежным, он вернулся к излюбленным рассказам... как собрал здесь, в доме Изгнанника-Поэта, все, что так любил — свои путешествия. Ливанский кедр (посещение Палестины), греческий портик, пристроенный к дому: две мраморных кариатиды с одинаковыми лицами все той же Жюльетты держали портик (воспоминание о Парфеноне). Двойная лестница внутри дома, повторявшая лестницу в родовом замке Шатобрианов, где прошло его детство, где на скалистом островке он придумал лежать после смерти... Глаза мадемуазель (как у всех у них) наполнились слезами. Впрочем, и сам он был растроган.

Сумрак опустился на аллею. Они подходили к Башне — плечи соприкасались. Пришло время рассказа о его деревьях. Он указал на маленькие деревца вдоль дороги, жалкие в печальных сумерках:

— Они мои дети, я знаю каждое из них, я уважаю их характер. И все имеют имена. В жару я укрываю их, как мать, своей тенью. Когда я состарюсь, они станут большими, и уже они укурот меня своей тенью, уже они станут заботиться обо мне.

И опять наполнились слезами ее глаза.

И вновь это наваждение — он чувствовал, что кто-то за ними идет. Резко обернулся: аллея была пуста.

Они пришли к Башне, здесь он писал. В раскрытую дверь был виден стол, глядевший в зелень.

Пора рассказать ей эту романтическую историю — историю его маленькой Башни.

— Один из прежних владельцев Волчьей долины служил в Национальной гвардии. И когда свора рыбных торговцев, эта обезумевшая толпа черни, ворвалась в королевский дворец, когда во дворе Тюильри уже валялись трупы швейцарских гвардейцев и несчастный король покорно напялил фригийский колпак, так похожий на шутовской, сей Андре Аклок, кажется, именно так его звали... — он каждый раз рассказывал эту историю чуть-чуть иначе и давно забыл, что же было в скучной действительности, забыл и имя героя, — бесстрашно защищал королеву от разъяренной черни. И Ан-

туанетта обещала, когда смута закончится, она придет навестить преданного героя.

И, ожидая ее, Андре и построил эту башню. Тщетно ожидая...

В открытую дверь Башни была видна и винтовая лестница, звавшая на второй этаж. Там стояла историческая софа, где Поэт дремал, когда на него напал «сон сочинительства». Стыдная сонливость всегда преследовала его в первые часы, когда начинал сочинять.

На этой же софе Жюльетта... Но молчание. «Тени легли на землю, и в тишине далеко, где-то там, на верхней дороге, слышался звук телеги... и бутылка вина на столе блестела в заходившем солнце. Земля расставалась с жарким днем, увы, с последними жаркими, уже осенними днями. Печаль прощания. Перистое облако, как летящий ангел». (Описать.)

Он легонько тронул пальцами ее щеку.

И тогда мадемуазель шепотом сказала ему то, чего он так ждал:

— Пощадите меня.

И он чуть приблизил лицо, и мадемуазель, поднявшись на цыпочки, торопливо, неумело, по-детски поцеловала его. И пока длился поцелуй (о свежесть, о детский запах ее губ!), он привычно колебался, решаясь, что делать после... Все было как всегда: уже решившись *подняться* с ней на второй этаж, он, оторвавшись от ее слабых, покорных губ... решил все-таки *не* подниматься!

Он нежно прикоснулся к ее лицу (ветерок, тронувший лист, дуновение и пробудившаяся Афродита... нега, томление пробуждения).

Он понял, что напишет:

«Я сказал ей: “Я могу вас любить, но никогда не смогу быть *вашим*, ибо лист, падающий с дерева... тростник, колеблемый ветром, или облако... вон то облако, сонно плывущее над домом, заставят меня забыть о вас. Простите старого Поэта”».

И он сказал ей это. Она заплакала. И поцеловала его руку.

Они подошли к дому. Как всегда, он уже жалел о случившемся.

Мадемуазель уезжала последней. Он провожал ее. Красные глаза девочки. Усмешка Селесты.

Но он («как обычно»,— напишет потом Селеста в мемуарах) предпочел не заметить беспощадной улыбки жены.

Он смотрел, как крохотная туфелька красотки ступила на ступеньку фиакра, и поймал последний взгляд мадемуазель. Влюбленный взгляд.

Экипаж, исчезающий за поворотом аллеи, или лучше не так: «Освободивший для взора всю таинственную длину аллеи: печаль осеннего вечера (как рано темнеет!), шорохи падающей листвы, шум фонтана — вечная мелодия бегущей среди мрамора воды».

И вновь ощущение внезапного непонятного страха. Как только фиакр скрылся за поворотом аллеи, он позвал слугу и приказал осмотреть парк.

Он вошел в Башню. Тишина. Деревья. Ветер. Качаются высокие кроны. Экономная природа. Кроны деревьев — это те же вознесенные к небу корни, только нежные, ибо живут в небе. И крепость окаменевших корней — там, в земле. Пахло костром. Слуги жгли опавшие листья. Запах смерти.

Он назовет книгу «Записки из могилы». Вчерашние события. Листья опали и уже сожжены. Книгу должно напечатать после его смерти. Смерть. Как сладка жалость к самому себе. После смерти он продолжит говорить с миром. «О мой читатель, я не слышу тебя, я уже в могиле, которую ты попираешь ногами».

«Замогильные записки» о его жизни. О времени...

Как положено гению, он пришел в мир Накануне.

Как любимый Цицерон, он наблюдал Вселенскую Катастрофу.

Его жизнь была достойна его дара.

Итак, начало. Тот день, увы, такой далекий, когда он, молодой потомок древнего рода, был представлен к ее двору.

Толстый Людовик XVI. Этот верный муж странно заканчивал череду любвеобильных Людовиков. Гордый нос Бурбонов украшал тогда потомство многих фрейлин. «Бог простит, свет забудет, но нос останется». Он застал эту шутку, модную тогда в Версале. Бедный Шестнадцатый Людовик — добродушный толстяк. Жертва за грехи своих предков. Тщетно старавшийся задобрить нацию, выросшую из пеленок. И Антуанетта — маленькая, грациозная, воплощение галантного века. Королева рококо оказалась огнем, который запалил пороховую бочку.

Залы Версаля. Выставка могущества и роскоши. Свечи в гигантских канделябрах. В зеркалах игра горящих свечей: отражаются, дwoятся кружева, воланы, ленты, мерцают бриллиантовые пуговицы, фалды расшитых камзолов... Обнаженные плечи... Поток драгоценностей слепит в зеркальной стене... (Бал призраков. Описать!)

Режим казался вечным. И никогда так не был близок к гибели.

Ангел уже вострубил. И скоро разрушится величайший трон в Европе. Восемь веков монархии — великого опекуна нации — заканчивались. Нация выросла. Она решила жить без Пастырей — королей.

Революция. И плоть человеческая станет прозрачной в огне и крови. И в безвестную яму будет брошена жертва грядущему, прекраснейшая плоть галантного века — Королева. И варварский обряд похорон жертв гильотины: между раздвинутыми ногами обезглавленной красавицы положат самую красивую голову Европы.

Его первый бал... Кузина, обучившая его любви. Ее платье из атласа. (Описать: светлые, будто ослабевшие, пастельные тона.)

И вот свершилось: голубой плащ кузины, столъ величественно ниспадавший, сброшен у кровати, розовая сумочка («помпадур»), перчатки и муфта полетели на кресла...

Она стоит в обруче, еще мгновение назад поддерживавшем широкую, как корабль (нужно другое сравнение), юбку... Бесстыдно белеет нижняя рубашка, украшенная серебром и кружевом. Ее слабая ножка — мягкие туфли из шелка с драгоценными камнями...

Он растерялся... Ее смех: «Ну помогите несчастной избавиться от последнего оплота невинности».

И обруч падает. Бьют часы. Великая ночь, когда Поэт потерял невинность...

Кузину обезглавят. И целовавшую его голову уложат между ног в шелковых туфельках...

Революция. Ее все ждали, все о ней говорили... Сколько просвещенных умов, потомков древнейших родов, считали хорошим тоном издеваться над слабым королем, любить Вольтера и считать Бога выдумкой для дураков. Но хоть и вольничали в разговорах, никто не думал изменять присяге. Болтали о революции с удовольствием, ибо всерьез не верили в нее.

И как все мгновенно свершилось... Еще утром была королевская власть, но днем взята Бастилия. И прежней власти нет. Однако власть этого не знает, она не понимает: не просто разрушена главная тюрьма, но уже пошли часы революции. Волшебные часы, где минута равна веку...

Лавина событий. Ужасающая *быстрота*, именно так живет революция. А гибнущая власть продолжает жить в своем, прежнем, неторопливом течении времени.

И король не может понять, куда исчезло его преданное дворянство, где верные солдаты, не осознает, что все волшебным переменялось, ибо за день революции общество прожило сто лет. Что верными престолу остаются только швей-

царские гвардейцы, потому что они чужие... и вместе с властью существуют в прежнем времени...

В разрушенной Бастилии, растаскав на сувениры ее камни, просвещенные аристократы славят падение своего монарха... Стараясь не замечать голов защитников крепости, качающихся на пиках над поющей толпой...

Стоят солнечные дни. В развалинах Бастилии открываются кафе. И принц крови герцог Орлеанский обличает своего короля под овации черни...

«Герцог Равенство» гордо носит эту кличку толпы и братается с народом... и не понимает, что и он обречен.

Ибо глух и слеп не только несчастный король. Просвещенные философы, вольнолюбивые аристократы, устроившие революцию, также не понимают ее стремительности... Вчерашние рабы, которых они освободили, сегодня (скорости революции!) вместо вечной благодарности уже почувствовали себя новыми хозяевами и ненавидят вчерашних хозяев-освободителей...

Невидимые часы торопятся к невиданной крови.

Террор революции. Общество, обезглавившее своего короля, не может остановиться. Отведавшие крови своего Пастыря безумны...

Рушатся авторитеты опыта и возраста, таланта и происхождения. Все низвергнуто. Возводят на вершины исполинов, которые при падении оказываются карликами...

Сам он счастливо избежал этого времени. И гибель родного брата, жены брата... все случилось без него: он уехал тогда в Америку.

Америка. Сражения с англичанами, переселенцы, индейцы, пустыня. Как все это будет разнообразить повествование.

Гибель революции — уже в его отсутствие. Вечная человеческая Комедия — вчерашние рабы, уставшие от свободы, потребовали новых цепей! Взбунтовавшийся род человеческого запросил узду. И вот он пришел, смиритель революции. И железным посохом загнал в теплый хлев мятежное человеческое стадо... Бонапарт.

Последняя часть будущей книги. Он вернулся во Францию и застал Империю. Новый двор Наполеона. Вчерашний лейтенант пытался повторить великолепие королевского двора. Но изящество и грация умирают при звуках барабана. Двором должна править женщина, а не вчерашние булочки и солдаты — наполеоновские маршалы, для которых дворец — всего лишь бивуак между сражениями.

Но Наполеонов двор — не только жалкий фарс. Это преступный плод недавнего Апокалипсиса. Здесь соединились недобитки — старые аристократы с убийцами своих отцов и братьев, здесь потомки жертв братались со своими палачами.

Здесь он встретил мужа кузины, ставшего графом Империи, мило беседовавшего в салоне с ее убийцами.

И эти вчерашние революционеры, столь недавно с ненавистью убивавшие обладателей титулов, теперь наслаждались этими титулами. Которые, как кость, швырял им Император плетев.

Наполеон. Маленький, пухлый, в белых лосинах... Торчит брюшко, похож на молодого буржуа, отнюдь не на человека, залившего кровью целый мир. Он кажется даже добродушным, пока не встречаешься с ним взглядом. Ледяной взгляд. От которого дрожали его бесстрашные маршалы (взгляд — бездна, холод, там смерть). Непреклонный, квадратный, как топор, волевой подбородок императора. Он легко отнял свободу у французов. Оказалось, толпа вовсе не любит свободу, их единственный кумир — равенство. Недаром равенство связано тайными узами с деспотизмом. И Бонапарт воистину уравнивал всех французов — и в правах, и в бесправии. И право на собственное мнение имел лишь один человек во Франции... Но владыке мира не удалось купить Поэта.

«Почему-то большая литература всегда против меня, а маленькая — за». Это сказал Наполеон о нем. И он гордился, когда Император запретил его речь в Академии. «Будь она произнесена, г-на Шатобриана пришлось бы бросить в каменный мешок».

Падение Наполеона.

Когда-то старик Мерсье сказал: «Постараюсь пожить подольше. Мне очень интересно знать, чем все кончится!»

Что ж, и Мерсье, и ему это удалось. Они увидели гибель королевства, по-том гибель революции, и вот теперь гибель Империи.

Как приблизились к Парижу союзники. И как Бурбоны, которых *навечно* (бойтесь этого слова, вечность — прерогатива богов) изгнала революция, готовились въехать в Париж.

И его соседи, вчерашние революционеры, бросились в бельевую госпожи Шатобриан за белыми простынями, чтобы намалевать на них королевские лилии.

Селеста с честью отстояла свою бельевую. Но тысячи флагов с белыми королевскими лилиями висели тогда на парижских домах. И должно быть, русский император и союзники очень удивлялись несметному количеству монархистов в Париже. Монархию в те дни любили все. Даже палач Сансон, обезглавивший и короля, и королеву, и аристократов без числа, оказалось, в душе был монархист. Так его сын писал теперь в своих воспоминаниях.

Правда, оставался этот грозный вопрос — *кто?* Кто был в этих беспощадных толпах, которые громили аббатства и дворцы? Кто тысячами собирался на площади и в восторге вопил, когда рубили головы короля и королевы? Кто выкинул из могил останки великих королей, спавших вечным сном в Сен-Дени, и бросил их в грязную яму? Кто это был?!

В это время ему удалось получить постановление революционного трибунала о казни четырнадцати человек, среди которых были его брат, жена брата и ее родители — добрейший господин Мальзерб и его супруга, а также их кузина, старуха герцогиня де Грамон. В пять часов на площади Революции их всех обезглавил этот «тайный монархист» палач Сансон.

Милый Мальзерб... Он был министром Людовика и великим либералом. Приверженец и старых добродетелей, и новых идей. Когда революция уже победила и чернь держала короля и королеву пленниками в Тюильри, Поэт вместе с братом пришел к Мальзербу спросить совета — уезжать или не уезжать из Парижа?

И Мальзерб сказал им: «Ни в коем случае! Поверьте старику, весь этот кровавый балаган скоро закончится и, как любит говорить наш король, нация вновь вспомнит свой счастливый и легкий характер». Брат послушал родственника, а он — нет.

Прошло совсем немного времени, и народ со счастливым характером отрубил голову и королю, и Мальзербу, и брату.

Ну а потом он опишет нынешний венец человеческой Комедии.

Кто сейчас ближе всех к королевскому двору, который вернулся во Францию? Кто стал доверенным лицом у Людовика XVIII? Негодяй Галейран — епископ-расстрига, предавший последовательно Бога, революцию, Наполеона. Кичившийся тем, чего следовало стыдиться: сумел уцелеть после падения всех режимов. Ибо великие умы, свершающие великие события, как правило, гибнут. Умы восторженные, умеющие извлекать из великих событий выгоду, остаются.

Наслаждается нажитым богатством двойник Галейрана (и оттого ненавистник его) Фуше. Стрелявший из пушек по беззащитным, связанным аристократам в Лионе, забивший трупами целую реку, министр полиции и при Директории, покончившей с революцией, и при Наполеоне, покончившем с Директори-

ей, и при короле, покончившем с Наполеоном. При короле, родном брате прежнего короля, одним из убийц которого и был Фуше!..

Какие сцены будут в его книге!..

Как успокоилось все в душе. Приблизилась старость. И звуки прошедшей жизни яснее слышны, как в осеннем, опавшем лесу. Несправедливость старости. Старый Поэт как старый соловей — в этом уже противоречие. В конце концов для Поэта Господь мог бы сделать исключение.

Он придвинул бумагу. Торжественный час.

Надо начать со вступления о Тщете. Он много путешествовал в юности. Чтобы понять: нет нужды путешествовать по земле. Самое сладкое путешествие — внутрь самого себя... Ибо носим в себе целую Вселенную. В лесной чаще сядьте на ствол поваленного дерева. И в тишине, когда над верхушками деревьев плывут облака, в душе своей вы ясно почувствуете музыку Мироздания... Величайшая Тайна присутствия Его. Так что стоит ли искать Истину далеко от дома — на берегах далеких океанов...

Он решительно взялся за перо.

И тогда...

Маркиз де С., писатель

Вот тогда и заскрипела лестница. Шатобриан обернулся и увидел незнакомца, спускавшегося из верхней комнаты.

В каком-то оцепенении смотрел, как тот ступил на пол. Пол скрипнул...

Тускло светила свеча. И когда незнакомец все так же молча шагнул к столу, он, наконец, разглядел и привычно подробно описал: «Тучен. Очень. И, видно, очень стар. Стар и его голубой (отлично сшитый, дорогой) фрак, вытерт до блеска временем, как и его розовые панталоны. Но ни малейших следов дряхлости в движениях. Очень правильные (оттого плохо запоминающиеся) черты: небольшой лоб, небольшой нос, выцветшие от времени голубые глаза. Должно быть, в детстве был хорошеньким ребенком. А теперь его лицо, сохранившее детские черты, брошено в вязаную сумку глубоких рывтин-морщин... (Вычурно, нужно иное.)»

— Пришлось ускользнуть от ваших слуг.— Пришедший заговорил дребезжащим голосом.— Что, впрочем, нетрудно. Прохвосты, как и положено лакеям, выполняли ваше приказание только с видимым усердием. Но их жалкое старание все же загнало меня в вашу комнату. Заодно сумел отдохнуть немного, что не лишнее. Сколько лье пришлось пройти по пути к вам! Так что с вашего позволения...— Он уселся на стул и отодвинулся в темный угол комнаты.

Теперь он был почти невидим. И только дребезжащий голос звучал из темноты.

Шатобриан сразу понял: знакомый тип людей. (Таких он много встречал в Америке и ненавидел.) Публичные скандалисты, напрочь лишённые застенчивости и приличий. Но он не мог не отметить: странный старик держался с неким насмешливым достоинством.

Пришелец прочел его мысли:

— Да, мое прошлое, я подразумеваю древность моего рода... вас не разочарует. Для вас это важно. Вы у нас считаетесь паладином монархии. Моя мать-покойница была фрейлиной у принцессы Конде, так что я родился во дворце принца. Впрочем, и давно почивший мой отец тоже щеголял титулами — посол при русском дворе. И в больших друзьях был с вашим папашей. Отменный был мерзавец! Я о своем отце. Про вашего не скажу, не знаю. Я объясню вам все это, чтобы впоследствии было понятней, почему я пришел именно к вам. И тем не менее мне не хотелось бы называть свое имя, оно не обрело еще того величия, которое готовит ему будущее... Так что пока зовите меня просто — маркиз де С.

Шатобриан молчал. Маркиз засмеялся:

— Какой дурной вкус у вас в доме!.. Я, как и вы, провел детство в замке. Но в отличие от вас, любовно украсившего всеми средневековыми глупостями свое жилище, я с детства хохотал над подобными украшениями. Единственное, что меня примирило с нашим замком, — множество необитаемых комнат. Сначала спасался в них от поучений семьи. А потом в одной из них, самой дальней, в тринадцать лет изнасиловал смазливую служанку... Кстати, у вас на столе прелестный цыпленок. Ужин Поэта. Богатого Поэта. Богатый и Поэт — разве так может быть?.. Однако я умираю от голода. Много километров пути. И к тому же я обожаю поесть. Со вкусом поесть, с утонченностью поиметь хорошую шлюху. Вот и все мои нынешние забавы. Вы не будете, конечно, возражать, если я удовлетворю первое. — Он потянулся и преспокойно забрал тарелку с цыпленком и бутылку вина — ужин Шатобриана (забота Селесты), стоявший на уголке стола. И вновь отодвинулся в темноту комнаты.

— Но позвольте... — беспомощно начал Шатобриан.

Старик будто не слышал и, с упоением поедая цыпленка, продолжал:

— Кстати, история со служанкой — целый рассказ. Могу подарить, как писатель писателю. Забыл вам сказать — я тоже писатель. Сейчас мало кто знает обо мне. Так же, как мало кто не знает о вас. Но не в обиду будет сказано: в будущем все станет наоборот... Итак, о служанке. Считайте это платой за ваше очень скромное угощение. Сначала я застал с ней родича, почтеннейшего аббата, впоследствии приора Тулузского. Кстати, через него мы с вами тоже в родстве, говорят, подлец знал вашу бабушку и наставил прелестные рога вашему дедушке. Впрочем, тогда это не считалось зазорным. Какая была эпоха! Ревнивый муж — вот кто был смешон. Обманутый муж — нет. Я ведь все это застал... Когда у графа X сбежала жена, он тотчас послал за ней свою карету. Нет, не для того, чтобы настигнуть ее с любовником, графом Z, избави Бог! — Старик расхохотался. — Просто сама мысль, что его жена будет путешествовать в какой-то наемной карете, была ему унизительна. И похитивший ее граф Z впоследствии с гордостью заявлял: «Какая огромная честь быть любовником жены такого джентльмена»

...Однако вернемся к нашему с вами родственнику — аббату. — Старик хрустел уже останками цыпленка. — Итак, мне было тринадцать, когда я затаился в укрытии и воочию увидел, как наш святоша знакомился с тайнами прелестной пещеры, которую плутовка таила под юбкой. Как он ловко-привычно задрал свою рясу и закинул ей нижние юбки выше живота. При этом продолжая с ней беседовать на вечные темы. «Что делать, — говорил он, — Господь сотворил нас с тем, что мы, глупцы, смеем называть «пороками» и что, возможно, Он называет «потребностями»...

Я не спрашивал тогда себя, почему до сих пор он жив, почему Господь не поразил его молнией... нет. Я был в безумии, всю ночь изнемогал. Видение запрокинутых женских ног. И уже на следующий день я решился сам отправиться в это восхитительное путешествие — по родственному пути. Я был красавчик и уложить в постель жалкую служанку после старика аббата мне ничего не стоило. Но, к счастью, я этого не понимал. Вместо этого я взял нож и подстерег ее в темном коридоре в самой отдаленной части замка. Там находились комнаты для прислуги. И рядом была комната, где по семейной легенде обитала прапрапрабабушка, убитая почему-то прапрапрадедушкой. В комнате этой по причине ужасов, в ней произошедших, никто не жил. Вот туда-то я и загнал ее ножом. Пахло сыростью, было холодно, все-таки комнату не посещали лет двести. Я толкнул ее на кровать, подняв столб двухсотлетней пыли. Она рыдала от ужаса — от страха комнаты. И, наверное, ничего не чувствовала. Но чувствовал я! Вот тогда я и совершил главное открытие. — Маркиз остановился и зашептал: — Я понял — в женском ужасе рождается истинное наслаждение мужчины. Пробуждается тайная истина. Природа Зверя. Да, мы всего лишь звери, трусливо отвернувшиеся от своей природы. Вот что я открыл. Простите, но все сладкие глупости, которые вы написали о Любви, не

стоят одного мига этой слепящей радости от человеческой боли, награды победителю. Мой глупый родственник аббат пользовался красотой бездушно, как ночным горшком. Я же наслаждался... Потом, когда я служил в полку, у нас, у офицеров, был обычный, тогда банальный девиз — «Служить королю и женщинам». И, когда полк уходил на новое место, мы обязаны были покидать наших дам без сожаления. И я не просто с охотой исполнял этот кодекс негодяя. Но со сладким ожиданием. Ибо в их слезах во время моего нарочито бездушного, наглого прощания я чувствовал сладчайшее ощущение женской боли... И когда, склонив головку, она рыдала, как же мне хотелось... полоснуть ножом по склоненной шее... и как я любил эту вздрагивающую от рыданий беззащитную шейку. И постепенно я понял: оркестр боли и страсти постоянно звучит в Природе. На низших ее ступенях, где природа говорит без прикрас, звучит ясно и громко. Вот почему амебы при совокуплении поедают друг друга и крабы во время случки выкусывают клочки тела друг у друга. Впрочем, даже при обычном поцелуе пробуждается будто бы невинная жажда — укусить. Да, боль подстегивает наслаждение... Кстати, я следил сегодня за вами, когда вы стояли здесь с этой юной красоткой. Неужели вам не приходило в голову позвать ее наверх и изнасиловать? Поверьте, где-то в тайниках души приходило. Но вы не сумели это услышать. А если и услышали бы этот задавленный шепот истины, тотчас перекрестились и трусливо его прогнали. И вместо правды написали бы очередные сентиментальные вирши, которые так нравятся образованной черни...

Более терпеть Шатобриан не мог. И потом много раз спрашивал себя: отчего он вообще его слушал?

— Послушайте вы, старик! Неужто вам не стыдно все это говорить?

Маркиз погрозил ему из темноты пальцем.

— Не будьте банальным пошляком. Правда, кто-то из вас, пошляков, решив объяснить поприличнее, объявил: «У желаний нет возраста». И это тоже глупость. Возраст только утончает желание. И все слышнее голос, который поднимается со дна... загаженного за нашу жизнь дна души... Сонный голос убаюканного законами, религией, страхом Зверя. И надо быть отважным, чтобы разбудить спящего. Вот об этих отважных я и писал. Мои сочинения даже издавались в неразберихе революции. Вы в это время отсиживались по заграницам. И не застали мига моей скандальной славы... Да, пожалуй, можно употребить это слово — «славы». Так что я пришел к вам как писатель к писателю.

— Послушайте наконец...

— Да, конечно, вы торопитесь. Писать очередную сладкую ложь, которой такие, как вы, столетиями потчуют человечество. Зачем я пришел? Хотите банальной конкретности? Такой же пустой формальности, как мое имя? Мое древнее славное имя, — он расхохотался, — которое я запятнал по словам идиотов. И которое я возвысил по будущим словам смелых потомков.

— Послушайте, вы съели мой ужин. Что вам еще нужно от меня?

Шатобриан пытался быть грозным, но почему-то не получалось.

Маркиз будто не слышал его, он вдруг задумался. И долго молчал, а потом со странным усилием сказал...

Рассказ смельчака

— Я пришел продать вам некую удивительную историю. Но, к сожалению, она нуждается в предисловии. Итак... — Он опять задумался и, наконец, продолжил: — Итак, после замка, где я, как и вы, родился, я, в отличие от вас, провел долгое время в разного рода местах, где вам побывать не удалось. — Он вновь рассмеялся. — Простите... я представил вас там... Хотя я уверен, что всякому пишущему надо непременно там побывать. В этих местах для смельчаков. Я говорю о тюрмах...

— Но мне это все неинтересно...— жалко начал Шатобриан.

Старик не слушал. У него была манера не слушать собеседника. С обворожительной, светской улыбкой он продолжал говорить:

— Например, тюрьма в Венсенском замке, где был заключен и расстрелян столько раз воспетый вами жалкий герцог Энгийенский. Задолго до него сидел там я, ваш покорный слуга. За что? За отвагу, за искренность в желаниях. Проститутка пожаловалась, что я не выпускал ее из своего дома, бил и после этого заставлял заниматься любовью. Точнее, всеми видами. Именно эти разнообразные варианты наслаждений, которым мы предавались, почему-то названные в протоколе «извращениями», она старательно перечислила. И за это меня отправили в тюрьму. Какая нелепость! И где логика? Если она продает свое тело для наслаждений, оно уже принадлежит тому, кто за него заплатил. Если занимаешься ремеслом Розы, терпи уколы шипов. Но то, что понятно в Риме и Венеции, где эту девку не стали бы даже слушать, постарались не понять у нас в Париже... Это было перед революцией. И было модно выступать против старой аристократии.

И они упекли меня... Но Венсенский замок, где я отбывал срок, надо сказать, оказался очень приличным заведением. Отлично кормили... там прекрасный повар, приятные прогулки по двору замка, где, кстати, совсем недалеко от рва, и «шлепнули»... любимое словечко нашей революции... столь чтимого вами герцога Энгийенского... Потом уже в моей жизни были грязные провинциальные тюрьмы... Похитил трех девушек и знатную даму... всех вместе, как сказано в обвинении, «удерживал»... в моем «маленьком домике»... Мой «петит мезон», полный поэзии. Вы должны были еще застать эти милые домики, которые понастроили вельможи в дни славного короля Людовика Пятнадцатого... Вы бывали в них?

— Я не бывал в них! Не бывал!

— Простите, но, видимо, по причине ханжества. А жаль. Я владел таким домиком. И каждый раз, когда выпускали из тюрьмы, мчался в мои «Листья», в мои «Безумства»! Вы помните, они назывались безумствами — *folies*. Это была очаровательная игра слов: *folie* — безумство, с латинским *sud folliis* — что означало «под листьями». И вправду домики, где мы, смельчаки, предавались любовным безумствам, прятались в окрестностях Парижа в тени деревьев под густой листвой.— Теперь маркиз говорил несколько нараспев, будто читая стихи.— Снаружи похожие на обычные фермы, внутри это были маленькие дворцы. Моя спальня выходила в крохотный сад, где сквозь листья белела мраморная плоть: нимфы, сатиры изображали в мраморе утехи любви. И ручейки и маленький фонтан журчанием аккомпанировали звукам любви внутри моего домика, моего *folie*. Стены, обитые шелковой розовой материей, зеркала, мраморная ванная, клавесин, разрисованный Ватто, краны в виде лебединых шей лили душистую воду, крохотная гостиная с часами в виде нимфы с несравненным задом, на котором стрелки отсчитывали время... В моих *folies* бывали и девки с улицы, и знатные дамы. И она — знаменитая танцовщица Бовуазен... Вижу, вы не потрясены. Вот так проходит мирская слава... Неужели вы ее не помните? Да, да, вы слишком молоды были в то время. Как она была знаменита... о ней писали во всех скандальных мемуарах. Ее грудь, ее осиная талия, великолепные бедра... Легенды века. И когда она наклонялась... Понял! Щажу ваше ханжество... Нет, жизнь тогда была прекрасна, если бы не одно несчастье: был женат. На скучной даме, естественно, из прекрасной семьи, шесть сотен лет во французской истории. Понятно, что средневековые идиоты-родители никак не могли понять экспериментов смельчака. И когда... как бы это сказать... я вовлек в мои любовные изыскания ее родную сестру... соединил их в постели...

— Я просил вас!

— Да, да... Вновь щажу ваше ханжество... Тесть и теща упекли меня в Бастилию. Там, кстати, тоже хорошо кормили. Башня, где я находился, называлась «Башня Свободы», у кого-то был дьявольский юмор. На этой башне стояли

пушки, и из них безбожно палили в дни праздников. Мешали работать. И там я провел пять лет. Там-то все и случилось...

— Неужели приступаете к цели повествования?

— Спешу вас обрадовать — почти. Вы не могли бы по этому радостному случаю приказать принести мне немного вина?

— Нет, — мрачно сказал Шатобриан.

— Ваша воля. Хотя куда гостеприимней было бы...

— Нет!

Старик вздохнул и продолжал:

— Все началось с того, что за большие деньги мне разрешили приводить в камеру мою любимую шлюху... В свое время я познакомился с нею в провинциальном борделе... Если б вы знали, какое у нее было лицо... Какое **особенное** лицо! Когда я увидел его... Но об этом потом, если согласитесь купить мою историю... Короче, она приходила ко мне в камеру. И с превеликим удовольствием позволяла мне делать именно то, за что я был туда посажен. Держать в тюрьме как раз за то, что позволяют делать в этой самой тюрьме! Абсурд, точнее, символ... Она приходила ко мне до тех пор, пока ее не увидел комендант Бастилии... Когда он увидел **ее** лицо, **то чуть не плюхнулся в обморок...** И моя подруга тотчас исчезла из моей жизни. Зато все волшебным образом переменялось. Мне разрешили доставлять из дома все, что я так любил: шоколад, горшочки с джемом, персики в воде... На этих яствах и в неподвижности я, как видите, растолстел. А был так строен... Разрешили застелить ковром ледяной пол, побелить каменные стены, покрыть их портъерами — получилось неплохое гнездышко, где я принимал их... Да, да, меня совсем удивили: вместо моей возлюбленной разрешили приглашать девиц из соседнего борделя. А дальше — больше: позволили принести из дома тетради голландской бумаги. Чудо! Теперь меня не мучили обысками и позволяли писать все, что я хочу. И осенними вечерами я вдохновенно описывал то, что мне разрешали делать только в камере. В башне, вознесенный над крышами Парижа, я чувствовал себя так же одиноко, как мой герой в этом глупом мире. В моем черепе они свершали поступки, которые вам показались бы чудовищными, но которые свойственны нашей природе. К колоннам в зале привязывали пышногрудых женщин. Их спины, обращенные к алькову, где сидели мои герои...

— Замолчите немедленно!

— Охотно повинуюсь. Я, конечно, понимал, что только по чьей-то *таинственной и могущественной воле* переведен в это особое положение, и неизвестно, что будет со мной завтра. Я так привык к насмешкам судьбы, не любящей нас — *смелых*. И оттого сделал все, чтобы обезопасить главное — свою рукопись. Чтобы удобнее было ее прятать, соорудил из тетрадей свиток длиной этак метров в сто пятьдесят. И после работы сворачивал манускрипт, отправлял его на покой в тайник в стене камеры... И однажды началось! Рано утром... я еще спал... ко мне в камеру ввели посетителя. Он предложил мне ни больше ни меньше, как одеться и следовать за ним. Меня посадили в карету, и мы беспрепятственно покинули Бастилию... Меня привезли в Пале-Рояль. Я любил это место, где по аллеям гуляют кокетки, похожие на герцогинь, и герцогини, так похожие на девок. Меня проводили во дворец. И я увидел принца...

— Герцог Орлеанский!

— Ненавидимый нынче вами и всеми принц Орлеанский! Кто бы мог подумать тогда, что всего через несколько лет революция подобострастно назовет его «герцог Равенство» и сей принц крови будет голосовать за казнь короля... Вот тогда, во время нашей беседы, я и узнал, в чем странная причина всех милостей. Вы не утомились?

— Продолжайте, — глухо сказал Шатобриан.

— Я попрошу вашего слова о конфиденциальности моего дальнейшего рассказа. Ибо, если вы не купите моей истории, она должна умереть в вашей папьяке.

Шатобриан кивнул.

— Словами, мой друг.

— Я обещаю, сударь.

— В отличие от вас я всегда любил Орлеанский дом. Я ценил его предка, славного регента в дни малолетства Людовика Пятнадцатого, этого смельчака, буквально сгнившего от любовных наслаждений. Даже намеревался тогда сделать его одним из своих героев. «Колесован на плахе наслаждений!» Какая прекрасная фраза, сказанная им о себе самом... Ибо наслаждение и боль — вместе. И единственный закон, который, как известно, он написал: «Будем развлекаться». И все! В оригинале, правда, он звучал куда смелее и простонароднее... А венерические болезни, которыми он бесчисленно болел и гордился, как ранами, полученными в бою! Ибо истинные смельчаки — еще и гуманисты: признают только один вид сражений — в постели. И одну боевую награду — наслаждение... И вот передо мной сидел его правнук. Я не мог не смотреть на него с жалостью, ибо он не унаследовал доблестей предка, а занялся политикой. И удовлетворялся, как знал тогда весь Париж, нудными прелестями госпожи де Б.

«Я решил воспользоваться вашими услугами,— сказал мне принц.— Но сначала о некоторых распоряжениях. Это по моему приказу дама, которая вас навещала прежде, исчезла нынче из вашей жизни».

«Я хотел бы узнать о ее судьбе. Она мне не безразлична. И более того...»

«Она пока живет у нас во дворце... У нее слишком **особенное** лицо! — Он засмеялся.— Я представляю, что вы испытывали, когда...»

С готовностью я тотчас начал рассказывать, но принц, как и вы, был обычный ханжа. Он прервал меня:

«Ну полно, полно... Я уверен, мы сможем использовать ее лицо на благо Франции. Но вы, надеюсь, не в обиде, к вам приходят другие дамы. И в изобилии».

«Я благодарен вам, Ваше Высочество, и за прочие заботы обо мне».

«Я слышал, вы ненавидите короля,— продолжал принц,— который столько раз отправлял вас в тюрьму».

Он слышал это, конечно же, от моей шлюхи!

«И я хочу подтверждения вашей ненависти. Короче, сейчас настало время, чтобы создать... точнее придумать, некую интригу, которая окончательно дискредитирует прогнивший режим. Говорят, вы непристойный писатель...»

И это, конечно же, рассказала ему моя обожаемая шлюха.

«Смелый, Ваше Высочество»,— радостно поправил я его.

«И я уверен,— продолжил принц,— вы понимаете толк в подобных историях. Короче, вы примете участие...»

«Вы хотите, чтобы я ее сочинил?» — с восторгом перебил я.

Но этот идиот, принц, только поморщился и сказал:

«Да нет, сочинить ее сможет только один человек во всей Франции... Я горюю о Бомарше... Вы же должны явиться к господину Бомарше... и рассказать ему про нашу идею. Я уверен, что Бомарше с радостью примет наше предложение. Ибо мосье Бомарше нынче очень обижен королем...»

После чего он нудно изложил мне суть обиды Бомарше. И наконец перешел к главному:

«Короче, когда Бомарше примет наше предложение, вы тотчас привезете к нему вашу подругу с **особенным** лицом. Я уверен, он оценит возможности *ее лица для нужной нам интриги*, оно вдохновит нашего прославленного выдумщика. А вы... вы будете ему во всем помогать».

О удар по самолюбию! Я ведь был уверен, они хотят помощи моего пера! Они прослышали о моем таланте! А они прослышали о моей шлюхе!

«А после того, как я переговорю с Бомарше...»

«Нет,— прервал меня принц.— Дать вам сейчас свободу не в моей власти. После исполнения поручения, к сожалению, вы вернетесь в тюрьму. Но иногда будете ее покидать. Через вас мы намерены постоянно держать связь с мосье Бомарше. Но поверьте, недолго вам быть в тюрьме. Режим накануне ги-

бели. И вы поможете столкнуть его в пропасть. Жалкий король не должен управлять государством».

«И ты хочешь его сменить»,— подумал я.

Принц читал мои мысли, ибо они были банальны.

«Вы правы»,— сказал он.

Маркиз замолчал.

— И что же дальше? — спросил Шатобриан.

Маркиз усмехнулся:

— Наконец-то я вас заинтриговал. Дальше... дальше я виделся с Бомарше несколько раз. И еще. Теперь я знал: Париж накануне восстания. И примет в нем участие не только народ, все эти безродные Фигаро, но и принцы крови. Так что восстание обещало быть успешным. Вот почему, как только начались волнения в Париже, уже второго июля восемьдесят девятого года я радостно орал из своего окна, призывая народ взять Бастилию — оплот тирании. Я кричал что-то о приказе убить всех узников... Уже собиралась толпа, когда меня оттащили от окна и без лишнего слов увезли из Бастилии в дом для умалишенных. Через двенадцать дней народ взял Бастилию. Так что можно считать: это я начинал французскую революцию... Во всяком случае, оказался среди ее первых жертв. Ибо когда народ взял Бастилию, тот же народ беспардонно ограбил мою вчерашнюю камеру. Плод ночей, великий роман мой «Дни Содомы» попросту вышвырнули из окна. Мой свиток... мой мозг летал по улице. Как раз напротив Бастилии находился дом Бомарше, точнее, его дворец, куда меня столько раз привозили...

Старик остановился и спросил:

— Кстати, как вы относитесь к Бомарше?

— Я не был знаком с этим великим человеком.

— Великий человек. Он был для вас великий человек? Великий? Великий? — повторял маркиз с дребезжащим смехом. — Тогда моя история вас заинтересует... Как я уже говорил, толпа, захватившая Бастилию, выбрасывала бумаги из секретного королевского архива, который там был. Прямо на площади валялись древние пергаменты... указы французских королей с девятого века... драгоценные старые Библии... И счастливая толпа плясала, топчя их, оставляя на драгоценных бумагах следы нищих башмаков. Уже после революции я узнал, что Бомарше тогда тоже поспешил на площадь. Он собирал бесценные бумаги. И я тотчас предположил: это он подобрал мой роман! Я бросился к нему... Наша встреча происходила тотчас после моего освобождения... Как только я спросил его и прежде чем он открыл рот для ответа, я понял: взял!

Он остановился, он задышался.

— И что же? — спросил Шатобриан.

— Ничего. Все отрицал. Я умолял. Не отдай! Еще бы! Завладеть романом гения и отдать?... А потом он бежал от революции за границу! А я... я стал большим человеком. Был назначен комиссаром Больничной ассамблеи, как «пострадавший при проклятом королевском режиме»... Кстати, в те дни я легко мог отомстить родителям жены. Но я добр. Я трижды вычеркивал их из списка аристократов, отправляемых на гильотину. Об этом, конечно же, донесли. И мне пришел бы конец. Ан нет, падение Робеспьера спасло меня от гибели. Благодаря чему я и могу преспокойно обглаживать у вас цыплячьи косточки, эту благородную помощь писателя писателю, проделавшему длинный путь пешком... Тогда, в дни революции, я даже сумел издать то, что написал... Точнее, некоторые великие творения...

— Вы это уже говорили.

— Старческое... Впрочем, после революции Бонапарт сжег их. Все тираны заботятся о благопристойности. Точнее, о границах загона, где должно содержаться стадо трусливых двуногих. И сочинения Смелого были ему противны... И вот тогда он отправил меня... Да, я не назвал вам свое последнее, нынешнее жилище. Я ведь живу в замке, как во времена моего детства. Правда, этот замок занимает теперь сумасшедший дом. — Маркиз усмехнулся и добавил: — Прости-

те за банальность, но вы не хуже меня знаете, что во все так называемые «великие эпохи» — а они на деле всегда самые страшные — сумасшедшие — единственно нормальные люди. Так что нас объединяет не только родство, то бишь мой родич аббат, когда-то трахнувший вашу бабушку, не только наше ремесло... но и Бонапарт. Ведь и вас деспот тоже преследовал. Кстати, нас объединяет и слава... я, знаете ли, написал множество пьес, которые долго не мог поставить. Пока не попал в сумасшедший дом. И здесь вместе с сумасшедшими поставил. И, надо сказать, получил здесь полное признание. И теперь, как и вы, упиваюсь своей славой...

Какое родство биографий! Даже в темах у нас много общего. Вы пишете о прелестьях женщины, я тоже. Разница лишь в местоположении. Ваши прелести наверху, воспеты мною — внизу! Ну и что! Сколько раз, глядя на лица людей, я думал: почему можно ходить с голыми лицами, а, к примеру, с голой задницей нельзя? Кстати, воспетых вами индейцев интересовали те же проблемы. Когда европейцы впервые увидели их, они спросили, почему индейцы голые. Индейцы тотчас показали на лица вопрошавших: «Но вы тут тоже голые». «У нас здесь лицо», — ответили болваны-европейцы. «А у нас всюду лицо», — сказали мудрецы-индейцы... Так что мы оба с вами воспеваем Лицо. Именно наше сходство заставило меня прийти к вам.

Маркиз все блуждал в бесконечных рассуждениях. И опять какая-то сила не давала Шатобриану прервать наглеца. Так всегда в его жизни: он терялся перед наглецами.

— Я ведь давно пытаюсь к вам проникнуть, — продолжал маркиз. — Первый раз я бежал из этой психушки, дай Бог память, в тысяча восемьсот седьмом году. Вы жили тогда в роскошном отеле рядом с Тюильри. Ваши окна выходили как раз на площадь, где когда-то стояла гильотина. И, слоняясь около гостиницы в надежде с вами столкнуться, я вспоминал, как в дни революции ходил сюда смотреть казни. Помню, как король стоял на эшафоте... толстый, с выпадающим животом в белой рубашке... такой домашний, этакий добрый буржуа, который укладывается спать. И они уложили его отдохнуть на доску — на эту шлюху-доску, на которой лежало, дрожало столько тел. И лезвие гильотины прыгнуло на его шею... И народ, еще вчера молившийся за короля, обезумев от счастья, весело мочил платки в королевской крови. Какой удивительный воздух был на этой площади! Только там, в этом воздухе, я до конца понял, что такое революция. Это наша тайная жажда насилия, не нашедшая удовлетворения в блюде и оттого вырвавшаяся наружу. Вот отчего на казнях была и будет восторженная толпа, радостная, так как освободилась от бремени условностей. Там были постоянные зрительницы. Их мы называли «Фурии гильотины». Они приходили в экстаз от крови и спали с палачами. Мерзавки вслед за мной открыли сладострастие боли. Я платил им, и они пускали меня в свои постели... обычно днем, когда были свободны от любовников-палачей. Посвященные, познавшие радость насилия и крови, они со страстью откликались на самые разнообразные фантазии. — Он наклонился и зашептал: — У одной из них в комнате висела целая коллекция платков, смоченных в крови самых разных посетителей эшафота — от короля и королевы до Дантона и Робеспьера... Среди этих кровавых платков мы дошли до финала фантазий... Стена! Но я решил продвинуться дальше, я предложил нарезать ее... И она уже согласилась, но дуре не хватило выдержки, алкоголь прошел... спохватилась!.. И этот сюжетец — тоже мой вам дар. Отдаю бесплатно. Пригодится, вы ведь воспоминания пишете, как оповестили газеты. А мы все читаем в сумасшедшем доме. Но за историю, ради которой я к вам пришел... поверьте, историю удивительную... мне уж придется потребовать с вас деньги. Они мне позарез нужны. Как я уже объяснил вам, всякая власть у меня отнимала свободу: Бурбоны, революция, Бонапарт. Кстати, ваш друг Людовик Восемнадцатый, вернувшись, посвятил целый час расспросам о моей судьбе. И, выслушав мою историю, повелел оставить меня в психушке... В эпитафии, которую приготовил для своей могилы, я написал: «Тирания вела с ним непрестанную войну. Под

охраной королевского закона она едва не замучила его насмерть. И в дни террора Революция попыталась увлечь его в бездну. И в дни империи он оставался ее жертвой. И возвращение Бурбонов не изменило его участи... Преклони колени и помолись о нем».

Так что у меня был только один путь — воспользовавшись нынешним хаосом, освободиться самому! И я бежал из сумасшедшего дома. Теперь направляюсь в Бельгию, за границу. Я задумал роскошь для Смелого — хочу умереть на свободе. Но, чтобы добраться до Бельгии, нужны деньги... Я хочу взять с собой свою жену и семнадцатилетнюю любовницу... Она дочь кастелянши в сумасшедшем доме. У нее верткая попка...

— Замолчите!

— Так нравится вас злить. Вы вечно сытый, я вечно голодный. Я волк, недобитый в вашей долине.

И тут маркиз стал надменен и угрюм. И тогда-то он и сказал:

— Вот вам мое предложение... Но сначала хочу еще раз спросить... Вы серьезно полагаете, что Бомарше велик?

— Он был гений!

— Мне это тоже казалось... но очень в далекой молодости. Я даже завидовал ему, пока сам не взялся за перо. Великий Бомарше! — Он расхохотался и, помолчав, добавил: — Так вот, я убил этого говнюка. Пятнадцать лет назад. И пришел продать вам эту историю.

Пятнадцать лет назад

Граф Аксель Ферзен пишет сестре:

«Моя нежная, моя добрая Софи! Я должен уехать в Париж. Письма, которые я получил от маркиза де С., не оставляют сомнений. Я нашел злодея! И обязан свершить суд. Я должен. Она зовет меня туда, где 25 лет назад я ее увидел. Она зовет меня отомстить. Кто знает, удастся ли мне вернуться из Парижа. Тебе известно, я приговорен там к смерти. Поверь, я все сделаю, чтобы вернуться и не огорчить любимую сестру. Но коли Бог решит иначе, тогда я попрошу тебя помочь мне и сполна вернуть мой долг баронессе Корф. Это та великодушная вдова русского офицера, которая восемь лет назад отдала мне все свои деньги и деньги своей матери... Впоследствии потомки с печальной усмешкой вспомнят, что только *русская* баронесса согласилась отдать деньги *шведскому* дворянину, чтобы спасти *французскую* королевскую семью. Она отдала не только деньги, она рисковала жизнью...

Теперь отважная баронесса Корф и ее мать остались совершенно без средств. Все мои просьбы к европейским монархам помочь баронессе вернуть затраченные тщетны. Какой печальный урок. И это в наш век, когда так нужно поощрять преданных слуг монархов. Ты знаешь, я разорен. Все деньги поглотили безуспешные мои предприятия, которые так и не сумели помочь Ей...

Перед отъездом я счел долгом навестить в Вене своего друга, русского посла графа Разумовского, через которого много пытался помочь бедной баронессе.

Этот русский посол в Вене — воплощение мужественной красоты и хороших манер. Так забавно думать, что предки этого истинного аристократа всего несколько десятков лет назад пасли коз. Как сам он со смехом рассказывает, когда приехали из Петербурга везти его отца к императорскому двору (отцу тогда было 15 лет, но он был неграмотен), отрок со страха залез на дерево. (Что не помешало его отцу уже через несколько лет учиться в прославленном Геттингене и потом возглавлять русскую Академию наук!)

Этим чудесным поворотом в своей судьбе его отец был обязан старшему своему брату, которого русская императрица Елизавета случайно увидела поющим в церкви (*revchii* — так называлась в России его профессия, ибо в русских церквях поют). Императрица безумно влюбилась в него с первого взгляда. Фа-

ворит приходил к ней тайно каждую ночь, и двор с насмешливой почтительностью звал его «ночным императором». Влюбленность императрицы была такова, что она тайно обвенчалась с ним и даже понесла от него девочку, которую новая правительница Екатерина заточила в монастырь. Отчего потом и появились самозванки, объявившие себя «дочерьми императрицы»... Как тесен мир! Я рассказал графу Разумовскому, как в первый свой приезд в Париж встретил на балу в Опера (ты знаешь, как мне памятен *тот бал*) очаровательную сумасбродку, которая утверждала, что она и есть та самая дочь... Выслушав, граф Андрей только усмехнулся и поведал мне печальное окончание истории сумасбродки. Императрица Екатерина, имевшая весьма малые права на русский престол, очень серьезно отнеслась к этим фантазиям. И подослала к бедной сумасбродке какого-то красавца. Который влюбил ее в себя, заманил на корабль и отвез в Россию, где несчастная зачухла в заточении... Какое счастье, что ужасный век, столь жестокий к любящим сердцам, наконец-то заканчивается, дорогая Софи!

Что же касается денег баронессы Корф, граф Андрей сказал, что, как и обещал, несчетно писал о них недавно почившей императрице Екатерине. Но средств от обычно щедрой императрицы так и не поступило. И хотя, по его словам, русская императрица, узнав о казни несчастного Людовика, слегла в постель, к ЕЕ гибели она осталась совершенно безучастной и даже сказала жесткие слова: «Антуанетта никогда не могла исполнить главной обязанности монарха — быть деспотом для самого себя. Она носила корону в свое удовольствие, как носят модную прическу. Это опасно. Ибо можно потерять голову вместе с прической».

Подобные слова когда-то писала и ЕЕ мать. Никто не понимал ЕЕ. Она была последняя богиня Любви, зачем-то навесившая наш безжалостный век. Она была воплощением галантного мира, который погиб вместе с нею навсегда. Само изящество, само совершенство, сама красота погублены грязной толпой. Потоп Всемирный свершился.

Прощаясь с графом Андреем, я попросил его все-таки написать о баронессе только что взошедшему на престол новому русскому императору. Но граф только усмехнулся и сказал: «Худшей рекомендации, чем моя просьба, для Его Величества императора Павла трудно придумать».

Значит, правду болтали при венском дворе, будто первая жена императора Павла, тогда еще наследника, была влюблена в графа Андрея. И после ее безвременной кончины Павел нашел в ее секретере письма, из которых все стало ясно. Потому императрица Екатерина и поспешила отправить графа Андрея в Италию. До Вены он уже побывал послом в Неаполе...

Прости за многословное послание, но мне не с кем поговорить. С некоторых пор мне неинтересны люди. Только ты и, пожалуй, этот русский граф... Ты поймешь почему. В Неаполе граф Андрей увидел королеву Каролину, ЕЕ сестру. И это стало взаимной страстью. И опять русской императрице пришлось заниматься очаровательным графом: из Неаполя поспешила перевести его в Вену, безжалостно разбив оба сердца...

В дверях я обнял его. Он все понял, глаза его заблестели. Как много разбитых сердец, как много погубленных жизней, уничтоженной красоты! Стоя в дверях, мы беседовали почти час. Два человека с погибшими сердцами. Мы заговорили о НИХ. О сестрах. О самых дорогих нам на свете. И еще о ЕЕ гибели. И о море крови. И о конце грозного века. Что-то нам сулит век грядущий!..

Он сказал: коли в России случится этакое, как нынче во Франции, мир содрогнется от невиданных злодеяний!.. Он рассказал о безграмотном кровавом казаке, который чуть было не взял Москву. И, провожая меня до коляски, сказал: «Не дай Бог, коли явится вот такой казак да с университетским образованием. Разве что Бог не допустит».

Надеюсь, ты поняла, дорогая Софи, я старался сделать все, чтобы вернуть деньги баронессе Корф. Но так как сие мне не удалось, то в случае моей гибели прошу тебя, любимая сестра, исполнить мое поручение: продать мое имение и передать деньги баронессе.

Уже скоро июнь. Очередной печальный юбилей. Восемь лет со дня ЕЕ неудачного побега, который я до сих пор простить себе не могу!

Прощай или нет — до свидания, моя дорогая сестра.

P. S. Коли не вернусь, бумаги, перевязанные алой лентой (лежат в моем бюро), немедленно следует сжечь».

Запечатав письмо, граф открыл «Записную книжку» и написал:

«Вена. 1799 год, 21 апреля, полночь. Ночь стоит теплая при полной луне. Черный парик и борода ждут меня на ночном столике. Ящик красного дерева с пистолетами и две шпаги слуга уже отнес в карету. Я только что закончил письмо сестре. Письмо сие из-за важности сведений вписываю в «Записную книжку», подаренную ЕЮ..»

Часы пробили полночь. И я вновь возвращаюсь к изложению важнейших событий моей жизни... Не в последний ли раз? Сие известно только Господу».

Через полвека в родовом замке Ферзенев в тайнике над камином нашли пачку писем, перевязанную алой лентой. Описание находки за подписью «Карл Скотт, профессор (Стокгольм)» было напечатано в лондонской «Sunday Times»:

«Эта пачка писем (13 писем) перевязана алой лентой. Все письма написаны одним почерком, в котором легко узнать небрежный почерк Марии Антуанетты. Вместе с письмами в тайнике обнаружили «Записную книжку» графа Ферзена.

На первой странице «Записной книжки» все тем же почерком французской королевы написаны стихи-посвящение:

«Что Вы напишете на этих страницах,
Какие тайны доверите им?
О, они, бесспорно, предназначены
Для самых нежных воспоминаний.
А пока они пусты.
Разрешите в знак нашей дружбы
Начертать эти несколько строк
На самой первой странице».

Все дальнейшее в «Записной книжке» написано ровным каллиграфическим почерком графа Акселя Ферзена.

Вслед за стихами французской королевы граф написал:

«Она подарила мне свой портрет и эту книжку “для записи памятных дат”. И вот через столько лет я решил воспользоваться ею».

Далее шел заголовок «**НЕСКОЛЬКО ВАЖНЕЙШИХ ДАТ МОЕЙ ЖИЗНИ**».

(Профессор Скотт отмечает, что «последующий текст был написан графом Ферзеном скорее всего ночью перед отъездом в Париж... Аксель Ферзен, видимо, опасаясь не вернуться живым из своего путешествия, решил изложить свою историю. Кто должен был быть ее читателем? Скорее всего сестра, которую граф безумно любил».)

Граф Ферзен. «Несколько важнейших дат моей жизни»

«В 1773 году я более года путешествовал по Европе, знакомясь с достижениями науки. (В Фернее выпала честь беседовать с Вольтером.)

10 января 1774 при солнечной морозной погоде я въехал в Париж, где наш посол при французском дворе представил меня мадам Дофине. Мария Антуанетта — дочь великой императрицы (Ее Величество Марию Терезию имел счастье знать мой отец) — оказала мне воистину самый благосклонный прием. Мне тогда исполнилось 19 лет (я родился 4 сент. 1755 г.), как и ЕЕ Высочеству (Дофина родилась 2 ноября).

Я был поражен (далее старательно зачеркнуто) любезностью и красотой будущей королевы Франции.

30 января (подчеркнуто) — бал в Опера. Высокая красавица, именующая себя принцессой Владимирской, дочерью покойной русской императрицы Елизаветы от некоего тайного брака, сделала много (незаслуженных) комплимен-

тов моей внешности. Когда же наконец она покинула меня, ко мне приблизилось восхитительное Домино. Небольшого роста Домино двигалось столь грациозно. Когда же Маска заговорила, нежный тембр ее голоса (далее зачеркнуто). Ее разговор был исполнен благородства, изящества и веселых шуток.

Нашу беседу прервало появление фрейлин мадам де Л. и мадемуазель К. И тогда Домино со смехом сняла маску. И я тотчас склонился в самом почтительном поклоне. Притом, видимо, был так растерян, что мадам Дофина (это была ОНА!) много смеялась.

15 февраля — бал в Версале. Где ОНА (подойдя ко мне!!!) оказала великую честь — вновь заговорила со мной.

12 мая — помню, покинул Париж при весеннем, теплом дожде...

16 августа 1778. Я вновь приехал в Париж. Осень в тот год стояла очень теплая, хотя уже было много опавших листьев. Его величество Людовик XV покинул наш мир, и ОНА стала королевой.

Наш новый посол представил меня королевской чете.

Смел ли я надеяться, что меня помнят! Я попросил посла представить меня, как если бы я был в Париже впервые. Но доброта ЕЕ не знала границ. Она узнала меня!!! И сразу сказала: «А, это наш старый знакомый!» Я совершенно потерялся, так что госпожа де Л. пошутила: «Какая мужественная внешность и какая детская застенчивость!»

И в дальнейшем ОНА не забывала оказывать мне знаки доброго внимания.

8 сентября я посмел сообщить отцу: «ОНА самая красивая и самая любезная из государынь, каких я знал».

Помню, отец справедливо ответил мне, что знаю «весьма мало государынь».

А точнее — одну.

19 ноября. В тот день ОНА была сама любезность. Госпожа Полиньяк рассказала ей о моей шведской военной форме, которая произвела столь забавный фурор на балу у графини де Брион.

ОНА изъявила желание видеть меня в этом костюме.

И 19 ноября я надел белую тунику, голубой камзол, замшевые штаны с шелковыми оборками, золотой пояс и шпагу с золотым эфесом.

А на следующий день я получил анонимное послание, повергшее меня в печальную задумчивость: «Этот стройный, прекрасно сложенный молодой человек с глубоким мягким взглядом уже завладел ее сердцем, что не удивительно. Наша венценосная кокетка не может не взять все самое роскошное, самое яркое».

21 ноября на балу в Версале танцевал с графиней Сен-Пре. Она и рассказала мне тогда (далее зачеркнуто). Помню, в ответ я только сказал ей в сердцах: «Как злы здесь люди».

Декабрь. Весь месяц я был зван на маленькие вечеринки, которые устраивали ОНА и ее неразлучные подруги мадам де Ламбаль и Жюли Полиньяк в божественном Трианоне. Наслаждался красотой Трианона и ЕЕ вкусом. ЕЕ любимый размер — миниатюрный. Миниатюрный дворец. Миниатюрные озера, миниатюрный театр, крохотная мебель. И она сама — маленькая Антуанетта — так была гармонична, соразмерна игрушечному дворцу. Совершенство и красота здесь царили во всем — от сочетания деревьев до бронзовых дверных ручек, куда столь изящно были вплетены буквы ее имени. ОНА «спасалась здесь» (ЕЕ слова!) от чрезмерной грандиозности Версаля, от тысяч слуг, от неумолимости этикета.

«Здесь я сбрасываю корону, здесь нет постоянной французской напыщенности: нет колоколов, есть колокольчик, здесь я могу принимать кого хочу. Здесь, наконец, я имею право на мою жизнь», — сказала мне она 12 декабря, любуясь маленькой фарфоровой собачкой — детским подарком от ее матери.

Графиня Сен-Пре пересказала мне тогда с плохо скрытым осуждением (как и все прелестницы при дворе, она не могла простить ЕИ ослепительной красо-

ты) отзыв брата королевы. Оказывается, когда ЕЕ брат император Иосиф гостил в Версале, то был поражен: почему ни ОНА, ни король не проявляют внимания к знаменитым французским философам: «О них с восторгом говорит весь мир. Почему же французская королевская семья не собирает у себя философских салонов, ибо ничто так не развивает ум, как споры о вещах, которые не приобрели еще ясных очертаний».

Я тотчас посмел пересказать ЕЙ эту сплетню (13 декабря). ОНА, смеясь, передала мне свой ответ любимому брату: «Как только разговор принимает столь чтимый Вашим Величеством характер, то немедля действует на меня, как самое лучшее снотворное». Из всех перечисленных тогда братом европейских знаменитостей она сказала, что с удовольствием принимает только одну — некоего Бомарше, часовщика и сочинителя пьес. Его пьесу она решила (сама!) сыграть в придворном театре в Трианоне.

20 февраля. В этот день она пела куплеты. Потом все отправились гулять. И мы оставались вдвоем. (14 минут! — записано в моем дневнике.) Дозорный, стоящий на миниатюрной башне, затрубил в рог. Этот условный знак всегда сообщал нам о приближении короля. Рог прервал и общее веселье и ту нашу встречу.

25 февраля. Этот Бомарше (о котором говорили много нелестного) два часа играл на арфе. О, чувствительная душа! ОНА могла часами слушать музыку. А потом ОНА пела...

1 апреля меня в первый раз позвали в театр. (ОНА: «Я не хочу, чтобы вы были! Я буду волноваться! Но коли вы настаиваете». «Могу ли я, смею ли я настаивать?!») Но я понял: ОНА хочет, чтобы я там был!

ОНА играла в тот день... прачку (!) в английской пьесе и была восхитительна в белом чепце. Когда ЕЙ предложили сыграть роль королевы в той же пьесе, ОНА сказала: «Довольно того, что я играю эту нудную роль в жизни».

Во время представления, помнится, король освистал своего брата графа д'Артуа, который путался в тексте. Но ОНА... Как была грациозна. И как прекрасна!

После спектакля был устроен фейерверк в Трианоне в Английском саду. На деревья повесили стеклянные сосуды разных цветов со свечами. Они горели, сад переливался подобно драгоценности. ОНА всегда была неистощима в изобретении развлечений.

3 апреля 1779 года. Я удивился: как пролетело время! Оказалось, я гостил в Париже три четверти года! И вот тогда-то и наступил самый несчастный день в моей жизни. 3 апреля меня позвал к себе наш посол. Он рассказал мне про сплетни двора. И показал озабоченное письмо нашего доброго короля Густава. Я сказал, что никогда не прошу себе, если хоть чем-нибудь брошу тень на королеву.

Посол ответил мне, что это **свершилось!**.. «О Боже!» — только и прошептал я. Он спросил, что я намерен делать. Я сгоряча ответил, что единственное надежное средство заставить замолчать злые языки — удалиться! Прочь из злоязычного Версаля, Парижа, Франции! Я так надеялся, что он отвергнет мой план. Но он горячо его одобрил. Добрый посол справедливо заметил: «Чтобы не вызвать злобных пересудов, нужно найти мотив отъезда достаточно естественный и правдоподобный». И тут мне пришло в голову: я объявил, что уезжаю воевать в Америку. Посол радостно сказал, что тотчас письмом успокоит нашего короля.

10 апреля 1779 года. В этот день посол показал мне свое письмо королю. Я переписал его: «Я должен согласиться с Вашим Величеством, что юный граф Ф. имел столь теплый прием у королевы, что это внушило **необоснованные** подозрения. Хотя я не могу не признать, что привязанность королевы к графу имела признаки слишком **явные**, чтобы сомневаться. Я сам тому был свидетелем. (О лукавый дипломат!) Но молодой граф повел себя достойно в этой ситуации: его скромность, его сдержанность и, наконец, его вчерашнее решение отплыть в Америку делают ему честь. Уезжая, он устранил ненужные сплетни и, что глав-

ное, ту напряженность, которая возникала между нашими дворами. Нужно иметь твердость не по возрасту, чтобы преодолеть этот соблазн — остаться. Я присутствовал вчера на балу, когда королева узнала о его решении и была не в силах оторвать от него глаз, умоляющих и полных слез. В остальном же королева держит себя сдержанно и благородно. Король продолжает охотиться в свое удовольствие».

Я потребовал, чтобы было вычеркнуто все о НЕЙ, он обещал и даже дописал по моей просьбе: «Я умоляю Ваше Величество сохранить это все в секрете».

Впоследствии в Стокгольме король милостиво показал мне письмо посла (оказалось, там ничего не было ни вычеркнуто, ни вписано!).

11 апреля. Узнав о моем отъезде, графиня Сен-Пре сказала мне: «Мосье безумец, неужели вы отказываетесь от своего трофея?» Я, конечно же, сдержался, не смея ответить дерзостью даме, и заставил себя отвечать в парижском духе: «Если бы трофей мог быть моим, поверьте, я бы не отказался. Но я уезжаю таким же свободным, как и приехал. И без сожаления».

В тот же день посол показал мне письмо нашего доброго короля, где было написано: «Мы восхищаемся античными героями, приневшими свою любовь в жертву долгу. И не видим рядом с собой современников, пожертвовавших не менее высоким чувством и расставшихся *invitus invita* (против воли — лат.), но по велению долга».

Вечером ОНА пела арию Дидоны. Ее глаза были полны слез, и голос дрожал, лицо покраснело от слез. Я сидел, не смея поднять глаз, слова арии заставляли биться мое несчастное сердце. «Вы так бледны, мне кажется, вы сейчас упадете в обморок, — шепнула мне графиня Сен-Пре. — О как бы я хотела вас утешить. Бедное сердце!»

В ту ночь (11 апреля) я решился позволить графине утешить меня, чтобы не лишить себя жизни. В постели на мой озабоченный вопрос о графе Сен-Пре графиня, смеясь, сказала, что его не будет до завтра, ибо он, в свою очередь, утешает герцогиню Ш., которую бросил любовник. (О нечестивый Вавилон!) После греха я много плакал, а графиня смеялась надо мной. И попыталась рассказывать недопустимое о НЕЙ и графе Т. Но я умолил ее замолчать.

Утром я уехал в Гавр. В Гавре получил письмо от графини, посланное с нарочным. Графиня писала, что «после моего отъезда ОНА закрылась в своем кабинете и не выходила до позднего вечера».

И я сказал себе: «Терпи, мое сердце!»

Америка. 1781 год, декабрь 19!!! Ставлю три восклицательных знака, ибо в тот день я получил первое восхитительное письмо от **Жозефины, так ОНА подписывает письма**.

22 октября ОНА родила дофина. И шутливо описала в письме всю историю. (Как жаль. Письмо погибло в 83-м году во время возвращения во Францию, когда буря в щепки разнесла мою каюту. Погибли и индейские томагавки, и т. д.)

Она писала, что, как только начались первые схватки, принцы и принцессы крови расположились в комнате, где находилась «родильная кровать». Ибо при французском дворе, согласно этикету, они присутствуют при родах. У подножия кровати, как положено, уселся в ожидании министр юстиции. Все приготовились к зрелищу. Но ОНА сумела обмануть глупые нравы двора. ОНА сказала, что тревога преждевременна и симптомы ложные. И когда все покинули комнату, она позвала свою подругу принцессу Ламбаль и объявила ей правду. Схватки усилились, и в четверть второго ОНА родила мальчика. Министр юстиции, которого одного позвали к ЕЕ ложу, торжественно объявил пол ребенка. Наконец-то ОНА исполнила предназначение — подарила наследника Франции. Я счастлив за НЕЕ.

9 сентября 1783 г. Помню, въехал в Париж под проливным дождем. Я снова был при французском дворе. Окончились три года добровольного изгнания, я заслужил право вновь видеть ту, чей образ помог пережить три года трудных приключений и две опасные раны (я был на краю смерти).

15 сентября. В этот день за боевые заслуги в Америке (славно рубился с англичанами) я был награжден орденом Шпаги. Но я беспокоился — эти почести и благосклонность доброй королевы не разбудят ли вновь слухи, которые разлукой и кровью я пытался остановить? Чтобы не возбуждать НЕОБОСНОВАННЫХ подозрений, я решился возобновить роман с графиней Сен-Пре. Но она вздумала ревновать к НЕЙ. И пришлось завести роман с покладистой крошкой Люси (принцессой де Грамон). Она тогда была в большой моде при дворе.

(Но вся моя жизнь была ОЖИДАНИЕМ. Я жил только тогда, когда звала ОНА. Когда были «божественные вечера в божественном Трианоне».)

1 декабря. Отец, прослышав о моей жизни, прислал письмо. Он пожелал, чтобы я вернулся в Стокгольм. Он хотел, чтобы я женился, продолжил наш славный род. Я не мог объяснить ему, что никогда не женюсь, ибо бедное мое сердце уже обручено... (Зачеркнуто.) Но чтобы не огорчать его, я объявил, что не могу покинуть Париж, ибо надумал жениться на самой завидной невесте Европы — мадемуазель Неккер, дочери великого богача и великого министра. В это время так много самых блестящих юношей претендовало на ее руку, что я счел совершенно безопасным присоединиться к списку кандидатов. Но неожиданный успех у мадемуазель Неккер (которой в будущем предстояло стать прославленной мадам де Сталь) заставил меня поспешно ретироваться с поля сражения, которое грозило мне победой. Утром я... (Зачеркнуто.) ОНА одобрила.

Июнь... Это было самое счастливое лето в моей жизни. Я присутствовал на всех интимных обедах в Трианоне. И сопровождал ее на все балы в Опера. Какие странные были тогда маскарады и балы в Париже! Даже танцуя, здесь говорили о политике.

Например, 20 июня в Опера на маскараде я услышал рядом знакомый голос: «В каждом уголке нашего королевства уже полыхает огонь. И скоро он спалит Париж». Я узнал его. Это был принц Орлеанский. Принц крови и ненавистник королевской семьи. Но король, увы, покорно терпел его едкие остроты и тайную деятельность, о которой знали все. И я сказал себе: «Что-то будет».

Когда я пересказал ей разговор в Опера, она пожала плечами и забыла.

Август 13. Накануне представления «Севильского цирюльника» в Трианоне.

День этот (как потом оказалось) был воистину роковым. Но ОНА и не дозревала тогда об этом.

Все случилось в ЕЕ любимом мраморном с золотом миниатюрном театре. Она сама участвовала в представлении пьесы этого подозрительного сочинителя Бомарше (играла бедную девушку по имени Розина).

Я осмелился сказать ЕЙ, что в пьесе много реплик неопозволительных, равно как и репутация господина автора. Но ЕЙ так хотелось надеть «очаровательное и такое простенькое» платье, которое для представления сшила ЕЕ модистка мадам Бертен.

И в ту же ночь открылась грязная, но удивительно искусная **интрига**.

ОНА еще была в «очаровательном платье простушки Розины», когда за кулисами появились два самых известных ювелира в Париже (мосье Л. и мосье де К.). Они утверждали, что Его Пресвященство кардинал де Роан приобрел для НЕЕ бриллиантовое ожерелье. Будто бы по ЕЕ просьбе.

ОНА тотчас поняла, что кто-то воспользовался ЕЕ именем и обманул известного глупца кардинала. В дальнейшем оказалось, что некая де Ла Мотт уверила кардинала, будто она ближайшая подруга Антуанетты. Кардинал, как и все здесь, был влюблен в НЕЕ... Ла Мотт показывала глупцу письма, которые будто бы писала ей королева. И дерзостно обещала — к восторгу безумца — сделать его любовником королевы. Но для начала предложила ему оказать королеве услугу. Выкупить (будто бы по просьбе королевы) самое дорогое в мире ожерелье. Я слышал, что покойный король заказал его для мадам Дюбарри.

И вот дальше интрига развивалась *удивительно*. Сейчас я добавил бы — *удивительно* похоже на другую пьесу господина Бомарше с названием «Же-нитьба Фигаро».

Де Ла Мотт предложила кардиналу свидание с королевой... Ночью в Версальском парке в роще Канделябров. Это скрытый среди деревьев очаровательный зеленый амфитеатр с огромными бронзовыми канделябрами и крохотными фонтанами, окружающими площадку для танцев.

Вместо НЕЕ на свидание к Роану пришла некто в маске, безумно похожая на НЕЕ, — то ли модистка, то ли шлюха, которая не только многое обещала, но и многое позволила кардиналу во тьме ночи.

Когда ОНА поняла всю интригу... я никогда не видел ЕЕ в таком гневе. ОНА то задыхалась, то заливалась истерическим смехом, представляя свидание кардинала, и опять впадала в бешеный гнев, вспоминая, на что посмел рассчитывать дерзкий глупец.

Наконец, ОНА позвала короля и потребовала немедленного ареста и суда над кардиналом. Король умолял ее не делать этого. И я потом на коленях молил одуматься.

Но когда ОНА чего-то желала...

Вечером после спектакля ОНА преспокойно отужинала с этим проклятым Бомарше, а наутро кардинала арестовали, когда он шел служить в Собор.

И началось то, что было так легко предсказать. Его родственники Роаны, Субизы — эта древняя, могущественнейшая знать Франции — встали на дыбы. Их клеветы засыпали Париж грязными памфлетами, где писали, что «королева попросту испугалась разоблачений», что де Ла Мотт «на самом деле действовала по приказу королевы». Десятки пасквилей о ее мифических любовниках передавались из рук в руки. И вся эта грязная ложь о королеве Франции вылилась на страну.

Именно тогда мне окончательно показалось, что все это было кем-то придумано. Кем-то, кто хорошо изучил ее характер. Что это была западня.

(И вот теперь, через много лет после случившегося, из полученного мною письма маркиза де С. я узнал правду. И потому еду в Париж. ОТОМСТИТЬ!)

Однако возвращаюсь к изложению событий, последующих за преступным делом об ожерелье, к истории моей жизни.

1789—1791 годы. В дни взятия Бастилии и последующих за этим беспорядках я метался между Стокгольмом, куда призвал меня служить мой король, и тонувшим в смуте Парижем, куда звала меня...

1791 год, октябрь 28. Я был в это время в Стокгольме, когда прискакал голец из Парижа. И сообщил, что, по слухам, голодные толпы готовятся идти в Версаль. Я все бросил и поскакал во Францию.

Загнал в пути нескольких лошадей. Прибыл в Версаль при дождливой, холодной погоде.

Как опустел божественный Трианон! Каждую ночь, грохоча по булыжнику, уезжали кареты. Кареты ее врагов — придворных и кареты ее друзей. Вчерашние «наши» во тьме ночи, не прощаясь, спешили покинуть опасный дворец и своих владык... И холодный осенний ветер всю ночь рвал листья с деревьев.

Я приехал вовремя. Именно в эти дни чья-то рука (думаю, рука в перстнях, в заговоре участвовали принцы крови) ударила в барабан. И шесть тысяч «библейских юдифей», как они сами себя называли, шесть тысяч голодных женщин с пиками, взятыми из дворца принца Орлеанского, пошли походом на Версаль.

В тот день с утра шел все тот же ледяной дождь.

Они подошли ко дворцу, задрав юбки и покрыв ими голову от дождя. Это был галантный поход.

Правда, под юбками у многих «дам» оказались весьма волосатые ноги. В этой толпе было много переодетых мужчин. Но все было срепетировано безукоризненно и точно рассчитано: не могли же французский король и его солда-

ты, с молоком матери всосавшие: «женщину можно ударить, но только цветком», — решиться стрелять в женщин. И толпа беспрепятственно вошла в Версаль. Им открыли ворота.

Я наблюдал эту встречу короля с посланцами разгневанных голодных парижанок. Король был так галантен, а восторг удостоенных аудиенции рыбных торговков был столь пламенный, что одна даже упала в обморок.

Дамам было обещано, что мука из подвалов Версаля с утра отправится в Париж.

Меж тем наступила ночь. И все спокойно уснули.

Но отцы похода (те, кто оставался в Париже) приготовили продолжение.

Пока во дворце мирно почивали, через самые тайные ходы, которые никто не мог знать, кроме принцев крови, толпа бунтовщиков проникла во дворец. И посреди ночи топот сотен ног разбудил Версаль.

Толпа негодяев бросилась к ЕЕ покоям. Два гвардейца пытались преградить им путь с криком: «Спасайте королеву!» Но, видимо, совсем не женские руки разом, сплеча, отрубили им головы. Потом я узнал, что ОНА спаслась, бежав, полураздетая, через потайной ход в покои короля.

Но утром ЕЕ ждало самое страшное и самое для НЕЕ необычное: впервые в жизни ЕЕ ждало публичное УНИЖЕНИЕ. Толпа, заполнившая двор, орала, требовала, чтобы ОНА вышла на балкон. Я видел, как головы обоих несчастных гвардейцев качались на пиках над вопящей, проклинаящей ЕЕ толпой.

Изменник трону командир Национальной гвардии маркиз Лафайет сказал ЕЙ, что единственный выход — выйти на балкон с наследником к орущей непопулярные ругательства черни. ЕЙ предложили совершить то, что ОНА презирала всей душой: заискивать перед грязной сворой торговков и переодетых негодяев... Мы обменялись взглядами. В моем ОНА прочла (зачеркнуто)...

ОНА вышла. И полетели камни — на балкон, в НЕЕ. Я не мог более, я решил броситься на балкон, хотя понимал, что погублю и себя, и ЕЕ.

Но в тот миг изменник Лафайет (надо отдать ему должное) спас всех: сделал, пожалуй, единственный жест, могущий спасти положение. Галантный жест. Он склонился в изящнейшем поклоне и поцеловал руку королевы.

Вот тогда-то они наконец вспомнили, что перед ними Красивая Женщина. Ибо, как я уже отмечал, в этой толпе было много мужчин. И они закричали то, что и должны кричать французы при виде Прекрасной Дамы: «Да здравствует королева!» Думаю, ОНА в последний раз услышала этот крик.

Впрочем, через мгновение они уже грозно орала: «Короля и австриячку в Париж!»

А потом толпа везла их в Париж, и я следовал на лошади рядом с ее каретой. И мы (зачеркнуто)... Их привезли в заброшенный со времен Короля-Солнце дворец Тюильри. Так они стали пленниками толпы. ОНА от унижения (зачеркнуто)...

Несколько слов о короле. Благородный и очень замкнутый человек. Он долго не мог выполнять супружеские (за черкнуто)... Он был болен неким предчувствием. Однажды он прямо сказал ЕЙ, что с ним непременно случится великая беда. И оттого, когда все началось, он с редкостным равнодушием наблюдал крушение своей власти. ОНА же вдруг совершенно преобразилась. ОНА начала борьбу. Я не ожидал от НЕЕ.

ОНА жила как в лихорадке. Писала бесконечные секретные письма европейским монархам. Эти безуспешные зовы о помощи отправлялись из Тюильри через мои руки. И я доставлял их государям.

Экипаж, повозка или просто конь — такова была в те дни моя жизнь.

Именно тогда, после многих моих просьб, ОНА решилась на побег.

Я поклялся ЕЙ, что они благополучно покинут Париж и достигнут границы.

Светает, у меня нет времени излагать всю историю.

Тем более что я до сих пор не знаю, что случилось. Ведь все было отрепировано до мелочей. Все было продумано.

К сожалению, король решил везти в одной карете всю семью. Более того, выяснилось, что он хочет взять в карету свою сестру. И еще, что он не может не взять в карету воспитательницу детей герцогиню де Турзель, ибо согласно этикету она не может расставаться с детьми Франции. Короче, нужен был какой-то огромный дилижанс. И я достал такой дилижанс. Во Франции кареты так красивы и так непрочны, что я сам решил все проверить.

15 июня. И вот тогда *случилось*. На полном скаку, громяхая огромной каретой, я мчался по Версальской дороге и чуть было не врезался в экипаж герцога Орлеанского, врага, предавшего своего короля, — этого кумира (столь недолго!) парижской черни.

Герцог узнал меня и закричал:

«Вы с ума сошли, мой дорогой граф? Вы свернете себе шею! — Он засмеялся. — Почему-то молодые люди совсем не думают о своей шее!» (Черт любит шутить! Вспомнил ли принц свою шутку, когда топор гильотины при радостных криках вчера боготворившей его толпы опустился на его шею?!)

«Просто не хочу, чтобы моя карета развалилась в дороге, — ответил я. — Это часто бывает с французскими экипажами. Вот решил испытать ее в деле».

«Но зачем вам такая огромная карета? В нее, пожалуй, поместится весь хор Опера».

«Ну уж нет, монсеньор, этих дам я оставляю вам. В карете будет все мое имущество. Я навсегда покидаю Францию».

«И вы бежите? — сказал принц насмешливо. — Тогда прощайте, счастливо-го пути!»

Мне показалось, что он не поверил! И теперь, по прошествии стольких лет, эпизод этот не выходит у меня из головы... Хотя потом все шло так удачно.

16 июня в 9.30. Шевалье де Мустье, участвующий в побеге, каким-то чудом научился проникать в Тюильри. Он рассказал мне, что сегодня передал ЕЙ одежду служанки.

Все делалось в строжайшем секрете.

Утром 17 июля русская баронесса Корф, давшая деньги на побег, принесла мне не менее драгоценное, чем деньги, — свой заграничный паспорт.

История с ее паспортом — моя выдумка. Сначала госпожа Корф сообщила властям, что решила покинуть Париж. Получив паспорт, баронесса написала русскому посланнику, что случилось несчастье: она собиралась в дорогу, бросала ненужные бумаги в камин и случайно бросила туда и свой паспорт. Русский посол тотчас выхлопотал ей дубликат. С ним баронесса и отбыла из Парижа.

По ее подлинному паспорту должна была выехать королевская семья.

18 июня. Шевалье де Мустье в очередной раз совершил чудо — проник в Тюильри, который день и ночь охраняется Национальной гвардией. Оказалось, он знает тайный ход. Этим же ходом он провел и меня. Я оставался с НЕЮ 3 часа 40 минут.

Я передал ЕЙ «утерянный паспорт» баронессы Корф с разрешением покинуть Париж. (Мадам де Турзель должна будет изображать саму баронессу Корф, ОНА — воспитательницу ее детей, а король — дворецкого баронессы.)

Я хотел сопровождать их до границы, но ОНА объяснила: король не захочет этого.

Взволнованная приближением отъезда, боясь за детей да и за себя, ОНА много плакала. И слезы ЕЕ разрывали мне сердце. Король, как обычно, был спокоен и даже апатичен и слушал мои инструкции весьма рассеянно. В последний раз условились о месте и времени встречи, порядке отъезда. Все казалось таким ясным.

И все же, несмотря на все принятые меры, надо было думать о возможности неуспеха. Решено было, что вслед за ними я покину Париж и отправлюсь в Брюссель. И коли их задержат, то из Брюсселя начну тут же хлопотать об их освобождении перед другими государями. Час отъезда приближался. В 6 часов я покинул дворец. «Мосье Ферзен, что бы ни случилось, я не забуду, что вы сделали для меня», — сказал король на прощание.

20 июня. После встречи с принцем мне казалось, что за мной следят. И оттого весь последний день перед их побегом я провел, отвлекая подозрения. В полдень отправился к шведскому послу. Потом был на заседании Национальной Ассамблеи, где дискутировался весьма насущный вопрос об уничтожении бесправного положения палачей. Об этом пожаловался в Ассамблею в длинном письме главный палач города Парижа мосье Сансон.

Ночью в одежде кучера я ждал их в карете.

Шевалье де Мустье вывел их из дворца.

Я правил каретой с беглецами вплоть до заставы в Бонди.

По дороге де Мустье рассказал мне удивительные подробности. Оказалось, многое в эти дни придумал *мосье Казот*. И это мосье Казот нашел тайный ход... (далее зачеркнуто и вырвана целая страница).

В Бонди я слез. Мы простились. Я долго смотрел вслед карете, уносившей их в неизвестность.

Разлука обещала быть кратковременной. Успех казался достигнутым. В Париже их могли хватить только утром, когда они должны были быть уже далеко.

22 июня. 6 утра. Написал отцу уже из Монса: «Я здесь проездом. Король со всей семьей удачно покинул Париж 20-го в полночь. Я проводил их до первого блокпоста. Даст Бог, и оставшаяся часть пути будет удачной. Я продолжу свой путь вдоль границы, чтобы присоединиться к королю в Монтмеди».

Но в тот час, когда я еще надеялся на удачу, все уже было кончено.

25 июня 1791. День, когда я узнал, что все погибло! Их схватили!

21 апреля 1799 года. Рассвет. Теперь через 8 лет я знаю, кто был в начале ЕЕ несчастий.

Я уезжаю в Париж. Господи, не смею просить о помощи в мести, но должен отомстить. ОНА бы одобрила?.. Или нет? Но иначе не смогу жить далее...

И я увидел...

Полная луна над черепичными крышами. Зеркальная стена комнаты раздвинулась, и показалась ОНА, опираясь на руку злодея. На лице ЕЕ была та особая хмельная радость. И глаза были опущены. Я знал, когда они ТАК блестят... ЕЕ бедное, ЕЕ чувственное сердце. И тогда я шагнул из кустов. ОНА увидела мое жалкое, побледневшее лицо. Что-то сказала злодею. И Бомарше церемонно, изгибно, как умеют это делать только при французском дворе, раскланялся и пошел прочь по аллее.

ЕЕ нежный смех.

И мой голос: «Я ревную вас ко всему... к деревьям, к этой луне, к вашему смеху. Простите меня».

Теперь ОНА опиралась на мою руку. И я чувствовал удары ЕЕ сердца. Сад был в вечернем тумане. Мы долго шли молча. Наконец показалась голландская деревушка, построенная для ЕЕ забав. Домики выступали из тумана, и, медленно поворачиваясь, являлось из белого дыма мельничное колесо. Скрип колеса, плеск реки... и всюду висел, стелился туман. Караульный дремал, сидя на дозорной вышке, над облаком тумана.

И вдруг туман рассеялся... огромная желтая луна в просвете облаков. И эфес моей шпаги поймал ее свет.

ОНА чуть пожала мою руку. Легонько потянула... и мы вошли в прохладную тьму маленького домика.

«Осторожнее, лестница»,— сказала ОНА шепотом. Заскрипели ступени. ОНА поднималась вверх в спальню. И все мучило, все казалось предназначенным другому. Я украл ЕЕ страсть к другому.

А потом лицо... губы... запах волос... волосы упали на мое лицо... И все забыл...

Смерть... Страсть. Как смерть.

Это сон. Я записал свой сон. НЕ БОЛЕЕ! Слуга тихонечко тронул меня за плечо. Теперь я проснулся. Время ехать.

Треуголка, плащ, черная наклеенная борода... Улицы пусты, рассвет. Я покидаю Вену. Вернусь ли? Знает один Господь.

3 мая 1799 года. На самой границе ждал проводник со свежей лошастью. В ночь на 28 апреля 1799 года я благополучно пересек границу мятежной Франции.

2 мая 1799 года с великими предосторожностями въехал в Париж при ясной теплой погоде. Я поселился у Люси де З., своей давней подруги, приемной дочери несчастной герцогини де Грамон, гильотинированной на площади Революции. Мы не виделись 8 лет. Люси рассказала мне, что после неудачного побега Семьи она чуть не поплатилась жизнью. Кто-то донес о нашей связи. Ее арестовали. В дни террора она ждала смерти в одной камере с Жозефиной Богарне, женой гильотинированного генерала Богарне. Гибель Робеспьера спасла обеих. Теперь креолка Жозефина стала женой другого генерала, о котором наслышана нынче вся Европа. Так что у Люси, близкой подруги жены могущественнейшего генерала Буонапарте, я могу чувствовать себя в безопасности. Я ей благодарен.

Ночью она пришла ко мне. Веселая птица красотка Люси.

Я закрыл глаза. Я не хотел видеть чужое тело. У всех у них чужое тело...

Слушал счастливые стоны Люси...

Я понял, что мертв. После ЕЕ смерти я мертв, но зачем-то жив...

Потом «птичка Люси» (как звали ее при исчезнувшем дворе) без устали болтала в темноте. Этот самый Буонапарте воевал в Египте, и Люси рассказывала о веселых любовных приключениях подруги креолки в отсутствие героя-мужа.

Все ужасы революции не смогли изменить этот жалкий легкомысленный народ.

Ненавистный мне народ.

Гражданин Фуше пишет досье

4 мая 1799 года.

Гражданин Фуше, находившийся в Гааге с дипломатическим поручением, был отозван в Париж по решению Директории. Как он и предположил, его вызвали в Париж, чтобы предложить желанную должность. Предложение это было итогом неутомимых интриг, которые вел из Гааги гражданин Фуше. И еще целого состояния, которое он истратил на подкуп Директоров. И вот свершилось! Вчерашнему неукротимому революционеру гражданину Фуше предложили стать министром полиции в правительстве Директории, покончившем с революцией.

О назначении решено было объявить через пару недель. А пока гражданин Фуше знакомился в Париже с новыми обязанностями. И тайно исполнял их. И готовил Париж к удивительной новости.

В квартире царил беспорядок. В черном сюртуке Фуше сидел среди множества неразобранных саквояжей и задушевно беседовал с немолодым человеком в точно таком же черном сюртуке.

Собеседник заботливо сообщал гражданину Фуше все подозрительные новости Парижа. В конце беседы упомянул об апрельском аукционе мебели из дворца Трианон, принадлежавшей казненной королевской семье. Так гражданин Фуше узнал, что мадам Жозефина Буонапарте через две недели после аукциона вдруг запоздало и страстно заинтересовалась королевской мебелью. Двумя маленькими стульчиками Марии Антуанетты, которые, к крайнему сожалению жены генерала Буонапарте, купил на этом аукционе гражданин Бомарше.

Это сообщение неожиданно для собеседника погрузило гражданина Фуше в глубокую задумчивость.

После чего гражданин Фуше и поручил черному сюртуку «произвести ряд необходимых следственных действий».

И когда черный сюртук покинул его дом, гражданин Фуше сел за бюро, чтобы внести некоторые добавления в свое досье о генерале Буонапарте.

В «тот день» Бомарше, как всегда, писал пьесу

1799 год. Ночь на 17 мая (28 флореаля 7 года Республики).

«Тот день» наступал.

Безлунная ночь. Горели фонари. Шел второй час ночи, но даже здесь, на окраине в Сент-Антуанском предместье, Париж привычно не спал.

Площадь, где некогда громоздились высокие стены и башни Бастилии, была теперь пуста. Только жалкие кофейни ютились на месте грозных башен, и подвыпившая компания горланила на лысой площади песни.

Среди строений, окружавших площадь, высился его дом. Он стоял за высокой стеной в глубине окружавшего его парка. Теперь, когда громада Бастилии исчезла, дом казался вызывающе огромным. Странно изогнутый по фасаду, со множеством окон, обращенных в пустоту площади, дом был погружен во мрак.

Высокий господин с косицей, поигрывая тростью, вышел из ворот. Господин был немолод и тучен. И оттого особенно ценил пешие прогулки. Но час был поздний и к тому же под вечер на город обрушился майский ливень. Антрацитовая жижа — осколки от колес экипажей, отходы кухонь, выбрасывавшиеся прямо на мостовую, — вся эта парижская несмываемая грязь, разъедающая обувь и платье, разлилась по площади. И перейти через вонючие лужи, не замаравшись по колено, не было никакой возможности.

Да и небезопасно прогуливаться в этот час. Фонари после революции — дефицит... Толпа обожает крушить памятники и фонари. И теперь здесь, на окраине, в наслех восстановленных фонарях горели дешевые сальные свечи, легко задуваемые ветром. Их слабый колеблющийся свет дурно освещал улицу. Нет, два часа ночи — плохое время для прогулок. Особенно если на твоей трости золотой набалдашник и на пальце — крупный бриллиант.

И вместо прогулки Бомарше решил воспользоваться каретой, ждавшей его у ворот.

Экипаж катил по Парижу. Силуэты домов. И силуэты гигантских полениц с дровами для топок бесчисленных печей. В пирамидах из дров, величиной с добрый дом, прятались бездомные...

Дома высились над древними каменоломнями, над этими черными безднами, на которых стоит Париж. В сыром воздухе ночи — смрад от реки. Сточные трубы льют нечистоты прямо в Сену.

Поздний час, но чем ближе к Тюильри, тем больше карет. Вечный город вечно бодрствовал.

Все как до революции. Экипажи пересекали путь друг другу, обдавая грязью и брызгами редких пешеходов. И внутри раззолоченной кареты (в такой прежде сиживал принц крови) сквозь сверкающие стекла видна была жирная, простонародная морда вчерашнего слуги, сделавшего состояние в дни революции.

И рядом с этим разбогатевшим, размордевшим Фигаро — голые плечи красавицы. И так же грозят смертью и увечьем прохожим колеса этого экипажа — богачи во все времена не замедляют ход своих карет...

Как хороша была женщина в экипаже, пронесшемся мимо его жалкой кареты. Как хороши эти легкие новые прически. Он вспомнил гигантские многоярусные волосяные сооружения на красавицах своего времени. Роскошные прически дам былых времен. На самом деле это была масса влетенных фальшивых волос, часто снятых с мертвецов, а под ними таились кожаная подушка, набитая конским волосом, лес шпилек и гора помады, пудры, духов. И как в их первую брачную ночь его немолодая жена заботливо укутала тканью это соору-

жение, стойвшее уймы хлопот и денег, от чего ее голова стала еще огромней и безобразней...

Около моста Пон Неф экипаж остановился.

В свете фонаря статуя Генриха IV возвышалась угрюмым силуэтом. Нищий, спавший прямо у статуи, при виде господина, ступившего на мост, начал просить милостыню во имя Пресвятой Девы и короля Генриха. Это сочетание позабавило господина, и он подал нищему.

Древний Мост всегда был знаменит опасной славой. Здесь промышляли самые известные воры. Здесь когда-то опасный шутник и распутник принц Гастон Орлеанский придумал себе забаву: переодетый срывал плащи с ночных прохожих.

До революции здесь обосновались королевские вербовщики солдат и потаскухи. Они работали в деловом содружестве — шлюхи и вербовщики. Девицы заманивали юношу в кабак, потом в постель. И после утех, когда юноша не мог расплатиться за ночь и за кабак, несчастному приходилось продавать вербовщикам свою свободу.

Теперь вербовщики исчезли, но девицы остались. Они пережили все революционные запреты и стали полными хозяйками ночного моста. Сейчас они толпились у палаток торговок фруктами. Появление господина вызвало у них большое оживление. Они тотчас выстроились, демонстрируя господину свои прелести.

Он отозвал одну из них и задал странный вопрос: «Где найти Королеву?»

Девица не удивилась. Лениво усмехнувшись, пожала плечами. Он вложил в ее руку ассигнацию. Девица тотчас собрала товарок и после некоторого совещания принесла ответ.

Бомарше вернулся к карете и велел кучеру ехать к Люксембургскому саду.

Он искал женщину. Женщину, которую не видел добрых десять лет.

По дороге он думал о том, как славно было бы построить мост против аллеи Инвалидов, который соединил бы бульвары и предместье.

Сент Оноре — с Сен-Жерменом. Так уж был устроен его мозг — тотчас рождал великие предприятия.

Экипаж громыхал по запутанным улочкам Латинского квартала. У Сорбонны была ночная пустота. Завтра ее заполнит утренняя толпа учеников в черных сутанах. Он помнил счастливые времена, когда «Комеди Франсез» была в Латинском квартале. Здесь играли его первую пьесу, дух Сорбонны тогда царил в зале. Теперь Комеди обитала в квартале богатых лавочников. Тупость и пошлость нуворишей властвуют теперь в партере. Все, что было до революции, как в другой жизни. Здесь в Латинском квартале он жил когда-то со второй женой. Он купил дом недалеко от имения принца Конде. Как он молод был тогда! Здесь он написал первую пьесу, принесшую ему настоящий успех...

Он проехал Люксембургский дворец, который в дни революции умудрились сделать тюрьмой, и экипаж углубился в лабиринт узких улочек.

Дома темнели закрытыми ставнями. Но одно окно, несмотря на холодный вечер, наступивший вслед за ливнем, распахнуто. Видны гостиная, жестикулирующие люди... кто-то грел руки перед камином, загораживая тепло от остальных... Парижане — это странное скопище живых мертвецов, живущих в закупоренных гостиных при свете свечей. В голубом небе, в дневном свете, в зелени природы для них нет благородства. Они предпочитают дышать парижским воздухом: дымом несметного количества дров, гнилостными испарениями сточных канав, этих ручьев мочи и кала, частицами мышьяка и смолы, выделяемыми бесчисленными мастерскими. Воздух зловонен и тяжел, тлетворные испарения, смрадная грязь — удел добровольного заточения этих безумцев парижан... Вечный Париж, как вечный Рим. Вечность... чтобы исчезнуть...

Исчезли великие государства, исчезнет когда-нибудь и этот город. Взорвет ли его адский порох — которого копят все больше и больше все государи мира?

(Все это рассуждение можно было вставить в пьесу. Но теперь поздно, да и скучно.)

Приближаясь к ее дому, начал волноваться. Он вспомнил ту ночь. Спасибо врачу Кондому, придумавшему безопасный футляр для проказника. Кто знал, какой шип ждал его на этой розе, которой до него наслаждалось столько мужчин!

Та ночь. Нет, это не было обычное безумие... страсть нового тела. Бесконечный лабиринт новых тел, новых вздохов, новых восторгов — таких старых вздохов и старых восторгов. В конце которого стоит с протянутыми объятиями Смерть.

Нет, та история была иной.

И он с усмешкой вспомнил строчки письма к Ней. К Прекрасной Шлюхе.

(Письмо он считал удачным. И впоследствии посылал подобное другим дамам.)

«Вашу ножку, точеное колено, маленькую ступню, такую крохотную, что хочется взять ее в рот, а потом впиваться губами в губы и сойти от этого с ума... Я мечтал вчера, каким было бы счастьем, если бы я мог в охватившем меня бешенстве сожрать вас живьем, не отрывать никогда своих губ от ваших. Чтобы кровь из моего сердца уходила в ваше, чтобы вы оказались внутри меня. И всем казалось, что я дремлю, а мы бы в это время любили друг друга. Женщина, верни безумцу душу, которую ты у него отняла...»

Прекрасная дуреха не понимала, что он ласкал ее и... *другую*. Он впивался губами в ее губы, но это были губы *другой*.

Его тайна.

Карета остановилась. Оказалось, он знал этот дом. В дни, когда он еще обитал в Латинском квартале, в доме этом жил забавный венецианец. Венецианец развлекал общество весьма рискованными любовными историями.

Он послал слугу наверх. И, пока тот поднимался в ее квартиру, он все вспоминал имя итальянца. Но обычно услужливая память так и не выдала ему этого имени.

А потом в дверях показалась она. Она совсем не изменилась. Ее лицо снова соединилось с лицом той, *другой*. Все стало как раньше.

Только теперь *другой* не было на свете.

Она поцеловала его. Жаркие губы и холодные губы. Поцелуй свидания с той, мертвой. Поцелуй из смертной тени.

Она сидела рядом с ним, прижимаясь к нему. И шептала голосом *другой*, сводящим с ума голосом:

— Почему ты меня нашел? И как ты мог жить без меня? Старый греховодник, ужасное чудовище!

Она торопливо целовала его. И он опять терял голову. Ее рука... Ее рука скользнула вниз...

Те самые любовные сумасбродства, о которых рассказывал тот венецианец!..

— Поезжай медленнее,— услышал голос господина слуга на козлах.

Через добрых пару часов экипаж въехал на площадь, где стояла прежде Бастилия. И остановился у большого дома. Его дома.

Она расхохоталась:

— Надо же, Бастилия. Было, было и ни...— она грязно выругалась,— нет!..

Парочка покинула карету.

Высокий тучный господин и женщина, старательно прятавшая свое лицо под черным капюшоном. Главная героиня пьесы, которую предстояло завтра, точнее, уже сегодня разыграть.

1799 год. Утро «того дня». 17 мая (28 флореаля, 7 года Республики).

Она выпрыгнула из кровати. Темнота комнаты. Зажгла свечу. Белое узкое тело *другой*... Она повернулась лицом *другой*. И, помахав ему рукой, исчезла за

вишневой занавесью. Занавесь висела на стене, где прежде был камин. И когда занавесь упала вслед за исчезнувшей женщиной, Бомарше почувствовал серый запах. Запах пыли. Занавесь давно не поднимали.

Бомарше спустил ноги с кровати. Встал, отодвинул шторы. Предательский свет утра. Все голо, ясно. Ну-с, какова сегодня диспозиция этого проигранного (уже при рождении) сражения? Какие еще рубежи завоевала старость за прошедшую ночь? Банальные цитаты, хлам удачных реплик. Неужели этим может быть забита голова в *последний* день?

Он позвонил в колокольчик. Вошел слуга.

Не так: «В открытой двери возник слуга с подносом. Гражданин Бомарше взял свою чашечку кофе».

— Ну что, что ты молчишь?

— Вы запрещаете утром говорить. Утром вы думаете.

— Прекрасный ответ идиота. Ты самый неудачный Фигаро в моей жизни. Ты даже выглядишь отвратительно. Тебя трудно описать. Ни одной особой черты — все аккуратное, сглаженное... Какой у тебя отвратительно маленький нос, как член китайца. Где он — длинный, прущий напролом галльский нос, которым на худой конец можно осчастливить женщину?

«Слуга безмолвствовал». Нет, точнее — «торжественно молчал».

— Ну и что он сказал, Фигаро?

— Настаивает, чтобы вы приняли его сегодня. Он приедет к вам в полдень.

— Хорошо. Принеси.

Слуга молча вышел, тотчас вернулся с двумя шпагами и ящиком с пистолетами.

«Бомарше взял шпагу, поиграл — поласкал рукоять...»

Монолог Бомарше:

«Клинок повидал виды. Когда-то я проколол им соблазителя сестры. Десять лет назад уложил им наемного убийцу. Убийцу подослал адвокатишка Бергас. Негодяй сначала оболгал меня, потом хотел убить. На пустынной улочке убийца поджидал меня. Я даже не увидел его лица. Только услышал выстрел. Промач. И мой ловкий выпад — вот так! И мерзавец схватился за живот. И смешно висел на шпаге, как на вертеле. Или как бабочка на иголке в моей коллекции. Я убил его первым выпадом шпаги».

Слуга все так же молча стоял в дверях.

— Еще чашечку кофе, Фигаро. Так сказать, на прощание с утром. (Не сказал — «с *последним*».) У тебя что-то еще?

— Приходил человек, у которого вы заказали новый ошейник для Розины. Спрашивал — что писать на ошейнике?

— Запиши: «Меня зовут мадам Розина. Я принадлежу... Нет, мне принадлежит гражданин Бомарше. Мы живем на бульваре...» Не очень... Может, к вечеру придумаю получше. Сгинь!

«Молчаливый негодяй удалился. Должно быть, усмехаясь».

И Бомарше продолжил монолог:

«Он подошел к зеркалу. В зеркале — портрет финала: шестьдесят семь лет, тучный, с поредевшими волосами, подбородок висит, как сумка у кенгуру. А эти глаза навывкате. На днях в Трианоне на аукционе долго рассматривал автопортрет старого Рембрандта. Он рисовал себя — и зорко глядел в зеркало. И те же мысли посещали, видно, и его. Мы обменялись с ним усмешками через столетия. Те же глаза, выпадающие из орбит, слезящиеся. И те же мешки под глазами, та же сумка кенгуру вместо подбородка. Овал лица. Обвал лица. И тот же покорный вопрос в глазах: зачем была вся эта бессмысленность?.. И рядом, как банальный ответ, висел (продавался) его набросок: прелестная головка служанки, любовницы Рембрандта. Радостная, торжествующая молодая плоть».

И вот сейчас продолжается вчерашний разговор с покойным господином Рембрандтом.

Ибо сегодня в майское утро Бомарше проснулся счастливым (как, должно быть, был счастливым господин Рембрандт, когда юная служанка покидала его постель). От Бомарше только что ушла она. И всю ночь была прежняя битва губ и стон смерти. Смерти желания. Изгиб спины... ее содрогание. Тайна женской спины, в изгибе которой прячется твоя смерть и завтрашнее наслаждение ее молодого тела... когда твоя плоть уже станет травой. Женская голова на подушке, эта непреходящая радость для размеренной жизни господина Рембрандта. Но у гражданина Бомарше — опасное видение. Ибо когда голова этой женщины откинута в содрогании, когда **она открывает глаза ПОСЛЕ**, ему тотчас мерещится другая голова с *открытыми глазами*...

Палач Сансон рассказывал о другой...

Она поднялась... нет, взбежала... нет, вспорхнула на эшафот... та же легкая поступь, как на балу. Но ясно было видно: она из последних сил сдерживала страх, слезы. Ее торопливо уложили на доску, ошейник охватил ее шею, и папаша Сансон дернул веревку. Стальной треугольник рванулся вниз... этот звук. Шлепанье... нет, тупой удар некоего упавшего предмета, который еще мгновение назад был человеческой головой. Теперь этот отдельный предмет лежал в корзине. И струя крови из тела, торчавшего на доске. И площадь радостно орала, требовала повидаться с ее головой. И палач, добрый наш папаша Сансон, вынул свой кровавый улов из корзины и приказал помощнику показать толпе. Тот, держа голову за остриженные волосы, начал обходить эшафот. Голова была совсем седая... точнее, стала совсем седой, пока ждала удара упавшего ножа. Молодая седая голова. И кровь ее капала на помост...

И тысячи Фигаро на площади, увидев отрубленной самую прекрасную голову Европы, орал в восторге... И тотчас смолкли. Ибо голова **открыла глаза**, единственные в мире лазоревые глаза, от которых сходили с ума. Папаша Сансон потом объяснил гражданину Бомарше, что это бывает, когда от предсмертного ужаса слишком напряжены мышцы, они затем вот так расслабляются. Она, видимо, очень боялась перед смертью и слишком великим усилием сдерживалась, чтобы не показать перед чернью свой страх.

Боже мой! Неужто сегодня свидимся с нею? Во всяком случае, сегодня Бомарше узнает главную тайну. Сын мира сего станет сыном... Кого? Или чего?

Однако за дело — обсудим список действующих лиц «Представления **перед...**».

Номер один. Бонапарт. Но он отсутствует — завоевывает Египет. Да и не пришел бы. Надо бы записать про его глаза, когда я его тогда впервые увидел. Он был совсем молоденький офицерик, похожий на маленькую девочку. Но когда он посмотрел... никогда не видел такого непреклонного взгляда. И я тотчас понял — особый человек. Страшный. Теперь, когда на моих глазах разгорелась его небывалая слава, попытался увидеть вновь. Я понимал, что обстоятельства той давней нашей встречи стали для него опасным воспоминанием. Но тем более решил попытаться. В это время Бонапарт вернулся из Италии. После своих великих побед привез победоносный мир для Франции. И триумфатор, которому поклонялась нация, жил тогда в простом особняке своей жены на улице Шантерен. У меня был неплохой предлог его увидеть. Отправил ему письмо: «Гражданин генерал. Наше правительство недавно вернуло мне мой дом, разрушенный в дни революции. Это усадьба в центре Парижа, единственная в своем роде, и огромный дом, выстроенный с голландской простотой и афинской чистотой стиля. И эта усадьба предлагается мною, ее владельцем, вам, гражданин генерал. Не говорите нет, прежде чем мы не увидимся и вы не осмотрите ее внимательно. Возможно, она покажется вам достойной питать иногда ваши высокие раздумья».

Придумал передать это послание во время торжеств: я был приглашен на прием в его честь в Люксембургском дворце... Министры, генералы парижского гарнизона, дипломатический корпус собрались во дворец славить его. Сверкающие мундиры на фоне декабрьских нищих деревьев. Постоянный грохот ор-

кестров. Двор дворца в трофейных знаменах, картинах и мраморах великих итальянцев (генерал всласть пограбил Италию). В глубине двора идиотский Алтарь Отечества с гипсовыми статуями, естественно, Свободы и Равенства и, конечно же, Мира — в честь добытого генералом. Пять Директоров в римских тогах, будто вылезшие из ванной, сидят под гипсовым алтарем. Глупее зрелища не придумать. Сам дворец, еще вчера бывший республиканской тюрьмой, где, ожидая смерти, возможно, сидела жена прославляемого ныне генерала креолка Жозефина, сверкает парадными залами и недавно возвращенной (украденной в революцию) мебелью. И мы, избранные смертные, глазеем из окон дворца во двор, ожидая генерала.

Пугающий грохот! Это салют, выстрелила артиллерийская батарея в Люксембургском саду. Начало церемонии. Под крики: «Да здравствует республика! Да здравствует Бонапарт!» — вводят того, кого я знал жалким офицериком. Он по-прежнему преступно молод и еще более щупл. Но какая величественность. И если эти идиоты в тогах также похожи на римлян, как идиотские гипсовые статуи в Алтаре на искусство, то он похож... Истинный Цезарь.

Равнодушно слушает безкусные выверты словословия: «Скупая природа. Какое счастье, что ты даришь нам от случая к случаю великих людей!» И прочее...

Его ответная речь образна и отрывиста, как военный приказ: «Наша великая революция преодолела восемнадцать веков заблуждений. Двадцать веков Европой управляли религия и монархия. Но теперь, после моего мира, наступила новая эра — правления народных представителей!»

И всеобщий вопль восторга. Он идол.

Каюсь, колебался, прежде чем передать ему послание. Почувствовал себя маленьким, жалким во время этого народного безумия. Но заставил себя вспомнить, скольких они почитали за мою жизнь: Людовик XV, по прозвищу «Возлюбленный народом», его статуи разбиты ныне по всей Франции, Мирабо, по прозвищу «мосье Восхищение», выкинули из могилы, Марата на руках носили в лавровом венке, теперь его имя проклято... Дантон, Робеспьер... и т. д. Целого дня не хватит произносить имена вчерашних богов...

И я подошел к его жене.

Говорят, креолке на самом деле уже пошел четвертый десяток, и когда она выходила замуж за молодого героя, в брачном контракте скинула себе аж четыре года. Но сейчас румяна и пудра свершили обычное чудо: юное очаровательное личико, голубые глазки, огромные ресницы, вьются темные волосы с медным отливом и эта нежность голоса, эта грация и легкость в движениях, которую я так любил у Антуанетты... И кокетство, зов — это великое «Пойди сюда», которое сводит с ума. О женщина!..

Я передал ей письмо. Она умудрилась прелестно улыбнуться, не разжимая рта (говорят, у нее плохие зубы).

Вскоре последовал ответ генерала: «Я с удовольствием воспользуюсь первым представившимся мне случаем, чтобы познакомиться с автором «Преступной матери». И ни слова о доме!

Письмо означало: вы хотите меня увидеть, но я не хочу.

Настаивать было опасно.

Кстати, весьма странный вкус у гражданина Бонапарта — из всех моих пьес он почему-то избрал не самую удачную.

И когда два года назад «Комеди Франсэз» возобновила «Преступную мать», разнесся слух, будто генерал Бонапарт специально вернется из Италии, где одерживал очередные великие победы, чтобы посмотреть любимую пьесу. Я всегда отказывался выходить на сцену на аплодисменты в финале. Но его присутствии... Кроме того, соскучился по признанию... после собачьих последних лет бегства, эмиграции и прочего.

Вышел на сцену. Аплодисменты вновь заставили меня пережить забытое чувство славы. Но тщетно искал его глазами: Бонапарта в зале не было, наш герой продолжал воевать в Италии...

Теперь он в песках Египта. Так что можно сказать: сегодня по уважительной причине он не сможет участвовать в представлении...

Но вернемся к списку действующих лиц сегодняшней пьесы. Король и королева также отсутствуют. Как известно, тоже по самым уважительным причинам: удалились в могилу. Так что из всего списка должны прийти только граф Ф., маркиз де С. и она. И все-таки прелестное ожидается представление. Мое последнее представление.

Однако негодяй с китайским носом не торопится принести мне кофе...»

Гражданин Бомарше позвонил в колокольчик. Но никто не пришел.

После чего он и услышал...

Гражданин Бомарше продолжает сочинять пьесу

«В это время (о, тишина майского утра на окраине Парижа!) по булыжной мостовой тяжело и звонко прогрохотало. И затихло. В окно увидел — подъехала карета и остановилась у моего дома...»

Лучше так: «В то важнейшее утро в жизни гражданина Бомарше...» Нет, можно точнее: «В то утро, 17 мая 1799 года, обещавшее стать последним в жизни Бомарше, к некогда роскошному (но весьма пострадавшему в дни революции) огромному дому, принадлежавшему сему гражданину, подкатил экипаж...»

В окно Бомарше наблюдал, как из кареты выпрыгнул господин в черном и открыл дверцы. После чего из экипажа стремительно выскочил другой, уже знакомый нам господин и тоже в черном...

«Вот это новость! Каково действующее лицо. Он и не заявлен в сюжете. Его нет в списке действующих лиц! Поворот сюжета?!»

Теперь Бомарше кричал, сопровождая ругательствами каждое слово:

— Куда исчез подлец? (Непечатно.) Фигаро! (Непечатно.) Неси одеваться! Мало того, что ты так и не принес мне кофе. Мало того, что твой китайский нос... (Со всем непечатное.)

Он яростно, но тщетно звонил в колокольчик.

А в дверь уже стучали. После чего просунулась голова прибывшего.

— С добрым утром, гражданин Бомарше,— необычайно ласково пропела голова, и втиснулось в едва открытую дверь узкое туловище.

«В черном фраке пришедший был пугающе худ. Землистое лицо, бесцветные пряди волос, бесцветные брови, хищный костлявый нос, усмешка в тонких сжатых губах и непроницаемый взгляд бесцветных рыбьих глаз».

— С добрым утром, гражданин Фуше. Вынужден принять вас в халате.

— Я немного рано, гражданин?

— У вас, вероятно, бессонница, гражданин...— ответил Бомарше.

— Спасибо, что вы рассердились. Обычно, когда меня видят, пугаются.

— Что делать, для многих вы, как бы это выразиться...

— Поделикатней,— веселясь, подсказал гражданин Фуше.

— Вы — некоторое воспоминание о...— Бомарше в тон засмеялся.

— О мерзостях навсегда ушедшей в Лету нашей великой революции,— подхватил как-то сочувственно гражданин Фуше.— Да, да... тысяча шестьсот сорок четыре убитых в Лионе. Ужас. Но порядок в Лионе навели.

— И бедного короля вы тоже отправили на гильотину.

— Кошмар... И королеву, не забудьте. Я голосовал за казнь обоих. Конечно, заблуждение, но монархию закончили. Какая эпоха ушла! Но вы правы — французы вспоминают с ужасом, что сотворили. Хотя, поверьте, уже завтра поставят памятники всем, кого нынче клянут. И Дантону, и всем кровавым глумцам. А умным людям — никогда...— продолжил вздыхать Фуше.— А я давно не был в Париже. Все так изменилось! Прошло всего три года, как они отослали меня послом. Наше вечное — «посол вон!». Предпочли держать вдалеке, все-таки символ ушедшего печального времени. Однако, видите, я снова тут. И как вскоре узнаете — надолго. Отправился нынче в Булонский

лес, потом на Елисейские поля. Послушайте, куда подевалась революционная простота? Только после революционного воздержания может быть такой разврат, такая жажда роскоши, удовольствий. Среди аллей и кофеен дамы в туалетах античных богинь. Мужчины с драгоценными набалдашниками. Выставка богатства, как при проклятом королевском режиме. И давно это здесь началось?

— Вы отлично знаете — на следующий день после того, как упала голова Робеспьера.

— Бедняга Робеспьер. Да, погиб.

— И тоже благодаря вам.

— Именно, именно, — сокрушался Фуше.

— И к власти опять вернулись деньги. И как ни удивительно...

— Да, вернулся и я.

— Ну, конечно, вы должны были вернуться! Как же я не понял!

— Тоже удивляюсь. Умный человек. И корите меня старой кровью. Новые времена. В Париже наконец-то усвоили: кто-то должен хорошо защищать наворованные в революцию богатства. Кто-то должен помогать держать в узде опасное чудовище, пардон, горячо любимый французский народ. Нужны жесткие, жестокие, исполнительные люди.

— Вы правы — те, кто прежде хорошо исполнял роль кровавого революционера...

— Приятно с вами беседовать: «Исполнял роль». Именно! Да, только он способен исполнить новую роль — беспощадно покончить с «кровавой революцией»! Так ее теперь называют. Короче, уже неделя, как Директора затребовали меня из посольского изгнания. Этого, кстати, еще не знает никто... Так что это мой подарок гражданину Бомарше, обожающему все узнавать первым. Уверен, что котировки на бирже вначале упадут. Наши болваны испугаются моего возвращения... решат, что возвращается революция. Так что можете лихо поиграть...

Бомарше молчал и вопросительно глядел на собеседника.

— Новый министр полиции, к вашим услугам. Так что теперь, дорогой гражданин, вряд ли для кого-нибудь я буду приходить вовремя. Надеюсь, не особенно встревожил вас этим сообщением?

— Ну что вы, меня столько раз арестовывали и при всех режимах. Однако к делу. — И Бомарше закричал: — Эй, Фигаро, кофе гостю!

Но слуга не появился. Фуше улыбался.

— Ваш нынешний Фигаро не сумеет прийти с чашечкой кофе... Его только что увезли в полицию, вернут тотчас после нашего разговора. Слуги любят подслушивать. Я не хотел, чтобы он услышал наш разговор.

— Сколько продлится наш разговор?

— Вам, как знаменитому часовщику и, следовательно, контролеру времени, я просто обязан точно ответить. Но увы!.. Изучив, пока лишь заочно, вашу манеру беседовать, эту вашу любовь к бесконечному монологу — сказать не берусь.

— Только говорите громче. В последнее время я несколько оглох.

— Да, да... Знаменитая глухота Бомарше. Кстати, могу рассказать, когда и, главное, почему она у вас появилась. Это случилось, когда в Париже впервые давали оперу Моцарта «Женитьба Фигаро». Позвали, естественно, и вас. Глупцы ждали отзыва автора великой пьесы о знаменитой опере. Но внезапная глухота помешала...

— Да, мало что довелось услышать.

— Вот именно, — продолжал сокрушаться гражданин Фуше. — Слушать-то пришлось через рожок. Какая потеря! Опера очаровательна. Легкомысленна, как тот исчезнувший танцующий век. Мосье Талейран, наш новоиспеченный министр иностранных дел, большой любитель афоризмов, сказал мне: «Кто не жил в восемнадцатом веке, тот вообще не жил». На мой вкус лучше иначе: «Кто жил в восемнадцатом веке, тот довольно быстро уже не жил». Сколько великих

мертвецов отправил на гильотину ваш веселый Фигаро, то бишь наш увлекающийся проказник великий народ. Правда, главный смысл «жажды бунта великого Фигаро», который так пленял в вашей пьесе господина Дантона... отправленного, кстати, все тем же «великим Фигаро» на ту же гильотину... совершенно пропал в очаровательной музыке. И оттого-то злые языки и утверждали, что вам попросту очень не понравилась опера. И потому злосчастный рожок появился. И те же злые языки настойчиво полагают, что с тех пор вы всегда глоснете вовремя... Вы хотите оглохнуть сейчас?

Гражданин Бомарше молчал. Или, точнее: «Вместо ответа гражданин Бомарше начал пристально изучать лицо гражданина Фуше».

— Что вы так смотрите?

— В последнее время,— задумчиво произнес Бомарше,— я все чаще размышлял: стоит ли оставаться знаменитым, но престарелым, точнее, устарелым драматургом, когда можно стать молодым прозаиком? И потому теперь учусь описывать. Прозаики так болтливы. Драматург пишет: «Вошел Фуше». И все ясно. Прозаик: «Вошел Фуше с лицом бледным...» — и т. д.

— Не трудитесь. Вы уже столько раз описали мое лицо. «Этот Фуше с лицом трупа и душой демона». Это вы сказали обо мне шестого мая тысяча семьсот девяносто седьмого года на банкете по случаю представления в «Комеди Франсэз» вашей пьесы «Преступная мать» в разговоре с генералом Моро. Во время свадьбы вашей дочери девятого июля девяносто шестого года вы высказались обо мне столь же образно в разговоре с гражданином Лебреном, членом Совета Старейшин: «Какое счастье, что длинная фигура этого мерзавца... — то есть моя, — торчит за пределами Франции. Этот черт из табакерки, — то есть я, — кроме дьявола, умудрился предать всех». Не удивляйтесь точности — я уже принял досье Министерства полиции. Ничего, ничего, я не обидчив. Ваше дело говорить, гражданин Бомарше. На то вы и великий сочинитель. А наше дело записывать, чтобы не пропали слова бессмертных. Вы часто обо мне говорили, и это большая честь. Но когда девятнадцатого декабря девяносто шестого года вы сказали: «Мерило благородства — это то страдание, которое испытывает человек, совершив низость. Люди типа Фуше не знают, что это такое», — вы не были мудры. Как раз все наоборот. Это было большое искусство — не испытывать страдания, постоянно совершая низости. Ибо только так можно было выжить в наше грозное время. Так что на укоризненный вопрос всех наших великих глупцов — великих революционеров, которые нынче покоятся в безымянных могилах с отрезанными головами меж раздвинутых ног: «Чем вы занимались в то кровавое время?» — есть только один знаменитый ответ: «Мы выживали»... Простите, не могу оторвать глаз от этих стульчиков. — Фуше указал на два грязных стула, сиротливо стоявших у вишневой занавеси.

Бомарше печально посмотрел на них.

— Да, гражданин, эти два изгаженных стула, пожалуй, нынче вся роскошь в этом когда-то великолепном доме.

— Точнее, во дворце, который в Европе королей имел единственный литератор, сын жалкого часовщика и автор пьесы, разрушившей эту самую королевскую Европу, Пьер Огюстен Бомарше.

— Я как-то над этим не задумывался.

— Я построил бы вашу реплику иначе: «Я над этим задумывался и гордился».

— Соавторство принимается.

— Зачем вам такой огромный дом? В этом была потеря вкуса. Это не праздный вопрос, как вы поймете потом.

— Допрос начался?

Фуше улыбнулся.

— Мне было уже под пятьдесят, — начал Бомарше, — и я решил осуществить мечту жизни каждого литератора. Построить большой... нет, огромный собственный дом. Дворец для Художника. Я нашел довольно удачное и, главное,

тихое место здесь в Сент-Антуанском предместье. Дом, как вы видите, выходит на площадь, где недавно стоял тюремный замок Бастилия. Здесь заканчивается сумасшедший Париж. По одну сторону — дома великого города. По другую — сельская идиллия, загородные дома «под листьями», особнячки, куда когда-то приезжали для любовных безумств вельможи последнего королевства. Здесь был дом Калиостро. Я построил этот дворец, как я хотел. Свет и простор. Сам придумал этот длиннейший фасад в форме полукруга с колоннадой. Двести окон по фасаду. Внутри мрамор, красное дерево. Огромная бильярдная, похожая на собор, искусно скрытое освещение. Вам следует все это представить, ибо ничего, кроме стен, увы, не осталось.

— А как вы относились к тому, что дом Бомарше называли в Париже «образцом варварской роскоши и дурного вкуса»?

— Я отвечал: «В Париже много умных людей. Но, как правило, они экономно расходуют свои мысли». Все, что я делал в жизни, большинство не понимало... Дом похож на меня. В нем размах.

— Причем из всех окон у вас видна...

— Совершенно верно — Бастилия.

— Это вас не пугало? Впрочем, просвещенные люди выше суеверий... Они даже в Бога не верили.

— Хотя не доходили до такой смелости, как один бывший священнослужитель, привязывавший в дни революции Евангелие к хвосту ослов...

— Привязывавший, когда нужно было. Но теперь вы можете увидеть меня на молитве в Нотр-Даме. Надеюсь, Бог по-прежнему столь же милосерден к грешникам, как и до революции...

— Что же касается Бастилии. Мне ведь приходилось...

— Да, да,— сокрушенно подтвердил Фуше,— сидеть в тюрьме. И не раз.

— Да и Бастилия была отнюдь не мрачным, напротив, очень красивым средневековым замком. Совсем не портила вид. Но вы правы, я должен был понять: судьба предупредила меня. Не зря Бастилия глядела на меня из всех окон. Как видите, все в доме разрушила революция. Уничтожила камин каррарского мрамора, вот в этой спальне стоял, теперь приходится закрывать занавесью изуродованную стену.— Бомарше показал на вишневую занавесь.— В гостиной был этрусский подлинный мозаичный пол — выломали, разбили зеркала, украли гобелены, изуродовали расписной потолок похабными надписями. Все картины исчезли. Но больше всего жаль роскошный парк с греческими статуями: аллеи и рожицы соседствовали с водопадом. В зелени бюсты любимых философов...

— И себя не забыли.

— Нет, это был просто камень со словами Фигаро: «**Я все видел, всем занимался, все испытал**»... На холме возвышался Храм Вольтера. И его удивительная статуя: голый Вольтер с жалким телом. И саркастической, единственной в мире улыбкой.

— Хотя голым можно было изобразить вас. Вы сильно прогорели, издавая его сочинения. Думаю, это было единственное предприятие, когда вы не думали о деньгах.

— Мы все его должники. Вольтер осуществил мечту всех литераторов, начиная с Платона. Благодаря ему философы стали править королями. И великий прусский король и великая русская императрица заискивали перед немощным стариком. Заискивали перед Разумом. Я увидел его впервые, когда после тридцати лет изгнания он вернулся в Париж. Наш несчастный безвластный король разрешил приехать королю подлинному. И весь Париж, все знатнейшие и религиознейшие рвались в дом Вольтера, смеявшегося над знатностью и Богом много десятилетий. Все окружение Марии Антуанетты отметились в доме подлинного короля. Пришел и я, предложил Вольтеру издать собрание его сочинений. Я знал, оно будет убыточным. И Вольтер это знал и был благодарен. И мы обнялись.

— Вольтер и его друг Бомарше — историческое объятие.

— Я содрогался от запаха смерти из его рта.

— По нашим сведениям, это был единственный раз, когда Вольтер принял своего друга. О котором он столько раз, раздраженный его популярностью, говорил: «Ах, этот Бомарше!.. Он мог бы стать Мольером... если бы не любил жизнь более литературы». И далее следовала пренебрежительно-язвительная вольтеровская улыбка, совсем как на скульптуре в вашем саду... И все понимали — Мольером Бомарше не стал!

— Простим же слабости великим за счастье, которое они нам доставляли,— засмеялся Бомарше.— Все мы, литераторы,— члены республики волков. Сколько раз я в этом убеждался! При короле в списке угнетенных сразу вслед за евреями смело можно было поставить моих коллег-драматургов. Со странной покорностью мы терпели власть актеров, забиравших все наши гонорары. Я решил собрать драматургов вместе и отвоевать наши права. Но на первом же заседании господа литераторы переругались... друг с другом! Вечно обиженные всеми и вечно ревнивые друг к другу, они вызубрили только одну фразу, которую тотчас сказал мне лучший из них — Лагарп: «Если среди вас окажется такой-то, учтите — меня среди вас не будет».

— Запах смерти,— засмеялся Фуше.— Думаю, вы часто вспоминали запах смерти, когда думали о великом Вольтере. «Когда стало ясно, чем закончились его великие идеи». Ваша фраза, сказанная вскоре после революции и, конечно же, оставшаяся в вашем досье.

— Хотя точнее было бы сказать: «Чем *вы* закончили его идеи».

— Или уж совсем точно — *«мы»*, дорогой гражданин. Он, вы, ваш Фигаро, его монологи бунтаря, возбуждавшие умы. А потом уже я, Дантон, Демулен, Робеспьер...

— И все же великое было время. Первая годовщина взятия Бастилии. Ни одна страна не знала подобного опьянения свободой, все пришли на Марсово поле. От герцога Монморанси до последнего кочегара. Не было конца веселью, пляскам. Король, Антуанетта, члены Национального собрания... Никогда король не чувствовал такой любви нации. Я предложил тогда воздвигнуть на Марсовом поле гигантский монумент Свободы. Все мы мечтали «выпрямить дерево», но почему-то наклонили его уже в другую сторону. Да и сама свобода началась с сомнительного подвига — взятия Бастилии. Мне посчастливилось увидеть весь спектакль.

— Вы удивительно выдержаны. Совершенно не интересуетесь, зачем вас навестил министр полиции.

— Я чувствую, меня ждет очень интересное, и откладываю на десерт. Я просто рад беседовать с умным человеком. Последнее время у Бомарше мало любопытных посетителей. В шестьдесят семь лет все примиряются с твоей славой. Ты мэтр. К тебе приходят в основном молодые, изумленные, что столь великий человек еще жив. Или выжившие из ума сверстники... Итак, мы говорили о взятии Бастилии. Десять лет назад! Десять лет прошло — и как вчера. В тот июльский день у меня было много гостей. После обеда прогуливались по парку. Постояли у статуи голого Вольтера, потом отправились обедать в огромную столовую. Но обед был прерван. На улице раздались крики. И в окна мы увидели огромную толпу, заполнившую площадь. Обед оказался историческим. Народ штурмовал Бастилию. Из ста девяноста четырех окон по фасаду мои гости наблюдали Историю. Как тысячи вооруженных ружьями, кольями и пиками штурмовали крепость... Помню, из крепости показался дымок. Несколько инвалидов, оборонявших ее, выстрелили из пушек. Потом дымки прекратились. Кто-то из защитников показался в воротах с белым флагом, и толпа бросилась внутрь крепости. А затем из окон мы увидели странное. Торжествующая, орущая песни толпа. Впереди человек нес пику... на ней было что-то... мы не разглядели. Но когда он приблизился, я понял: это была человеческая голова! Моего знакомого коменданта Бастилии!

— Да, тысячи фигаро в тот великий день начали воплощать свои идеи равенства...

Но Бомарше, к некоторому разочарованию гражданина Фуше, будто не слыша насмешки, преспокойно продолжал:

— И во главе толпы я узнал хорошо знакомого мне молодого человека. Маленького, заросшего волосами, нервного... Полтора десятка лет до того, как построил этот дворец, я жил в Латинском квартале. Купил дом недалеко от дворца герцога Конде... там потом построили Одеон... И в трех шагах от меня жил некто господин Дюплеси, человек состоятельный, набожный и благонамеренный. Я с ним с удовольствием раскланивался, ибо у него подросла дочь, совершенная красotka...

— Ее звали Люсиль, — улыбнулся Фуше.

— Я уже решил поближе познакомиться с нею, но... В их дом начал ходить худенький маленький юноша, обвешенный длинными волосами, с дурной привычкой нервно кусать ногти, уродец с загнутым как клюв носом...

— Его звали Камилль Демулен.

— Потом я с завистью наблюдал, как они целовались в Люксембургском саду. И все думал: интересно, как он целуется с таким носом? Ведь мешает... С ними всегда гулял маленький молодой человек с узким лбом и поразительно упрямым подбородком. Он обожал голубые фраки, и у него была смешная привычка слишком пудрить волосы. И когда он снимал шляпу, над ним вставал белый нимб. Готов поклясться, он тайно был влюблен в Люсиль. Но вряд ли посмел что-то. Он был из тех онанистов, которые никогда не подойдут к женщине. Как выяснилось, они с Демуленом вместе учились и его звали Робеспьер... Впрочем, вы их хорошо знали.

Фуше рассмеялся:

— Более того, дружили. Мы были погодками. Робеспьер старше меня на год, я на год старше Камилля. Самое забавное, впервые я их увидел вместе всех троих. В тот день я приехал к Одеону в тщетной надежде попасть...

Бомарше засмеялся, он понял.

— Да, — продолжал Фуше, — весь Париж мечтал тогда попасть в Одеон, где давали «Женитьбу Фигаро». Вся Франция была наслышана о пьесе Бомарше... Экипажи вдоль Сены, тысячная толпа заполняла площадь. Как и положено было тогда во Франции, запрещенную комедию никто не читал, но о ней знали все! Все знали, что Фигаро говорит там восхитительно возмутительные вещи. И все хотели их услышать — королева, принцы крови. Сопrotивлялся один глупый король. Да, только этот глупец понимал то, чего не понимали умники: как страшна эта пьеса. И когда его заставили, наконец, разрешить... вся аристократия — принцы крови, двор — бросилась в театр аплодировать Фигаро, который еще только собирался с ними покончить. Помню, было тепло, конец апреля. Я пробился к самому театру. Стоял в толпе и не мог даже пошевелиться. Спасло появление герцогини Ламбаль. Полиция пробила ей дорогу. И освободила меня из плена. Несколько человек были задавлены в той толпе... Около меня, притиснутые ко мне, стояли двое юношей и девушка. Тщетно мечтающие, как и я, попасть на вашу пьесу. Думал ли я, что буду запросто беседовать с вами? Думал ли, что подружусь со всей этой троицей и что двое стоявших рядом юношей будут решать судьбы Франции? И что один из них — маленький Робеспьер — отправит на гильотину и эту девушку Люсиль, в которую, вы правы... он был безнадежно влюблен, и этого юношу Камилля Демулена, с которым дружил с детства.

— Думал ли Робеспьер, что сам там очутится? И этому немало будет способствовать четвертый, стоявший вместе с ними в толпе? С которым он вскоре подружится. Какая пьеса о дружбе четверых!

— Думал ли автор пьесы, что ему будет дано увидеть великое — как победил его литературный герой?.. Правда, вскоре после победы его героя автору самому придется спастись от него через подземный ход. Толпа разъяренных Фигаро будет штурмовать дом богача Бомарше. Забавно! Кстати, построив дворец, вы почему-то прорыли подземный ход...

— Архитектор спланировал его вместе с дворцом...

— Да нет, совсем не так, гражданин. Его начали рыть шестнадцатого декабря тысяча семьсот восемьдесят седьмого года, вскоре после того, как вы посетили салон господина Водрейля. Мы еще вернемся к этому вашему визиту в дом господина Водрейля... Как видите, я достаточно знаю о вас. В парке около камня со словами Фигаро до сих пор находится скрытая камнями потайная дверь. Подземный ход на улицу Па-де-ля-Мюль. Одиннадцатого августа девяносто второго года, когда тридцатитысячная толпа штурмовала ваш дом, вы, переодетый, ползли по потайному ходу. Но почему вы вдруг начали строить этот ход? И это, думается, я понял.

— Из того же досье?

— Вы скоро поймете, что шутки тут неуместны. Мы еще не раз к нему вернемся. Какое это увлекательное чтение — досье на Бомарше. Особенно вот этот эпизод. Он случился за пару лет до штурма Бастилии. В одном из салонов вы увидели мосье Казота. Мне его тоже пришлось повидать. Правда, позже.

— Думаю, и не в лучшее для него время.

— Вы правы. Перед тем, как его гильотинируют. Полуслепой, круглолицый, с добродушнейшим лицом, так не ввязавшимся с тем таинственным, что он обычно говорил... Он был членом секты мартинистов и много занимался общением с миром духов. Поэтому досье на него...

— Могу представить.

— Поверьте, не можете — такое оно обширное. Впрочем, как и ваше. И многих умных людей. На Казота набралось пятьдесят девять томов. Казоту было под семьдесят, когда вы его увидели *в тот день*. Вы ведь не знали его до этого?

— Его самого — нет. Но хорошо знал его мистические стихи и романы. Говорили, что после выхода в свет его «Влюбленного дьявола» и начались его видения. Все вокруг него было таинственно, как и его казнь после революции. Надеюсь, в досье указана причина странной казни?..

Фуше развеселился:

— «Странной»... Так вы сказали? Да нет, закономерной. И я вам расскажу подробности... Ваш знакомец Казот казнен двадцать четвертого сентября тысяча семьсот девяносто второго года. Я был среди тех, кто требовал его казни. Глава его секты Сен-Мартен да и его последователи приветствовали революцию. Казот же оставался приверженцем короля и даже участвовал... — Фуше остановился, помолчал и медленно закончил: — В побеге Людовика Шестнадцатого и его семьи летом девяносто второго. Вместе с неким графом Ферзенем и *еще одним господином*. Оттого его и казнили. — Здесь гражданин Фуше вновь выдержал долгую паузу. Он внимательно смотрел на гражданина Бомарше, потом произнес: — Да вы и сами об этом очень хорошо знаете.

«Но лицо Бомарше сохраняло полнейшую невозмутимость».

— Неужто ошибся? — насмешливо продолжал Фуше. — А мне казалось, вы замечательно осведомлены об этом побеге.

— Я видел Казота всего однажды, — равнодушно сказал Бомарше, — на том вечере в салоне мосье Водрейля, о котором вы заговорили.

— После которого вы и приказали вырыть потайной ход. Мне очень хотелось бы услышать об этом вечере именно от вас.

— Это и есть цель вашего прихода?

— Цель впереди. А это назовем вступлением. Прежде чем я начну задавать вам главные вопросы... Итак?

— Это случилось, — начал Бомарше, — думаю, то ли в конце тысяча семьсот восемьдесят седьмого года... то ли раньше. Года сливаются.

— С удовольствием помогу: двенадцатого декабря тысяча семьсот восемьдесят шестого года.

Бомарше развел руками, показывая, как восхищен знаниями гражданина Фуше.

— Простите, прервал вас... Я весь внимание. Итак, двенадцатого декабря тысяча семьсот восемьдесят шестого года...

— В тот вечер у мосье Водрейля собралось многочисленное общество. Несколько философов, несколько прекрасных и при том, как ни печально, умных дам. Среди приглашенных были люди самых разных чинов и званий — придворные, судейские, литераторы, академики, короче, Разум королевства. Превосходно пообедали; мальвазия и капские вина постепенно развязали языки, и к десерту наша веселая застольная беседа приняла такой вольный характер, что временами даже начинала переходить границы благовоспитанности. В ту пору в свете ради острого словца уже позволяли себе говорить решительно все. Кто-то рассказал малопрстойные анекдоты, и дамы слушали их безо всякого смущения, не считая нужным даже закрываться веером. Затем послышались насмешки над религией. Кто-то привел строфу из вольтеровой «Девственницы», другой — философские стихи Дидро: «Кишкой последнего попа последнего царя удавим». Кто-то встал и, подняв бокал, громогласно заявил: «Да, да, господа, я так же твердо убежден в том, что Бога нет, как и в том, что Гомер был глупцом». И он в самом деле был убежден в этом. Тут все принялись толковать о Боге и о Гомере; впрочем, нашлись среди присутствующих и такие, которые сказали доброе слово о том и о другом.

— Это были...

— Да, я... Постепенно беседа приняла более серьезный характер. Кто-то выразил восхищение истинной революцией, которую произвел в умах Вольтер. Превозносились и остальные философы.

— И также ваш Фигаро, как сказано в досье. Он был тогда у всех на устах, ибо «готовил великое дело освобождения умов»... И подготовил.

Но Бомарше был невозмутим. Опять пропустил колкость. И продолжал:

— Все сошлись на том, что суеверию и фанатизму неизбежно придет конец, что место их займет философия, что революция не за горами. Уже принялись высчитывать, как скоро она может наступить, и кому из присутствующих доведется увидеть желанное царство Разума собственными глазами. Люди преклонных лет сетовали, что им до этого не дожить. И тогда Казот... он угрюмо молчал весь вечер... вдруг сказал: «Можете радоваться, господа, вы все увидите эту великую революцию, о которой так мечтаете. Я ведь немного предсказатель, и вот я говорю вам: вы ее увидите. Но знаете ли вы, что произойдет после революции со всеми... точнее, почти со всеми здесь сидящими? И, главное, что будет ее итогом, логическим следствием, естественным выводом?» Здесь он вдруг замолчал. И тогда маркиз де Кондорсе презрительно улыбнулся: «Ну что же вы остановились? Философу интересно выслушать прорицателя...» Но Казот все колебался. И, наконец, не без усилия, начал: «Вы, господин де Кондорсе, закончите свою жизнь на каменном полу темницы. Вы умрете от яда, который, как и многие другие в столь ожидаемые «счастливые времена», вынуждены будете постоянно носить с собой. Вы примете его, чтобы избежать руки палача...» В первую минуту все онемели от изумления, но тотчас же вспомнили, что добрейший Казот славился своими странными выходками, и стали смеяться. Помню, особенно громко хохотал Кондорсе, которому через пять лет в дни террора суждено будет принять яд в тюрьме!.. Но Казот перекрыл общий смех и продолжал: «Это, кстати, случится в царстве Разума... В честь Разума в те дни будет воздвигнут особый храм... Более того, во всей Франции не будет других храмов, кроме храмов Разума... И вот во имя Разума, во имя философии, человечности, свободы начнется повальное убийство... И вы, улыбающийся господин Мальзерб, и все здесь сидящие и так весело хохочущие... — Здесь он остановился и опять поправился: — Нет, почти все, кончите свою жизнь на эшафоте. И самое удивительное, вас убьют не завоеватели, не нашествие турок или татар. Люди, которые отправят вас на смерть, будут такие же поклонники философии, и они будут произносить те же слова, которые произносите здесь вы... и они будут повторять те же мысли о Разуме, и будут цитировать те же стихи из «Девственницы», из Дидро, и при этом убивать, бесчисленно убивать».

Тут все перестали смеяться. Смех застрял в горле — тон его завораживал. Потом послышались голоса: «Он сумасшедший!.. Да нет, он просто шутит! В его шутках всегда есть нечто загадочное». Помню, герцогиня де Грамон не выдержала, сказала как-то просительно: «Но мы, женщины, счастливее вас, мужчин, к политике мы непричастны, ни за что не отвечаем, потому что наш пол...»

«Ваш пол, сударыня, — резко прервал ее Казот, — не сможет на этот раз послужить вам защитой. И как бы мало ни были вы причастны к политике, вас, герцогиня, постигнет участь мужчин». Здесь не выдержал уже Мальзерб: «Да послушайте, господин Казот, что это вы такое проповедуете, что же это будет? Конец света, что ли?» «Этого я не знаю. Знаю одно: герцогиню со связанными за спиной руками повезут на эшафот. И вместе с нею в тот день будете также и вы, господин Мальзерб... и тоже с руками за спиной... И вы... и вы, — он указал еще на двух дам, — будете с ними».

«А как же мы все поместимся в одной карете?» — Бедная герцогиня все пыталась обратить слова Казота в шутку.

«Карета? Ну что вы! — как-то монотонно ответил Казот. — Никакой кареты, сударыня. Тюремная повозка повезет вас всех на смерть. Впрочем, и более высокопоставленные дамы поедут на эшафот в такой же позорной, грязной тюремной телеге с руками, связанными за спиной».

«Более высокопоставленные? Уж не принцессы ли крови?» — иронически спросила герцогиня, но голос ее дрожал.

«И более высокопоставленные...»

Помню, как он стал бледен, произнеся это.

Среди гостей произошло замешательство, лицо хозяина помрачнело. А госпожа де Грамон, все желая рассеять тягостное впечатление, шутливо-капризно заметила: «Боюсь, суровый прорицатель не оставит нам даже духовника».

«Вы правы, сударыня, у вас не будет духовника, как и у других. Последний казенный, которому в виде величайшей милости даровано будет право исповеди...» — Он замолчал. И тогда не выдержал я и спросил: «Ну договаривайте, кто же этот счастливый смертный?» Помню, как исказилось его лицо, и он сказал хрипло: «Король Франции».

И тогда хозяин дома вскочил со своего места. Он подошел к Казоту и взволнованно сказал: «Дорогой Казот, довольно, прошу вас! Вы слишком далеко зашли в этой мрачной шутке и рискуете поставить в опасное положение и общество и самого себя».

Казот ничего не ответил и молча поднялся, чтобы уйти. Но его остановила все та же госпожа де Грамон, которая по-прежнему отважно старалась обратить все в шутку и вернуть всем хорошее настроение.

«Господин мрачный пророк, — сказала она, — вы тут нам всем предсказывали всякие ужасы, что ж вы ничего не сказали о самом себе? Что ждет вас?»

Некоторое время Казот молчал, стоя в дверях залы. Потом сказал: «Я могу ответить только словами Иосифа Флавия, описывающего осаду Иерусалима: «Горе Сиону! Горе и мне!» Я вижу себя на том же эшафоте».

Сказав это, Казот учтиво поклонился и вышел из комнаты.

— Bravo! Вот что значит гений Театра! Живая вышла сцена. Но насчет всеобщего ужаса — это не совсем так. В полицейском донесении об этом вечере есть забавная деталь, — сказал Фуше. — Это поведение одного из гостей. Когда все в ужасе внимали Казоту, он единственный...

— Вы правы, я расхохотался. Меня восхитило чувство юмора у Господа — позволить людям основать атеистическое царство Разума, где тотчас исчезнет всякий Разум. Заставить палачей убивать друг друга. Правда, когда Казот все это предсказывал, я не очень верил. Но когда все начало осуществляться, меня утешала только одна фраза Казота... Когда он сказал: «Это произойдет со всеми», то остановился, посмотрел на меня и вдруг поправился: «Почти со всеми».

— Так вот причина, почему он в вас поверил. Он знал, что вы выживете!

«Бомарше с изумлением глядел на Фуше».

— Опять не понимаете? А я уже не первый раз намекаю. Таинственный господин, который с покойным Казотом и графом Ферзеном попытался устроить это несчастное бегство короля и его семьи из Парижа... это ведь вы, гражданин Бомарше!

«Бомарше предпочел усмехнуться и промолчать».

Фуше продолжал:

— Кстати... коли мы уж заговорили о графе Ферзене. Граф пересек границу Франции. Он скрывается у племянницы казненной герцогини де Грамон и близкой подруги мадам Жозефины...

— Я не очень осведомлен, кто такая эта Жозефина. Слишком много новых знаменитостей. Не успеваешь следить.

— Вы по-прежнему очень хорошо осведомлены — и о Жозефине, и о графе, и обо всем... Вы даже передали Жозефине письмо генералу с предложением купить ваш дом...

— Браво!

— Нет, вы верно оценили новый список действующих лиц. Вот почему недавно вы прославили в ужасающих стихах господина Талейрана. И не в лучших стихах — нынешнего мужа гражданки Жозефины, генерала Бонапарта. С которым вы почему-то упорно пытаетесь встретиться. Я подчеркнул бы слово «почему-то». Ибо я знаю — **почему**. Кстати, в разговоре с поэтом Коленом д'Арлевилем... это было третьего мая девяносто шестого года, накануне премьеры вашей пьесы «Преступная мать»... вы зря насмеялись над любовью Бонапарта к этой вашей пьесе. На мой вкус она и вправду не может сравниться ни с «Безумным днем...», ни с «Севильским цирюльником». Но в дух Фигаро — дух бунта. А Бонапарт, надо вам сказать, пришел этот дух усмирить... Впрочем, генерал неотступно занимает ваше воображение. Недавно про нашего неустрашимого генерала начали рассказывать забавный анекдот. Дескать, у Жозефины есть любимый мопс, про которого говорят, что он спит с ними. И Бонапарту приходится мириться в брачной постели с четвероногим «третьим»! Ха-ха,— засмеялся Фуше тонким смехом.— Он может выигрывать великие сражения, но отступает перед мопсом, когда дело идет о Жозефине.

— Забавно...

— Особенно, если знать, что этот анекдот... как и многие новые анекдоты... сочинил Бомарше... Он рассказал его впервые шестого июня тысяча семьсот девяносто восьмого года.

— Ну, ну... Бомарше не сочиняет так скучно. «Однажды Бонапарт сказал своему генералу: «Видите этого господина? — Он указал на канапе, где сидел мопс.— Это маленькое чудовище — мой удачливый соперник. Когда я женился, то узнал, что это он истинный хозяин постели мадам. И когда я захотел его прогнать, мне сказали: «Надо выбирать: или тебе спать где-нибудь, или делить с ним мою постель». Я вынужден был уступить. Но эта тварь менее сговорчива». И Бонапарт показал генералу шрам на ноге».

— Браво. Правда, должен сообщить, что Бонапарт не так покладист, как в вашем анекдоте. Не так давно он тайно заплатил садовнику, пес которого загрыз несчастного мопса. Впрочем, неугомонная завела нового. Да, он ее боготворит. И новый мопс тоже. И тем не менее, несмотря на положение Жозефины, мне тотчас удалось узнать о приезде графа.

Здесь Бомарше хотел расхохотаться, но веселье не выходило сегодня, и он лишь брезгливо поморщился.

— Несмотря на мое отшельничество, которое вы не захотели признать, даже я знаю, что гражданин Фуше оплачивает огромные счета, которые тратит эта очаровательная мотовка гражданка Бонапарт.

— Принято! Польщен! — обрадовался Фуше.— Да, в мотовстве обе королевы наши похожи. И прежняя, и будущая. Да, воистину Жозефина не избегает сообщать мне новости. Но о графе я узнал помимо нее.— Улыбка на лице гражданина Фуше стала ослепительной.— Бонапарт сейчас находится в

Египте. Местные безумцы считают, что он там застрял. А я уже начал готовиться к его приезду. И вот я узнаю, что супруги ищут гнездышко. Как и вы, девятнадцатого января предложивший генералу купить ваш дом, я тоже решил ему помочь. Но нетерпеливая мадам в прошлом месяце сама купила небольшое имение Мальмезон под Парижем. Это жалкое имение и есть все, на что способно ее воображение. После чего она начала его обставлять. Я предложил отвезти ее в Трианон и показать ей мебель, сделанную по заказу Марии Антуанетты. Она выслушала меня равнодушно и не поехала. И вдруг третьего дня сама заговорила о мебели Марии Антуанетты. Она попросила узнать, правда ли вы купили стулья королевы на аукционе. Этот внезапный интерес креолки к мебели Антуанетты, согласитесь, был подозрительным. Я сразу понял, что скорее всего таинственный *некто*, близко связанный с Жозефиной, интересуется этой мебелью. Так что уже вскоре мы выяснили про приезд графа Ферзена. Естественно, я поделился с мадам Жозефиной своим открытием и справедливым желанием немедленно арестовать графа. Но вся беда в том, что Жозефина не желает, чтоб мы его арестовывали. А мы с каждым днем все внимательней прислушиваемся к ее желаниям. Как видите, я играю с открытыми картами. Кстати, забавная подробность... просматривая материалы Комитета общественной безопасности, я нашел в них письма, изъятые революцией у покойной королевы. По почерку мы установили их авторство. Это был ее любовник, все тот же граф Ферзен. И знаете, как он называл для конспирации Антуанетту? Жозефина! История улыбается!

Здесь гражданин Фуше издал несколько отрывистых звуков, напоминавших лай, но являвшихся смехом, и затем кивнул на два крошечных стула у стены. Сквозь грязь и пятна на них была различима золотая вышивка — сатир и нимфы, резвившиеся на лугу.

— Как я понимаю, это они и есть?

Бомарше улыбнулся:

— Да, последний вздох рококо. На свою беду они были светлые. Посмотрите, как нежна сохранившаяся позолота, как все тонко покрыто дорогим белым лаком, и обратите внимание на изящные ножки в виде колонн с желобком... И каков гобелен! Это, конечно же, изготовлено на мануфактуре Обюссона по рисунку Буше. Местный крестьянин украл гарнитур в революцию. Стулья стояли у него в хлеву. Круглым столиком с бронзовыми женскими головками он как-то зимой истопил печь... Эту мебель Людовик Пятнадцатый заказал для мадам Помпадур. В Трианоне был очаровательный кабинет. Там Людовик Любимый, кажется, так его звали...

— Вам лучше знать, гражданин Бомарше. Вы ведь с ним виделись?

— Принимал возлюбленных, — будто не слыша, продолжал Бомарше. — Он нажимал на педаль, из-под пола поднимался тот самый крохотный столик, сервированный на золоте на двоих...

— Поднимался под звуки менуэта. Вы должны помнить. Ведь именно там был ваш ужин с королевой, совершенно справедливо казненной нашим народом. И вы тогда сидели на этих креслах.

— Именно так, гражданин Фуше. Они не только изящны, они удобны, овальная спинка... Удобно было сидеть.

— Впрочем, граф Ферзен должен их помнить еще лучше. Он не раз ужинал с нею в этом кабинете. И оттого, по донесению, совершенно обезумел от гнева, когда узнал, что мебель королевы продавалась на аукционе... причем особенно бесновался, когда узнал, что купили вы... Его первый визит к вам я ожидаю уже сегодня. Только не делайте вид, что изумлены. Он предупредил вас вчера письмом. Его принес слуга его любовницы к вам в тринадцать пополудни. Но я уверен, что дело не в мебели. По моим источникам, на этот раз вы будете играть со смертью. Граф отчего-то помешан на мести вам. Он живет этим... а человек он отчаянный. Так что я предлагаю на это время оставить вашего слугу у нас. А вместо него поселить у вас надежного человека, который сумеет вас защитить...

— Я предпочту своего слугу. Меня пытались убить, и не один раз. Я знаю, как себя защитить.

— Да, да и вы тоже что-то задумали. Во всяком случае, вчера ваш слуга отнес записку некоему маркизу де Саду, проживающему... точнее, ютящемуся ныне у своей сожительницы на чердаке. Вы не хотите поделиться со мной?

Бомарше молчал.

— Ну что ж. Будем догадываться сами... А стулья и впрямь хороши. Неужели вы собираетесь восстановить прежнее величие вашего дома? Оттого купили стулья?

— Ну что вы. И тогда это стоило мне... я залез в такие долги... а сейчас и думать невозможно.

— И тем не менее вы пытаетесь. Вы попросили денег у американцев.

— Я попросил вернуть долг. Всего лишь. Но это самый скупой народ в мире. Я помогал им. Сделал все, чтобы наш последний король поддержал их... На свои средства я отправил в Америку корабли, мортиры и боеприпасы... Америка задолжала мне два миллиона без малого.

— Миллион девятьсот восемьдесят три тысячи в золоте,— уточнил гражданин Фуше.

— Что толку! — Бомарше не оценил знаний новоиспеченного министра, он был в ярости.— И теперь, когда они получили независимость, после всех побед, я с уверенностью думал: Америка со мной рассчитается!

— Как странно. Прежде Бомарше умел выгодно вкладывать деньги.

— Что ж, и тут я первым сообразил... Поверьте, это будет очень богатая страна.

— Но пока ничего. Ни гроша.

— Я пытаюсь усовестить этих людей.

— Вы, с вашим умом, всерьез призываете отдать деньги нищему Бомарше? Неужели вы забыли, что деньги отдают только богатым. Я говорю о вашем «Послании американскому народу».

— Да, глупец,— несколько сконфуженно сказал Бомарше,— отправил, отправил послание...

— Шестнадцатого апреля в два часа дня, если быть точным. Полиция узнала тогда же... «Американцы, я не получил от вас ни гроша при жизни и умираю вашим кредитором. Я завещаю вам в наследство мою дочь, чтобы вы дали ей в приданое то, что вы должны мне. Подайте же милостыню Вашему Другу». Тон, на мой вкус, несколько не ваш. Но не в этом дело. Меня очень взволновали слова: «Я умираю». Не скрою, в какой-то мере они и послужили причиной моего прихода.

— Я умираю.— Бомарше засмеялся.— Это образ. Всего лишь.

— Я стараюсь думать именно так. Но учитывая *сегодняшний* приход графа Ферзена... и зная мстительные намерения графа, я взволнован... Вам никак не следует умирать сегодня.

— Мне очень нравится ваше пожелание.

— И вообще не следует умирать до нашего соглашения. Позвольте вновь обратиться к цели посещения. Поверьте, несмотря на всяческое преклонение перед вами, я не смею ограничить вашу свободу и запрещать вам распорядиться... пусть даже легкомысленно, собственной жизнью. Но если...

Фуше замолчал.

Молчал и Бомарше. Он уже понял.

— Если,— продолжал Фуше,— не дай Бог, граф Ферзен окажется куда опаснее, чем вы предполагаете, и уже сегодня вы расстанетесь с нашим столь несовершенным миром, то смею ли я попросить вас...

Он опять остановился, показывая нерешительность.

— Мужайтесь, гражданин Фуше, будьте бесстрашны, как...— Бомарше засмеялся.— Не знаю, как лучше сказать — «как всегда» или «как никогда»?

Гражданин Фуше был глух к издевкам. Он продолжил:

— Республика и лично я, мы будем безмерно вам благодарны, коли вы не сочтете за труд и составите некоторое завещание. Речь идет о вашем архиве, о документах, находящихся в вашем владении. Как следует из вашего досье, вы были секретным агентом Людовика Пятнадцатого и продолжали этим заниматься при казненном нацией Людовике Шестнадцатом... Головоломные интриги, к которым Бомарше был причастен, конечно же, меня интересуют... Но сейчас мне особенно интересны документы об **одном гражданине**, которым я просто обязан особенно интересоваться, вступая в должность руководителя полиции.

Здесь Фуше сделал значительную паузу, но лицо Бомарше оставалось безмятежным. И Фуше продолжил:

— Как вы уже поняли, я говорю о том гражданине, с которым вы встретились уже после революции... во время побега королевской семьи.

«На лице гражданина Бомарше отразилось совершеннейшее недоумение». Фуше улыбнулся.

— Вы хотите сказать, что попросту не понимаете, о чем и главное *о ком* я говорю?

— Именно, именно, гражданин. И у меня нет никаких особенных бумаг, которые могли быть полезны республике.

Гражданин Фуше сочувственно вздохнул и открыл свой кожаный, весьма истертый портфель, успев сообщить при этом:

— Это и есть все наследство, полученное мною от покойного отца.

После чего из отцовского портфеля на свет Божий появился лист бумаги, каковой Фуше и передал гражданину Бомарше.

— Это подробная опись ваших бумаг, которые меня особенно интересуют. Признаюсь, опись составлена со слов вашего умершего любимого слуги Фигаро... Это забавно, что всех своих слуг вы зовете Фигаро. Я знаю, как вы ценили того очередного Фигаро. *Но и полиция — тоже.*

«И тут гражданину Бомарше решил стать намешливо-патетичным. Швырнув листок гражданину Фуше, он визгливо-скандално спросил, точнее, прокричал»:

— И сколько заплатили мерзавцу?! Хотелось бы знать, почем нынче тридцать сребреников?

— Ну что вы. Деньги тут совершенно ни при чем... Как, впрочем, и в случае тридцати сребреников, о которых вы упомянули. Я знаю, что вы очень интересовались этой темой и как-то даже беседовали об «иудиных сребрениках» с самим Вольтером. Это тысяча семьсот семьдесят шестой год... месяц и день у меня записаны... коли вам понадобится. Какая беседа! Пиршество остроумия. Два великих литератора пытались пооригинальнее придумать причину, по которой Иуда предал Христа. Оба обожателя парадоксов, конечно же, решили приписать Иуде самые возвышенные идеи. А все потому, что ввела в заблуждение жалкая сумма. И вы, и наш гений справедливо не поверили, что за такую нищую сумму один из ближайших к Христу учеников... да к тому же хранитель денежного ящика... мог предать своего учителя. И правы!.. Сребреники действительно были ни при чем. Я, как человек, много раз имевший отношения с иудами и сам иногда... поневоле... игравший сию роль, могу вам со всей определенностью это засвидетельствовать... Хотя никакой сложной истории там тоже нет. *Все на самом деле очень просто.* Иудой руководило чувство, подчиняющее смертных куда вернее, чем все сокровища мира. Это страх. Христос, читавший в сердцах, с самого начала знал силу человеческого страха. И оттого он знал, что даже верного Петра страх заставит отречься от Учителя. В главный миг отречься! И про Иуду знал: коли страх войдет в его сердце, он непременно выполнит предначертанное — предаст Учителя. Как, впрочем, бесчисленное множество людей и до Иуды и после. И все именно так и случилось. Когда Иуда понял, что со дня на день Синедрион заставит римлян схватить Христа, он попросту испугался. Испугался, что теперь наверняка схватят и учеников. И, зная законы и мстительный характер врагов Хри-

ста...— Тут Фуше перешел на шепот.— Короче, позорный крест, на котором распинали разбойников, перед Иудой замаячил. И от страха он сам поспешил, помчался предавать. Вот когда Синедрион понял, как жалки ученики без Учителя. Овцы без Пастыря. И оттого их тогда и не тронули. А в знак презрения швырнули Иуде милостыню — сребреники жалким числом тридцать за самого Господа Бога. Так что могу вас уверить, гражданин, Евангелие совершенно право! А все ваши с покойным Вольтером сложные идеи совершенно излишни. И слугой вашим, очередным жалким Иудой, управлял всего лишь Страх. Гильотина, как вы помните, в те дни работала неустанно. Именно тогда арестовали вас. Именно тогда и позвали на допрос вашего слугу. Который готов был предать не только список хранившихся бумаг, но самого их хозяина. Страх! Страх — владыка мира. Да что жалкий слуга. Ваш идол... и мой, кстати... Вольтер. Вы лучше меня знаете: самим Вольтером перед смертью владел банальный Страх. Он попросту испугался: вдруг Господь, над которым он столько потешался, существует! А «Вольтер живет в веках» — так вы его прославили... Вот этой жизни вечной в аду, «в веках», он и испугался... И решил исповедоваться перед смертью, объявил, что умирает верным католиком. И подписал просьбу о прощении к церкви. Правда, подписав, умирающий, как написал опять же в доносе его слуга, «вдруг подмигнул и прошептал очень явственно: «Но если даже там ничего нет, то эти жалкие три строчки не смогут отменить тысячи написанных мною страниц»... Донос об этом у нас остался. Пережил и Вольтера. Как и донос вашего слуги. Удивительная вещь — рукописи исчезают, даже государства исчезают, а доносы...

— Бессмертны, — сказал Бомарше, — какая банальность!

Фуше опять издал некое кудахтанье, означавшее смех.

— Однако вернемся к вашим бумагам. Тогда падение Робеспьера избавило вас от их конфискации. Так что, скажу откровенно, я не знаю, где вы теперь их прячете. Но уверен, вы познакомите меня с вашим богатством. Ибо со своей стороны я предоставляю в ваше распоряжение весьма любопытные документы. Это целая коллекция полицейских донесений... о вас! Целая «Жизнь гражданина Бомарше»...

— В доносах.

— Именно!

— Во скольких томах?

— Не обижу. Много, очень много. Причем не поймешь чего больше — донесений от агентов или от коллег-литераторов.

— Что делать, эпоха... Я всегда говорил, если когда-нибудь издадут воистину полные собрания сочинений наших писателей, самым объемистым у многих станет последний том. Тиснено золотом, «Письма и доносы»...

— И хронология впечатляет. Первые доносы относятся к времени вашей молодости. По распоряжению покойного короля Людовика Пятнадцатого, сразу после того, как вы, совсем молодой человек... вам было двадцать пять лет и три месяца... взялись учить сестер короля играть на арфе... за вами тайно начал следить агент господин Барро. А после того, как вы стали известным литератором, ваш хороший знакомец, шеф полиции господин де Сартин... видимо, глубоко ценил вас... и оттого назначил сразу троих следить за вами. В том числе одного вашего близкого друга... мне не хотелось бы разрушать ваши иллюзии... я его не назову... тем более что он был гильотинирован республикой в тысяча семьсот девяносто третьем году. «О покойниках только хорошее»... После падения короля, по личному предписанию... да, столь ценившего вас Дантона, за вами надзирал комиссар республики гражданин Напье с целой командой осведомителей...

— Напье?... Тот самый... — вдруг оживился Бомарше.

— Который был при казни Антуанетты... И хотя после революции количество осведомителей резко увеличилось, в девяносто четвертом году возникает некоторая печальная пустота в вашем деле. Что делать, Напье был гильотинирован вместе с помощниками... А Робеспьер уже никого вам не назначал, ибо предназначил вас самого для эшафота. Но потом и сам Робеспьер...

— Увы. Да и я вместо гильотины...

— Отправились за границу. И оттого некоторый печальный промежуток возник. Но теперь вот и я кого-нибудь вам назначу.

«Последнюю фразу Фуше произнес застенчиво».

Здесь Бомарше странно улыбнулся. И сказал:

— Вы думаете?.. Однако какая поучительная, какая горькая история...

— Именно, люди, о которых вы ничего не знали...

— Но которые все знали обо мне.

— Эти столь близкие к вам люди...

— Которые столько трудились и, безвестные, уходили из жизни. Даже не оплаканные мною... Что ж, вы уже говорили: люди смертны, но не доносы. «Ваша вечность» — так обращались к Цезарям. На вашем месте я так же обращался бы к стукачам.

— К доносителям. Но вернемся к содержанию богатого наследия, которое я от них получил. Эти донесения — воистину единственно правдивая, хотя и несколько тайная биография великого Бомарше. Я готов вкратце повествовать, чтобы вы могли сами судить о выгодах сделки, которую я предлагаю. Товар лицом.

— Точнее, задницей. Грязной задницей.

— Как легко с вами разговаривать. Видно сразу, что вы занимались успешно торговлей. Итак, начинаем сначала. У Андре Шарля Карона родился сын Пьер Огюстен. Пока еще — Карон.

«Что Бомарше кого-то отравил...»

— Кстати, отличное начало пьесы, — сказал Бомарше. — Занавес открывается — и долгие бьют часы. Ибо рождение Бомарше случилось ровно в пять часов. Во всех комнатах у отца-часовщика били друг за другом чуть отстающие друг от друга часы. Надеюсь, что хотя бы в это время за мной...

— Именно. Никто не следил.

— Неужели мочил пеленки в одиночестве без доносов? Как скучно.

— Ничего, маленький Карон скоро вырастет. Вы хотите добавить?

— Добавлю. В это время вместо осведомителей рядом с мальчиком был только его гений. Совсем юным он изобрел анкерный спуск, который позволил делать часы маленькими и плоскими. Что восхитило всех дам, обожавших носить часы. А, как известно, тогда Францией правили дамы. Но открытие у юноши, почти мальчика, попытались похитить. И кто? Лепот, первый часовщик Франции, член Академии.

— Видите, как плохо быть одному. А если бы рядом были мы? Король сразу получил бы от нас правдивую информацию. И вам не пришлось бы начинать жизнь с того, чтобы показывать миру воистину волчьи зубы. Биться в одиночку с уважаемым членом Академии.

— Согласен. Но, несмотря на неравные силы, безвестный юноша отбил свое изобретение. В двадцать лет я — первый часовщик Франции.

— Я даже думаю, когда вы рылись в часах, в этих маленьких колесиках, которые так хитро передают движение друг другу... вы и научились интригам. И тогда-то и придумал юный хитрец сделать крохотные часики для мадам Помпадур. И это был путь во дворец... где вас уже ждали наши люди... Могу сообщить вам число, когда вы объявили, что усовершенствовали арфу. Могу назвать точную дату, когда сестры короля захотели узнать, как звучит новый инструмент. И какого числа вы явились в Версаль сие продемонстрировать. Все зафиксировано. Теперь в вашей жизни наступил порядок... Кстати, все принцессы, начиная с мадемуазель Аделаиды, были очень нехороши. И появление такого опасного молодого человека... высок, тонок, хорош собой, блестящий собеседник... именно так вас описывает первое донесение. По этому доносу...

— Можно заказать правдивый портрет.

— Bravo! Вы начали понимать пользу доносов.

— Не скрою, увлечен.

— Короче, ваша внешность вызвала опасения... за сохранность королевских сестер. Я имею в виду девственность. Обеспокоенный король просил неотступно следить за уроками. И не ошибся. Согласно донесению номер шесть, страница двенадцать... уже на третьем уроке вы попытались соблазнить одну из перзрелых девиц.

— Я тогда сходил с ума от женщин. Возраст...

— Этот возраст у вас никогда не проходил.

Но Бомарше будто не слышал, грезил вслух:

— Сходил с ума от одного шелеста женского платья... От женской ножки. От запаха женщины. Полная Аделаида душилась... это был такой нежный аромат цветков на тонких стеблях... она хотела казаться эфирнее. Две другие, стройные и тощие, напротив, употребляли пряные возбуждающие духи — амбру и мускус. И звук моей арфы тонул в шлейфе их запахов. Я не выдержал. Был вечер. Мы были вдвоем с Аделаидой. Во время игры на клавесине наши руки соприкоснулись. Принцесса задрожала. Я схватил ее и поцеловал. И ответ на мой поцелуй был самый прилежный. Но прическа! Я был неопытен. Эти огромные прически. У нее, помню, была в виде сада с живыми цветами... она требовала многих часов работы! Великое тогдашнее правило — «женщина может простить вам все, кроме испорченной прически!». При страстном поцелуе я разрушил это чудо искусства! Проклятье!

— Вот тут начинаются разночтения. Здесь ваша приятная версия уступает неприятному языку правды. Ибо вступают в права...

— Доносы! — засмеялся Бомарше.

— Беспристрастие доносов, гражданин. Увы! Ответом на ваш поцелуй была звонкая пощечина. Она отпрянула с «брезгливостью», как пишет в своем отчете Барро. Вот так, мой друг, воспитываются революционеры. Я думаю, тут в первый раз в вас проснулась ярость Фигаро. Я думаю, тут вы окончательно усвоили, что без титула не обойтись в этом мире. И я вас понимаю. Ибо и в моей жизни... Короче, думаю, именно тогда вы решаете изменить свою жизнь. Во всяком случае, именно так интерпретировало донесение странную смерть вашей первой жены. Ведь в то время, когда наш юный герой соблазнял сестру короля, он уже был женат.

— Был женат, — как эхо повторил Бомарше.

— Причем интереснейшая история случилась. Во всяком случае, для полиции. Двадцатитрехлетний Карон знакомится с тридцатилетней женщиной по имени Мадлена Катрин Франке. И тотчас вступает с ней в связь. И вскоре ее муж... после уговоров жены продает вам за мизерную сумму свою должность контролера королевской трапезы. Сын часовщика сделал первый шаг к дворянству. Теперь в дни официальных торжеств вы при шпаге шествуете с блюдом жаркого к королевскому столу. И даже впереди блюда с говядиной. Пока ничего необычного... Но далее события становятся очень подозрительными. Расставшись с патентом, мосье Франке поразительно быстро расстается с жизнью. Он тотчас умирает. Уступив вам не только должность, но и свою жену. После чего вы женитесь на даме, которая должна была казаться вам старухой. Но и года не прошло, как уже она отправляется на тот свет вслед за муженьком. Оставив вам поместье с названием Бомарше. Которое вы гордо делаете своей новой фамилией. Так исчез простолюдин Карон и появился **де Бомарше!** Владелец поместья и дворянской приставки «де»... Согласитесь, что многочисленные доносы родственников вашей жены, будто вы ее отравили... Они в вашем досье... И не выглядят неправдоподобно.

— Я доказал, и не раз, гражданин, что это клевета.

— Но эта история очень странно повторится и со второй женой. Госпожа Левек была опять старше вас... вы ее тоже соблазните... у нее тоже старый муж. Который опять же стремительно умирает. Вы женитесь на ней. После чего че-

рез полтора года она отправляется вслед за мужем на тот свет. И опять доносы об отравлении. Как мы все это назовем?

— Пьесой о Бомарше, сочиненной стукачами.

— Что ж, перейдем к следующей теме. К мечте о дворянстве. Автор Фигаро, насмеявшийся над дворянством, всю жизнь постыдно стремится стать... дворянином!

— Только богатые могут по настоящему презирать деньги. Только родовитые — титулы. Однажды мне попалось сочинение глупца. Он писал: «Мосье Х был богат и честен». Я тотчас исправил: «Когда мосье Х стал богат, он стал честен». Только бедный и безродный, всю жизнь смеющийся над богатством, так жаждет титулов и собирает богатство!

— И вы добились вожделенного. Но как? Если верить донесениям — ответ будет однозначный: все так же... Донос сообщает, что у вас появился неожиданный благодетель. Знаменитый богач, тайный олигарх, господин Пари Дюверне. Он вдруг принял подозрительно пылкое участие в судьбе молодого Бомарше. За очень серьезные деньги купил ему патент королевского секретаря. «Мыльце для мужланов» — так назывались тогда купленные должности, дававшие право на дворянство. И чтобы молодой «мужлан» окончательно отмылся, старик выкупил вам звание «судьи в королевских угодах». Это благодеяние стоило Дюверне целое состояние — пятьдесят пять тысяч франков! Ужас! Теперь часовщик и музыкант Бомарше стал дворянином и сановником, у него в подчинении граф Марковиль, граф Рошешуар... И прочие. Но почему старик это сделал? Кто разъяснит это потомкам?

— Конечно, доносы.

— Юмор тут некстати. «Как здоровье, дорогая крошка? Мы так давно уже не обнимались. Потешные мы любовники, не смеем встречаться, опасаясь гримасы, которую скорчат родственники. Но это не мешает нам любить друг друга». Забавно пишет Бомарше. Если учесть, что «крошке Дюверне» под восемьдесят. Немудрено, что от таких пылких развлечений старичок вскоре скончался. Еще один труп. И опять часть наследства досталась все тому же постоянному наследнику мертвых — Бомарше. Но жадные родственники объявили завещание старика поддельным. Процесс. И вот тут вас подвел талант. Новоиспеченный господин де Бомарше в блестящих памфлетах, которые, уверен, войдут в историю французской литературы, а тогда вошли в досье министерства полиции...

— Что не менее долговечно, как мы выяснили.

— Вы хотите что-нибудь сказать?

— Нет, нет, продолжайте. Bravo! Публика просит продолжать пьесу.

— Вы так лихо атаковали королевский суд этими памфлетами, что судьи не стерпели остроумия гения. И вас осудили. И присудили к публичному шельмованию. Вы стали гражданским мертвецом, вам нельзя занимать должности, вести серьезные дела, даже ставить свои пьесы. А вам уже было за сорок...

— Надеюсь, в доносах отмечено, что, когда королевский суд лишил меня всех прав, кроме права умереть с голода, вся нация упивалась, корчилась от смеха, читая мои памфлеты. Богатые раскрывали мне кошельки, горячие головы строчили стихи в мою честь, а я был приговорен выслушать на коленях приговор идиотов.

— Но если бы нация знала, что придумал ее любимец, чтобы вернуть свои права. Нация не знает до сих пор, но знают доносы. Беспристрастные и бесстрастные. Вы явились к Людовику Пятнадцатому и предложили ему стать его тайным агентом. Причем по весьма сомнительным делам. Старик, как помним, обожал маленьких девочек. И в Оленьем парке, именовавшемся «меню удовольствий», стояли милые домики с девочками. Парк давно стал обширным детским домом терпимости. О чем справедливо судачила вся Европа, награждая Францию памфлетами. И, наконец, апофеоз: появление графини Дюбарри, боевое прошлое графини — история проститутки, попавшей в королевскую постель... Европейские памфлеты буквально захлестнули Париж. И вот Бомарше предла-

гает королю стать охотником за этими памфлетами. Выкупать их, платить авторам за будущее молчание... Вам также поручают узнать, кто в Париже информирует авторов памфлетов...

И тут Бомарше впервые стал страстен:

— Здесь лжете! Я отказался сделать это, я даже накричал!

— Я вам верю, конечно же, верю. И разделяю ваше негодование, но... Но в деле есть только сообщение о предложении литератору Бомарше стать доносчиком короля... И все! Но вернемся к первому королевскому поручению... Бомарше блестяще справился. Но никакой награды не получил... Судьба смеется над ним. Ибо, когда он возвращается в Париж, король, пославший его, увы... почил.

— К ударам судьбы, гражданин Фуше, следует относиться философски. Всегда считайте, что это плата за предыдущие ее подарки. Я расхотелся и возблагодарил Бога за то, что остался жив...

— И действительно, как тут было не расхотаться,— прервал Фуше.— Ибо в это время великий насмешник и автор Фигаро узнает, что новый Альмавива, то бишь новый король, попал в ситуацию, куда более пикантную, чем его предшественники. И просто созданную для памфлетов. Бедная Антуанетта даже пожаловалась матери на эту ситуацию. И оттого во Францию тотчас был послан брат королевы Иосиф. Поговорив с сестрой, он написал письмо матери... Письмо было секретное и, естественно, было тотчас перлюстрировано полицией. И передано королю. В королевском архиве я его и прочел... Цитирую на память, но, поверьте, точно: «Поведение короля в супружеской постели своеобразно: он вводит в сестру крайнюю плоть и остается там примерно пару минут совершенно неподвижно, затем выходит... И, оставаясь в состоянии эрекции... желает супруге спокойной ночи и удаляется... Моя сестра, бедная сестра, естественно, при этом ничего не испытывает... Таков сейчас этот печальный и неопытный дуэт...» Прелесть ситуации была в том, что это же письмо оказалось в донесениях всех послов при французском дворе. Какая прелестная эпоха, когда весь мир занимался проблемами королевского члена...

— Что делать, именно с ним было связано будущее Франции... Ведь это был вопрос о наследнике главного трона Европы. Бедный король был невероятно застенчив и так и не объяснил ни жене, ни Иосифу причины «печального дуэта»... У него была проблема... сросшаяся крайняя плоть. Она причиняла ему нестерпимую боль при... движении внутрь, и оттого, говоря языком галантного века, загнав стрелу в колчан, он оставался неподвижен... Нужна была маленькая операция, но он ее... нет, не боялся... стеснялся. В продолжении семи лет несчастная была, как на плахе, на королевской кровати... В это время в Версаль, как бабочки на огонь, слетелись все великие донжуаны: принц Лозен, граф д'Артуа, младший брат короля, и так далее... А ее паж граф Тилли, красавчик, с мальчишеского возраста шаставший по постелям фрейлин... Это была жизнь на острие ножа. Галантные выпады, бесконечные попытки соблазнить, публичная охота за девственностью королевы... Она выходит, чтобы сесть в карету... И принц Лозен уже во дворе, уже ждет. Моментально падает на землю и становится галантной ступенькой, по которой королева шагает в карету. И он не забывает мимолетно коснуться ее ноги... Иногда она не выдерживала. И тот же Лозен преспокойно рассказывал в моем присутствии, как однажды она вдруг бросилась к нему, сама обняла и, разрыдавшись, оттолкнула, убежала...

— И, наконец, граф Ферзен...

— Семь лет пустого ложа, семь лет постыдного девства, пока несчастный согласился на операцию. Семь лет памфлетов,— продолжал Бомарше.

— Семь лет, два месяца и три дня,— с готовностью поправил Фуше.

— Прибавьте, семь лет, два месяца и три дня, затрагивающих честь Нации. Ибо наша гордость прежде всего под одеялом. Француз — соблазнитель. И первым соблазнителем обязан быть и всегда был наш король. И вот после королей, гигантов любви, чьи победы в кровати наполняли гордостью народные сердца,

появился король, который *не мог!* Этого унижения французы перенести не могли! Я уверен, что с этого момента и началась революционная ситуация во Франции... Ибо десятки памфлетов, созданных за границей, буквально наводнили Францию. Нет, я жалел их... ее и бедного Людовика...

Бомарше вновь услышал странный клекот, обозначивший смех гражданина Фуше.

— Да, да, вы настолько жалели их, что уже вскоре, как сообщают...

— Все те же доносчики... — подхватил Бомарше.

— Те же? Никак нет, гражданин. Доносчики, как уже говорилось, были самые разные. И сообщают они, что уже вскоре по возвращении Бомарше явился к новому королю и поведал монарху, что за границей объявился некий ужасный пасквильант по имени Анжелучи, который готовится издать пасквиль, где описаны все злосчастные тайны королевской постели... Вы даже прочли бедняге выдержки из этого, прямо скажем, остроумнейшего пасквиля... Они остались в доносе.

Здесь Фуше опять остановился.

— Продолжайте, продолжайте...

«Засмеялся Бомарше, уже понявший, что приготовил мерзавец в конце рассказа».

— Бедный король был в ужасе от злобного остроумия. Но особенно он был, думаю, поражен, когда понял, что в памфлете цитируется то самое злосчастное письмо брата королевы... Король не знал, что его собственная полиция, перлюстрировавшая письмо, торговала им... Что делать, и за полицией надо тоже следить... Но вы предлагаете несчастному королю выкупить пасквиль у мерзавца Анжелучи. Более того, беретесь деньгами навсегда заткнуть рот этому весьма остроумному и оттого такому опасному автору. Король в восторге от явившегося избавителя. И вы отправляетесь в погоню за ужасным Анжелучи... Дальше в архиве полиции уже ваши донесения. В отличие от наших скучных доносов ваши — целый роман. Это красочные описания, как мерзавец Анжелучи, забрав деньги, обманывает вас, но вы бесстрашно и упорно преследуете негодяя. В лесу нападают на вас разбойники, неравная битва, но вы — бесстрашный победитель! И вот уже коварный Анжелучи настигнут, пасквиль захвачен, и нужное обещание от автора получено. С этими свершениями, измученный подвигами, вы пребываете к Венскому двору. И повествуете славной матери Антуанетты о своих победах во имя ее дочери. После чего императрица Мария Терезия приказывает немедленно посадить вас в тюрьму! Оказывается, во время вашего красочного рассказа умной императрице и ее разумному канцлеру показалось, что они попросту... слушали очередную пьесу господина Бомарше с весьма искусной интригой. А в скучной реальности действовал всего один персонаж — сам господин Бомарше. Он был и зловецкий Анжелучи, автор злобного памфлета, и избавитель от этой напасти. Так что прямолинейный канцлер Кауниц объявил: «Клянусь, этот пройдоха Бомарше сочинил и пасквиль, и все остальное». Поэтому целый месяц нашему герою приходится отдыхать в австрийской тюрьме, откуда его освобождает простодушный Людовик Шестнадцатый. Который в обвинения не поверил, интрига показалась ему слишком изощренной. Он еще не познакомился с «Женитьбой Фигаро», эта пьеса еще не была написана. А жаль... В «Женитьбе» есть прелюбопытнейшее определение Фигаро: «Интрига и деньги — вот твоя стихия». Вам интересно?

— Продолжайте, продолжайте...

— А потом вам вернули гражданские права. И вскоре в Париже кто-то начал распространять только что написанную «Женитьбу Фигаро». Говорили, что это делает враг короля принц Орлеанский. Вы хотите что-нибудь прибавить?

— К доносам?

— Или возразить?

— Ну разве что самую мелочь. Надо сказать, что все это время герой доносов писал еще и пьесы. Весьма недурные. И уже первая, «Евгения», обошла весь мир.

— Ничто не забыто, гражданин Бомарше. Есть целая папка, где наши защитники нравственности рвут и мечут по поводу этой пьесы. «Где это вы видели у нас знатных распутников?» — писали королю знатные распутники. «Почему у вас молодая особа беременна прежде замужества?» — ужасались дамы, уставшие считать своих любовников. Вы не устали отбиваться.

— Нет, я решил, что был слишком трагичен в этой пьесе. Я подумал, что с французами не стоит говорить так серьезно. И тогда я вернул забытый смех на подмостки. Я написал комедию. И что началось! Выяснилось, что в веселом «Севильском цирюльнике» я умудрился обидеть сразу правительство, религию, старину, не говоря уже о нравственности. Три раза снимали с репертуара, четырежды проходила цензуру, обсуждали даже в парламенте... обыкновенную комедию!

— Вы ошиблись — гениальную комедию.

Но Бомарше не слышал лести, его несло. Он вспоминал обиды:

— Когда я написал «Женитьбу Фигаро», то пять лет хранил ее в письменном столе, чтобы не иметь неприятностей. После того, как решился, четыре года борьбы. Оказывается, опять умудрился оскорбить всех сразу. Начали с заглавия! «Безумный день», оказывается, был намеком на жизнь нации! Нет, чтобы здесь писать, нужен возраст черепахи!

— Но ведь намек был!

— И как я смел писать о воровстве вельмож! «Иметь и брать, и требовать еще — вот формула из трех правил», — писал я. «Все вокруг воруют, и от тебя одного требуют честности», — жаловался мой Фигаро.

— Зато после революции, став сам сильным мира сего, ваш Фигаро...

— Что делать: я только потом понял — жаднее богатых только бедные. Так что вы правы, воровство при короле — это детский лепет, если сравнить с воровством революционеров. Впрочем, и сам гражданин Фуше может это замечательно подтвердить. Тот самый гражданин Фуше, который когда-то писал: «Краюха хлеба и ружье — вот и все достоиние, которое должно быть у истинного республиканца». О состоянии которого нынче ходят легенды!

— Вот видите, как вы заблуждались, — улыбнулся гражданин Фуше. — Но еще больше вы ошиблись, когда требовали свободы слова. С каким пафосом вся Франция повторяла слова вашего Фигаро: «Где нет свободы критиковать, не может быть приятна никакая похвала! Только мелкие людишки боятся мелких статей». И вот вы получили сейчас свободу говорить. Царство свободы слова наступило. Говорить у нас можно все. Только кто слушает? Разве возможно увидеть ту толпу, которая была когда-то перед театром, где показывали вашу запрещенную пьесу? Театр теперь всего лишь театр. А был великой свободой, свободой в темноте зала. Когда любой намек звучал, как набат, рождал шквал аплодисментов. И ваши слова разносились по всей Франции. До сих пор помню, как я, жалкий учитель латыни и математики в монастыре, в убогой сутане с тонзурой на голове, шептал слова Фигаро, сидя в своей келье. Я был смертельно обижен тогда. К настоятелю приехал его родственник, герцог Дю Шатле, посмеявшийся обращаться со мной, как со слугой. Помню, как я ходил по келье и грозно цитировал слова Фигаро: «Вы дали себе труд родиться, только и всего... я же ради одного только пропитания вынужден выказывать такую находчивость, какая в течение целого века не потребовалась бы для управления, к примеру, Испанией».

— Догадываюсь о судьбе несчастного герцога, — усмехнулся Бомарше.

— В девяносто втором я отправил его на гильотину. Так что король был проницателен, когда сказал: «Если быть последовательным, то, допустив постановку «Женитьбы Фигаро», надо разрушить Бастилию». Кстати, в досье осталась ваша гордая фраза после запрещения королем пьесы: «А я поставлю эту пьесу! Поставлю хоть в Нотр-Даме!»

— Но я сказал это наедине.

— Да, любовнице, а она уже... за небольшие деньги... Впрочем, скоро Бомарше обнаглет и открыто напишет в газете: «Я не боялся единоробства со

львами и тиграми, чтобы добиться постановки «Севильского цирюльника». Неужели я убоюсь...» И так далее... И вы имели право! Бомарше тогда был в моде, а король нет. Было модно плевать на короля. И кто же требовал разрешить пьесу, подырающую устою монархии? Королева! Мечтала сыграть роль в вашей пьесе. И ее подруга, красотка Полиньяк, и весь кружок королевы, все «наши».

— Какие были битвы, — мечтательно произнес Бомарше.

— Да, да, — усмехнулся Фуше. — Глупого короля попросту обманули. Сказали, что Бомарше переделал пьесу и все негодное убрано. И «бедняга»... так по доносам называла его королева... как всегда, не посмел идти против Антуанетты. Бедняга разрешил. И состоялась та премьера. Доносы о премьерере, надо сказать, я читал с особым чувством. Пока мы, жалкие смертные, давились на улице, зал Одеона был набит знатью. Принцы крови, герцогиня Ламбаль, герцогиня Шиме и прочие главные красавицы... заходились в овациях. Глупцы не щадили ладоней, аплодировали ловкому Фигаро. «Особенный восторг, — сообщает донос, — вызвал пассаж о тюрьме, в которую попал Фигаро: «После того, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, я хотел только одного: чтобы те, которые так легко подписывают эти грозные бумаги, сами попали сюда однажды». Шквал аплодисментов. Даже на улице мы слышали. Все эти аристократы радостно хлопали Фигаро, который весьма скоро сделает так, чтобы все они попали туда, и именно «однажды»... Второго раза не будет! Всех их отправит из тюрьмы прямо на гильотину весельчак Фигаро... Когда бедный король понял, что его провели... он записал в «Дневнике»... Я читал этот «Дневник». После его казни мы забрали «Дневник» из Тампля... Король был добрый малый...

— Именно поэтому вы голосовали за его казнь?

— Вы правы. Именно поэтому он дал нам эту возможность. Ибо король не имеет права быть добрым. Наш неудачный король совершил, пожалуй, единственный разумный поступок: после премьеры Фигаро пришел в ярость и записал в «Дневнике»: «Наказал строптивого подданного Карона». Так Бомарше отправили в тюрьму, о которой еще недавно разглагольствовал его Фигаро.

— Я благодарю вас сердечно за все эти сведения. Мне их очень интересно слушать, особенно сегодня. Только никак не пойму, зачем вы все это рассказываете мне? Который, как вы догадываетесь, все это довольно хорошо знает.

— Скоро поймете... Короче, как пишет агент, вы приготовились к тому, что вас отправят в грозную Бастилию, тюрьму для аристократов, которая не раз создавала славу отправленным туда писателям. Но наш болван-король... редкий случай... оказался и на этот раз умнее. Вместо Бастилии вас отправили в Сен-Лазар — тюрьму для отребья, где в большом ходу были розги. Монахи Сен-Венсен де Поль, под чьим покровительством находилась тюрьма, обычно встречали прибывавших кнутом. И прославленного писателя, освободителя Америки... положили голой задницей кверху. В вашем досье осталась гравюра, которую распространяли тогда в Париже. На ней монах сечет пятидесятилетнего Бомарше. Неплохо напечатать в будущем издании... Впрочем, «презренная австриячка» Мария Антуанетта, мечтавшая сыграть пьесу Бомарше, конечно же, вас освободила.

— Надеюсь, в доносах не пропущено, как тысячи людей стояли у тюрьмы, когда я ее покидал? И как толпа разразилась ревом восторга, и как потом меня несли к карете? И как сама королева Франции в театре Трианон сыграла Розину в «Севильском цирюльнике»?

— Обижаете. Более того, в донесении указано, что актриса-королева устроила после представления интимный ужин для удачливого писателя. Не скрою, о самой беседе за ужином донесения молчат.

— Говорливые доносы, неужели они когда-нибудь молчат?

— А жаль, — вздохнул Фуше. — Ибо дальше началось главное.

Фуше помолчал и добро улыбнулся:

— Вы не вспомните, что было дальше?

Бомарше понял: начиналось опасное.

— Дальше? — Он засмеялся. — Была революция.

— Спешите. Прежде было некое дело. С которого действительно началась революция. И которое совершенно скомпрометировало династию. Вы, конечно, поняли, о чем я говорю.

— Я, конечно, понял!

— Таинственное дело об ожерелье королевы. Сластолюбец кардинал де Роан наивно поверил, будто королева Франции ходила к нему на свидание, чтобы он выкупил для нее бесценную побрякушку — бриллиантовое ожерелье. Но, оказалось, ходила *другая*, как две капли воды похожая на королеву... Какова интрига!

— Вы собираетесь мне рассказать об этом деле?

— Зачем же. И вы, и вся Франция никогда о нем не забудут. Но мне почему-то кажется, что вы не только помните, но и много *неизвестного* могли бы о нем поведать...

Бомарше молчал, и Фуше продолжил:

— Надо сказать, что сразу после революции была создана специальная комиссия, чтобы все выяснить. Ваш покорный слуга также в ней находился. Но мы узнали, что многие документы дела, хранившиеся в секретном архиве короля в Бастилии, исчезли после разгрома замка... И вот какая интересная деталь, — сказал Фуше доверительно. — После революции Робеспьеру и Комитету общественной безопасности удалось выявить граждан, овладевших документами из Бастилии. И все они, как истинные патриоты, с удовольствием или без, но всё вернули. Только... — Фуше остановился и засмеялся. — Не хотите ли сами окончить фразу?

— Не испытываю ни малейшего желания, — развеселился Бомарше.

— Только документы из дела об ожерелье королевы пропали. Нет документов, и все! И вот тут начинается самое интересное. В штабе Национальной гвардии сохранилось письмо некоего прохвоста, маркиза де Сада, написанное сразу после революции.

Фуше замолчал, он в который раз задыхался в кудахтающем смехе. Что началось — готовится главный сюрприз.

— Я слушаю, слушаю вас, — сказал Бомарше.

— Вы впервые стали нетерпеливы. Для секретного агента двух королей это промах.

— Старею. — Бомарше улыбался.

— Оказывается, во время штурма Бастилии не все в доме Бомарше наслаждались лицезрением из окон бессмертного подвига народа. Сей маркиз доносил, что, по его сведениям, сам хозяин дома находился на площади, где собирал некоторые бумаги... Вы слушаете так внимательно, будто я сообщая вам неизвестные вещи... Короче, маркиз был уверен, что Бомарше забрал заодно какую-то его рукопись. Маркиз оказался писателем. Он просил национальных гвардейцев сделать обыск в вашей квартире. Я же уверен, что Бомарше забрал совсем иные документы. И их я хотел бы получить от вас тоже. — Он помолчал и повторил: — **Тоже...** Прошу обратить внимание на слово «тоже».

— Я обратил. И жду разъяснений.

— Это «тоже» связано еще с одним удивительным предприятием, в котором вы **тоже** участвовали. И если бумаги о вашем участии в деле с ожерельем королевы меня интересуют постольку поскольку... праздное любопытство, не более... то документы, связанные с *другим* делом, я должен получить от вас непременно.

— Не понимаю.

— Понимаете. Я ведь вначале не верил. Считал ваше участие в «другом деле» фантазией. Чтобы автор Фигаро участвовал в бегстве короля и королевы? Какая чушь. Но чем больше я занимался психологией гражданина Бомарше, тем больше понимал — участвовал! Непременно!

— И что же это за психология, гражданин?

— Вредная, гражданин Бомарше. К примеру, в дни королевской власти все симпатии Бомарше были на стороне Фигаро. Но стоило Фигаро прийти к власти... и тотчас, на следующий же день сердце Бомарше уже отдано аристократам.

— Здесь я возражать не смею. После торжества Фигаро я мог быть с ним только разумом, но не сердцем. Я призывал милость к падшим, я укрывал в своем доме королевского гвардейца. А когда началась охота на священников, обратился с письмом в защиту церковных служб. Хотя был наименее набожен из всех, кто страстно желал того же. Но просить боялись... Бомарше всегда на стороне слабых.

— Объяснение благородное. Хотя немного банальное для автора Фигаро. Как министр полиции, я обязан сформулировать точнее. Дело в том, что самый распоследний вонючий интеллигент, не говоря уж о великих... ненавидит любую власть. Его сердце всегда отдано бунту, точнее, бунтику против власти. Он всегда с партией меньшинства. Это так же верно, как и то, что самый распоследний чиновник всегда с партией большинства. Власть это чувствует. И Бомарше никогда не станет для нее своим. Вот почему вас посадил в тюрьму король, вот почему вскоре после революции ваш Фигаро, став Властью, захотел отправить вас на гильотину. И только сделка вашей любовницы с революционным судьей... ее вовремя раздвинутые ноги спасли вашу жизнь в дни Марата. И только отъезд из Франции спас вас в дни Робеспьера... Именно эта склонность заставила автора Фигаро иметь некоторое отношение к побегу королевской семьи. К тому самому, который затеяли аристократы — граф Ферзен и несчастный Казот.

Фуше замолчал и пристально взглянул на Бомарше. Он ждал ответа.

Но Бомарше тоже молчал. Покойно, невозмутимо. Наконец сказал:

— Весь внимание. Продолжайте.

— Об этом догадался следователь уже во время допросов старика Казота. Но пока он искал доказательства, вы отбыли из Франции. Иначе быть вам на одном эшафоте с беднягой Казотом.

Фуше мрачно смотрел на Бомарше:

— Я жду.

— Я тоже. Ибо по-прежнему не понимаю. Вы говорите о догадках, я жду доказательств.

— Вы побывали в тюрьме при короле и в дни революции. И ныне, когда дни слабой власти во Франции сочтены, тень генерала уже на горизонте. Причем какого генерала. «Когда я слышу, как добр был такой-то король, я говорю — какое неудачное было правление». После таких заявлений вам есть смысл начать думать, как избежать третьей тюрьмы. Как обеспечить себе индульгенцию за будущие излишества вашего блестящего язычка, которые неизбежны. Я вам открою. Генерал очень нуждается в некоторых бумагах, связанных с тем побегом и принадлежащих ныне Бомарше.

— Или нуждаетесь вы? Чтобы держать в руках генерала?

— Это несущественно. Существенно лишь то, что я выставляю на торги темную подноготную великого Бомарше. Плата — нужные мне документы о генерале. Выгодный обмен.

Бомарше засмеялся:

— Итак, мои бумаги в обмен на доносы о Бомарше? Кратко. И делово. Но вместо этого... Вместо этого Бомарше решил произнести любимый им монолог.

— Вы отказываетесь?

Будто не слыша, Бомарше продолжал:

— Актеры, гражданин Фуше, обычно жаловались на длину моих монологов. Так что наберитесь терпения. Надо вам сказать, я всегда хотел взять какую-нибудь возвышенную пьесу и написать ее... низменное продолжение. Ну, к примеру, сочинение Шекспира «Ромео и Джульетта». Эту великую историю любви изложить в пересказе лакеев — на кухнях дворцов Монтекки и Капулетти. Трагедия любви языком лакеев! Языком кухни! Я не написал этой пьесы, как, впрочем, и многого другого. И спасибо судьбе, что не сделал этого.

Ибо оказалось, она написана. Называется: «Жизнь Бомарше в пересказе лавкеев из полиции». Благодарю вас за ваш труд, вы превосходно изложили эту пьесу. Теперь маленький комментарий самого героя. Да, был секретным агентом короля. Вы правы, я часовой, и мне всегда было интересно, как движутся, подталкивают друг друга колесики Интриги! Да, обе первые мои жены были много старше. Но это был особый век. Румяна, мушки, парики, удобный полумрак будуара и прочие тайны и ухищрения лишали тогда людей возраста. Всем мужчинам было немного за тридцать и всем дамам едва за двадцать... Вы жили в монастыре. А Париж...

— Париж был тогда вавилонской блудницей.

— Сладостной блудницей, скучный гражданин Фуше. Это был последний век, когда правили женщины. Общество, гостиные представляли самое увлекательное поле брани, где шло непрерывное сражение. Все мужчины думали о том, как соблазнить женщину, все женщины — как побыстрее быть соблазненными. Я был молод и неопытен. Она приняла меня в полумраке. Она сидела у камина, ее крохотная ножка покоилась на маленьком стульчике. И красота ножки обещала восхитительные колени. Она была достаточно мудра, чтоб разрешить мне проверить это предположение. И я начал свое исследование. «Колени — это последняя станция, где прощаются с дружбой и начинается любовь», — так простодушно я написал ей потом. Мой первый поцелуй выше подвязки. Я пребывал в безумии. Но в галантном безумии. В ответ на оказанную милость я тотчас польстил ей строчкой любимого Вольтера: «Белая шея чиста, как алебастр, а внизу раскинулась холмистая долина Амура: пышная грудь возбуждает желание... и жадно хотят припасть к ней уста». Она была хорошо воспитана и тотчас обнажила грудь для дружеского поцелуя... Я не медлил, и она прижала мою голову к себе обеими руками. И, раздеваясь, с восхитительной улыбкой сказала: «Я уверена, что одежду выдумал какой-нибудь горбатый карлик, чтобы скрыть свое тело».

— Мы сожгли, уничтожили ваш грешный век!

— Точнее, обезглавили. И торопливо насильовали несчастных аристократок, приходивших к вам просить за возлюбленных. Вы были уверены, что несколько торопливых содроганий на бесчувственном теле женщины — это и есть обладание! Вы — лишены Любви.

— И все-таки, любви обладатель, вы убили ее — первую жену?

— Безусловно! — И Бомарше расхохотался, глядя на потрясенное лицо Фуше. — Любовниками мы расставались в темноте. Впервые утром я увидел ее после нашей супружеской ночи. Так я открыл ее лицо без румян. Это был шок. И теперь старался возвращаться из Версаля от своих царственных учениц как можно позже... Версаль... там все дышало галантным безумием. И в рошах, и боскетах... В темноте ночи сколько раз я наталкивался на стонущее чудовище о двух головах. Чтобы вернуться в нашу благоразумную семейную постель — в кладбище желаний. Так что вы правильно догадались: я убил ее. Мы все убиваем тех, кто нас любит. Яд — это все, что может выдумать полицейская фантазия... Скучный человек, я убил ее орудием куда похуже яда. Я убил ее Нелюбовью... И следующая была старше меня. Женщины, которые старше, они и матери. У меня рано умерла мать... Но вторая была только любовницей. Высокая красавица, сложена, как богиня... Она обожала мужской костюм, обтягивающие рейтузы, чтобы вы могли грезить о ее теле. И все свершилось так быстро. Сколько прелестных обычаев уничтожили зануды, устроившие революцию. «Лево» — утренний туалет знатных дам, когда они принимали поклонников. Она приняла меня в ванной. Лежала под простыней. Что может быть чувственной тайны обнаженного женского тела, закрытого жалким куском материи. Когда камеристка покинула комнату, в самых изысканных выражениях я попросил дозволения откинуть простыню. Дозволение было дано — но «лишь на мгновение». И я получил представление о прелестях, которые мне сулили. Но камеристка сообщила о возвратившемся муже, ситуация стала скучной, и я удалился. И уже в следующий раз она приняла ме-

ня в постели. Легкая муслиновая шаль на белых точеных плечах не скрывала грудь... Она отправила меня взглянуть, куда запропастилась ее негодница камеристка. Но, конечно же, я не нашел ее. И, конечно же, когда я вошел, она уже спала. По галантному обычаю она позволила себе проспать самое интересное... проснувшись невинной. Но уже на следующий день я был приглашен ночью на ее половину. Венец галантного приключения был тогда публичен. Дамы любили объявлять о новом обладателе сердца. И тела. Она приказала постелить солому перед своим домом, чтобы все знали: здесь боятся шума экипажей, ибо этой ночью в доме нужен покой. Утром она принимала подруг с томными кругами вокруг глаз. И все обязаны были говорить восхищенно: «Как вы утомлены».

Вот правда, которую так скучно описали доносы. Вот чего был лишен гражданин Фуше в своей тихой провинции. Умерла она от чахотки. Никогда я не плакал так, как после ее смерти... Что же до старика Дюверне, то он обожал меня, и я его тоже. Он не просто научил меня зарабатывать большие деньги. Он объяснил мне не только тайны и радости охоты за деньгами. Он объяснил мне то, чего вы не знаете. Самое важное — не нажить деньги. Самое важное — уметь их истратить в свое удовольствие. Это и значит быть повелителем денег... А слухи, самые гнусные слухи, они нас преследовали. Что делать... «Нет такой пакости, выдумки самой нелепой, на которую не клюнула бы толпа». Это его фраза, которую я вставил в свою пьесу. Старик был мудр. И вдоволь накормил меня своими изречениями... Фигаро — это он, а не я. И это его слова: «Смейтесь чаще, смейтесь, чтобы не заплакать...»

— Я видел в театре все ваши пьесы. Я помню.

— И все-таки не отказывайте в удовольствии Бомарше еще раз процитировать не столь плохие реплики. Поверьте, я читаю свои пьесы куда лучше актеров, которые их играют. Что же касается посмертной клеветы, которой вы мне грозите... Это от незнания. Поверьте, если в будущем все ваши гнусности опубликуют... — Тут Бомарше приник к уху гражданина Фуше и прошептал, как величайшую тайну: — Это только продлит мою славу. Ничто так не укрепляет посмертную судьбу писателя, как дурные слухи. Толпа обожает грех. И поклоняется, и помнит тем дольше, чем больше у знаменитости масштаб негодяйства.

— Итак, вы отказываете в моей просьбе?

— Но с большой благодарностью. Я рад, что вы дали мне сегодня перелистать мою жизнь. Мне это сегодня необходимо. Это была нелегкая жизнь. Я играл на всевозможных инструментах, но музыканты меня не принимали всерьез, я был для них часовщик. Я изобретал часовые механизмы, но часовщики злословили на мой счет, я был для них всего лишь музыкантом. Я начал писать пьесы, но все говорили: «Куда это он суется, лучше бы делал свои часы». Я начал писать стихи и песни, но никто не считал меня поэтом, я был для них драматургом. Я издал Вольтера, но печатники заявляли: «Зачем суется в издатели этот глупец, лучше бы оставался писателем». Я вел торговлю по всему свету, но негоцианты не принимали меня всерьез, ибо я был для них неудачливый издатель. Как никто из французов, я столько сделал для свободы Америки, но никто не позаботился заплатить мне копейку — я был для них богатый торговец... И вот сегодня, благодаря вам, я смог подвести итог... Я спрашиваю себя: кем же я все-таки был? Только самим собой. Свободным даже в оковах, веселым в опасностях... я был ленив, как осел, и, как осел, всегда трудился... я был верен одной, любя при этом многих... я был свободен, свободен как ветер. Я был... Бомарше! — Он вздохнул и добавил: — Надо сократить.

Фуше удивленно посмотрел на него.

— Монолог длинен... У меня всегда было неважно с чувством меры.

Именно при этих словах произошло то, что Фуше не мог забыть до смерти: вишневая занавесь, закрывавшая место, где прежде стоял роскошный камин, чуть-чуть приоткрылась.

И вновь упала.

И постоянная холодная усмешка Фуше вмиг исчезла.

Лицо Фуше выражало испуг, почти панику.

— Боже мой! — тихо воскликнул Фуше.

— Что случилось, гражданин? — заботливо спросил Бомарше.

— Там... она!

Бомарше вопросительно глядел на гражданина Фуше.

— Антуанетта... Антуанетта... — шептал Фуше.

Бомарше оставался странно спокоен. Он совсем не удивился. Только пожал плечами и вяло сказал:

— Какая глупость... — Его голос звучал как-то тускло. — Королева Франции давно в могиле. И вы помогли отправить ее туда.

И тут гражданин Фуше с неожиданной прытью бросился к занавеси, откинул портьеру... Столб густой пыли стал его добычей и голая стена за занавесью, изуродованная стена со следами разрушенного камина.

Фуше стоял у стены, отряхиваясь.

Бомарше, чихая, поднялся и заботливо опустил вишневую портьеру. Потом произнес:

— Забавный финал нашего разговора.

— Я не сумасшедший, — растерянно прошептал Фуше.

— Я в этом уверен.

— Но там... там была...

— Никому не говорите об этом. Иначе они не будут в этом уверены. До свидания, гражданин Фуше.

Фуше уже взял себя в руки: прежняя улыбка — на тонких губах.

— Прощайте, гражданин Бомарше. У вас действительно была завидная жизнь. Надеюсь, и смерть будет не хуже.

— «Надеюсь, и смерть будет не хуже»... Bravo! Знаете, что такое банальная, но удачная реплика? Это когда оба говорят об одном, а думают совсем о разном. Что и выясняется, — Бомарше засмеялся, — но только в финале.

Первый акт последней пьесы Бомарше

Парад персонажей

Гражданин Фуше уехал.

Единственные часы, сохранившиеся после «того погрома», долго били двенадцать.

Бомарше слушал. С последним ударом он что-то вспомнил.

— Лекарство. Забыл сегодня принять... — Он расхохотался. — Когда везли на казнь королеву, палач посоветовал ей одеться потеплее. Она сказала: «Вы боитесь, что я простужусь?» Но самое смешное, кажется, я принял лекарство... Простые действия исчезают из памяти. Вчера никак не мог вспомнить, отправил ли я деньги сестре. И обычные слова... это самое мерзкое... забываешь. Впрочем, уже можно все в прошедшем времени... и этот полдень, и эти мысли... и все глупые заботы... ком забот — все не нужно... Более ничего не нужно... Я свободен... Я думал, что пьеса — это много действующих лиц... Да нет, самая интересная пьеса — это ты один... Этот итальянец Казанова как-то сказал мне: «Напишите пьесу — человек сидит на горшке... и тысячи забот и возвышенных мыслей... а он на горшке...» Я видел его... десять лет назад. Десять лет — и как вчера... Старость, как революция... Неправдоподобно быстро бежит время... Устал... Устал. И тем не менее пора готовить «Театр».

Он встал. Грязноватые стулья из Трианона повернул лицом к вишневой занавеси. Вольтеровское кресло передвинул к комоду, на котором лежали шпаги и пистолеты...

После чего сел в кресло и ждал...

«Как уходил последний полдень».

В час пополудни вернулся Фигаро. Он молча принес утренний кофе.

— Ну и что ты там делал, убийца?

— Сидел.

— В камере?

— Нет, в приемной на стуле.

— У тебя такая важная физиономия, будто тебя пытали.

— Вас ожидают.

— Пришел?

— Пришел.

— Зови, убийца... Ты хоть понимаешь юмор — последний Фигаро убьет своего создателя... Какова шутка?

Фигаро молча глядел на Бомарше.

— Ну хорошо, зови.

Граф Ферзен вошел в комнату.

Бомарше — сплошная улыбка — оглядел графа.

«Темный фрак, положенный в былые времена революции. Не хочет обращать на себя внимания. Глупец! Все так изменилось в Париже. И скромная одежда на этаким барине с запахом дорогого одеколона и в дорогом шейном платке... Ах, мой друг, вы и перстень, стоящий целое состояние, забыли снять. Но как же снять — это ведь наверняка ее подарок. Нет, сразу обращает на себя внимание сей господин... И голова — гордая, с орлиным носом на высоком теле торчит... при таком росте одиноко бедной голове парить над прохожими. Одни облака вокруг. Одиночество очень высоких людей... И Антуанетта, маленькая красотка, нежный плющ вокруг дуба... маленькие холеные ручки... ее губы... Все это, друг мой, я испытал сегодня ночью. Тело Антуанетты в моей постели... тело *другой*».

После недолгого молчания Бомарше обрушил на пришедшего поток обычных театральных восклицаний:

— Дорогой граф! Сколько лет! Простите, принимаю в спальне. Маленький островок уюта, этакая лодка Ноя. Гостиная, столовая и прочие тридцать комнат совершенно разрушены потопом революции, да-с... И сложное финансовое положение не позволяет, увы... предпринять необходимые меры. Но привык... Когда-то верил, что для счастья необходим дворец, теперь вот счастлив в единственной комнате, ибо знаю: всех нас ждет последнее самое долгое счастье в комнате не более чем в пару метров.

Ферзен не слушал — он уже увидел те стулья. И не мог оторвать от них глаз.

Бомарше продолжал искриться улыбками — само дружелюбие:

— Эти стулья в полном вашем распоряжении. Присаживайтесь, граф, удобнее. Вы ведь не раз на них сиживали. Боже мой, все это было не так давно и так давно... другая жизнь, другая жизнь...

— Я просил через вашего слугу уступить их мне, — сказал граф.

Он ненавидел этого тучного человека, его постоянную улыбку, точнее, постоянную насмешку.

— Конечно же, конечно, они дороги вам! — воскликнул Бомарше. — Но есть затруднение: мне они дороги тоже. Они для меня — часть восхитительного мира, который навсегда исчез. Где он? Разве что остался в моих комедиях. Власть, слава — все тлен! Суета! «Повелитель сверхмогучий отправляется во прах...» — вынужден цитировать себя. Помню, мне было чуть за тридцать... правил Людовик Пятнадцатый. Я готовился уехать в Испанию по семейному делу — убить на дуэли соблазнителя сестры... что, кстати, и удалось. И как раз накануне отъезда мне пришлось быть в Версале. В тот день, как сейчас помню, шел дождь, холодный был май... Я был в апартаментах герцогини де П. и из окна увидел носилки. Их вынесли из дворца. И на носилках под простыней, намокшей под проливным дождем, ясно обозначилось нагое женское тело. Я в ужасе спросил: «Что все это значит?» И герцогиня объяснила: «Только что закрыла глаза госпожа де Помпадур...» Вот так! Вчерашнюю некоронованную королеву Франции... ее благосклонный взгляд ловили принцы крови, ее воспевали поэты и рисовали живописцы, с ней

спешили поделиться своими открытиями ученые, да и ваш покорный слуга отправил ей свои первые часы... и вот ее, как подохшую собаку, спешно уносили прочь под проливным дождем. Ибо по Этикету во дворце не могло находиться мертвое тело. А король... он только заметил вослед когда-то обожаемому телу: «Бедная мадам. Должно быть, печально отправиться в такое дальнейшее путешествие в такую плохую погоду...» И тотчас забыл о ней в объятиях другой. Двор сказал: «Бедняжка маркиза». И тотчас начал ее любить, как прежде ненавидел. Мы, французы, первые в мире по непоследовательности. «Вот и кончилась греза»,— сказал я тогда. И то же я повторил, когда убили королеву. Какой странный вкус у судьбы! Оставить жить, к примеру, меня, старого бумагомараку, и удалить из жизни такую красавицу, оставив ее голову в руках палача Сансона.

— Ни слова о НЕЙ! — сказал граф.

— Да, конечно, иначе вы меня... Итак, я весь внимание. Я хотел бы услышать причину вашего страстного желания повидать меня, чтобы, как я понял, непременно меня убить.

— Вы выразились точно — убить. Я вам об этом написал.— И граф продолжил срывающимся голосом: — Я получил сведения, сударь... о вашем участии... касательно... касательно...— Остановился, задыхаясь от ярости.

— Я вас понимаю.— Бомарше все также нежно улыбался.— В гневе трудно формулировать. Позвольте мне. Тем более что удачная реплика — моя профессия. Итак, во-первых. Вы получили сведения о некоем эпизоде, героиней которого была некая дама...

— Эпизоде?! Так вы называете грязный фарс, с которого началась гибель королевы Франции? И который придумали вы, жалкий писака,— сказал граф. Он уже сладил с гневом.— Но я хотел бы, сударь, услышать от вас все подробности, прежде чем...

— Вы убьете меня.

— Я убью вас.

— Заключительная фраза дискуссионна. По понятной причине: я постараюсь не дать вам это сделать. Касательно же узнать подробности... вот эта часть фразы мне нравится. Я даже кое-что подготовил. И, смею надеяться, с лихвой вознагражу ваше любопытство. Вы пришли услышать об одном эпизоде, но услышите о двух. О двух... я сказал бы... таинственнейших эпизодах, героиней которых оказалась она — королева Франции... Но одно уточнение... Вы должны понять, дорогой граф, что пришли в дом Бомарше, но оказались — где? В театре!

— Я не позволю издеваться...— Граф в бешенстве попытался схватить Бомарше за горло.

С удивительной легкостью грузный Бомарше выскользнул из рук графа и отпрыгнул к комоду. В руках у него оказалась шпага. Он приставил ее к горлу графа.

И свободной рукой с легким поклоном уже протягивал графу другую шпагу...

Граф растерянно взял шпагу, а Бомарше опустил свою.

— Вы не правы, граф. Стоит ли убивать меня, так ничего и не узнав? Или лучше все-таки повременить? И дать мне усладить вас подробным рассказом? А себя самого недурными воспоминаниями... — продолжал, тяжело дыша, Бомарше,— необходимыми... в сегодняшний вечер?

Граф молча отшвырнул шпагу. И Бомарше, не оборачиваясь, отбросил свою.

«В жесте был шик. Зазвенев, моя шпага упала в углу комнаты».

— Экий вы безумный, граф... А я всегда полагал, что шведы рассудительны,— сказал Бомарше с вновь обретенной улыбкой.— И поверьте, я отнюдь не склонен нынче к шуткам... Вы действительно пришли в театр. Ибо те два эпизода, которые, не побоюсь сказать, перевернули судьбу великой страны... да и мира... на самом деле были всего лишь двумя пьесами, сочиненными Бомарше. Где,

кстати, вы были одним из *действующих лиц*... И эти пьесы сегодня предстанут перед вами...

— Выражайтесь яснее, сударь...

— Иначе сгоряча убьете? Да, вы необычно страстный швед, — веселился Бомарше. — Что же касается ясности... Ах, дорогой граф, в отличие от грубости ясность — редкое свойство в этом *не* лучшем из миров. И рассказ мой, который вы пришли услышать, потребует от вас размышлений. Хотя размышление... Если вы «сильный мира сего, то думаете, вы и разумом сильны?» — вопрошал в моей пьесе Фигаро, кстати, под овации зала. Я прошу прощения у вас за *его* шутку. Что делать, как вы вскоре узнаете, персонажи моих пьес часто выходили из-под контроля их творца...

Разговор прервал Фигаро. Слуга вошел и молча уставился на Бомарше.

— Он? — спросил Бомарше.

Слуга кивнул.

— Попроси подождать. Всего несколько минут. Только очень вежливо. В гневе он невозможен, — вздохнул Бомарше.

Ферзен насторожился.

Бомарше засмеялся:

— Как все нервны! Ваша рука забавно ищет отсутствующую шпагу. Полноте, граф! Разве Бомарше допустит нарушения законов гостеприимства. Тем более что пришедший господин отлично вам известен и даже состоит с вами в самой дружеской переписке... Более того, благодаря ему я имею честь видеть вас в своем доме... А пожаловал он по моей просьбе. Ибо он тоже персонаж моей пьесы. Одно из действующих лиц... Я еще раз хочу подчеркнуть — вы пришли в театр... Где перед вашим приходом судьбе угодно было показать пролог грядущего представления. Его, надо сказать, великолепно исполнил гражданин Фуше. Благодаря ему автор грядущей пьесы... он же одновременно ее главный герой, то бишь *Бомарше*... уже представлен... А это всегда так скучно — объяснять в пьесе предысторию героя. Никакого действия, сплошная болтовня. Здесь, как правило, драматург фальшивит, а зритель дремлет. Так что спасибо Фуше, он все объяснил. Кстати, он осведомлен, что вы в Париже.

— Ему заплачено.

— Много взял? Впрочем, глупый вопрос. Сто тысяч дашь — возьмет. Но и грош дашь — тоже возьмет. Наши новые отцы Отечества.

— Послушайте, я не смогу долго выносить это паясничанье...

— Да, да, вы пришли меня убить и вы торопитесь. Я помню.

Бомарше на всякий случай отступил к комоду, где лежал ящик с пистолетами, и облокотившись на него, невозмутимо продолжал:

— Что ж, хватит отвлечений... За дело, граф. Итак, столь интересующая вас история, а точнее, пьеса, сочиненная Бомарше, начинается... На календаре в момент поднятия занавеса у нас тысяча семьсот восемьдесят пятый год. Бомарше, на сцену!.. Поднимается занавес... Как уже поведал без вас гражданин Фуше, в том году, то есть в момент поднятия занавеса, сукин сын Бомарше был очень знаменит. Пик его славы. Вам, дорогой граф, случалось быть любимым женщинами. Но вам не случалось быть любимым страной. Постарайтесь представить: весь Париж сходит с ума от вашей запрещенной пьесы. Вашими остроумиями разговаривают в гостиных. Ваши часы носят во дворцах. Вы богаты. И еще вы помогли целой стране завоевать независимость. И вот, когда Бомарше окончательно поверил в свою важность, однажды к нему явились гвардейцы короля... Акт первый, явление первое. Посреди ночи его дом обыскивают, роются в бумагах на глазах полусонных испуганных домашних. И Бомарше узнаёт, что его велено отвезти в тюрьму. Такова, оказывается, прихоть короля. И его, грубо толкая, сажают в вонючий тюремный экипаж. И увозят прочь из роскошного дома... Он даже не успел пописать на дорогу. Он ведь уверен был, что везут его в крепость напротив, в Бастилию, тюрьму для знати, для людей известных... Нет, везли долго, и привезли в вонючую тюрьму Сен-Лазар, где сидят нищие, прохо-

димцы, сутенеры, проститутки... Его бросают в грязную камеру, где он понимает, что такое счастье... Оказывается, это иметь возможность пописать. После чего ему приходится спустить штаны во второй раз, и два здоровенных монаха, согласно правилам этой тюрьмы, его порют. Причем по очереди, чтобы не уставать... Согласитесь, это не лучшая участь для немолодой, полувекковой задницы, сидя на которой был написан «Фигаро». Между тем весь Париж негодует. Ибо весь Париж, как вы еще не забыли, презирал тогда короля и любил Бомарше. И особенно негодует...

— Я запрещаю вам произносить ЕЕ имя, — вырвалось у Ферзена.

— Послушайте, воздержитесь от глупости... Даже королю не удавалось запретить Бомарше говорить... Бомарше — свободный болтун. Так что, коли вы еще раз меня прервете... я действительно умолкну навсегда.

И швед опять обуздал себя... Он сказал со спокойным достоинством:

— Продолжайте, конечно же, сударь. И позвольте принести свои извинения. Будьте совершенно свободны...

— Прежде, чем вы меня убьете, — засмеялся Бомарше.

— Именно так.

Бомарше, веселясь, покинул местечко у комода с пистолетами и уселся в любимое вольтеровское кресло.

— Итак, явление второе. Бомарше в тюрьме. Он унижен, но совершенно спокоен... — Бомарше уютно тонул в необъятном кресле и неторопливо продолжал: — Ибо мерзавец знает: Прекрасная Дама, точнее, королева Франции, мечтает сыграть роль в его пьесе... Роль восхитительную — субретки Розины. Ее модистка мадам Бертен, «министр моды», как ее прозвали в Париже, уже сшила королеве этакий прелестный наряд, и парикмахер придумал такую простенькую, но так идущую ей прическу. А муж все испортил, посадив Бомарше. Негодный лишил друзей королевы... и прежде всего главного друга... я говорю о вас, граф... иметь эту счастливую возможность — еще раз восхититься красавицей королевой. Негодует модистка, негодует парикмахер, негодует королева. Три главных законодателя жизни модного Парижа требуют свободы для Бомарше. И, как вы еще помните, сего было достаточно, чтобы король привычно капитулировал перед истинными владыками. Бомарше с триумфом разрешают покинуть тюрьму. Но наш хитрый сукин сын... отказывается выйти! Мерзавец требует компенсации за побитую жопу. И тогда ему назначают годовую пенсию в тысячу ливров, цензуре велят ни в чем не препятствовать «Женитьбе Фигаро» и так далее... И вот свершилось! Явление третье. Тысячи людей аплодируют у тюрьмы, когда я покидаю ее. Здесь немного музыки. Можно марш. Эй, Фигаро!

Фигаро не без изящества промычал военный марш. И даже внезапно заорал:

— Виват!

— Этот восторженный рев, — пояснил Бомарше, — означал: узник появился в тюремных воротах.

Фигаро восторженно вопит и аплодирует.

— Счастье толпы! И я — небритый, грязный, с высеченной задницей отправляюсь домой... Терпите, граф, мы сейчас дойдем до интересующего вас... А пока явление четвертое. Бомарше дома. И вот здесь маленькое разъяснение. Естественно, глупый король был уверен, что Бомарше, получивший такую компенсацию, забыл обиды. Что ж, король по-своему был прав: голова забыла. Но не оскорбленная задница! Задница у Бомарше оказалась на редкость злопамятной. Согласитесь, «эгалите» должно быть для всех органов тела. И если ты — жопа, это не значит, что ты не требуешь равенства, справедливости и тебя можно безнаказанно лупить! И вообще, зачем обиженному заду все эти запоздалые почести? И вот тогда-то случилось... Враги короля постигли эту жажду мести задницы Бомарше... Такова ситуация перед явлением пятым. И важнейшим. Внимание, пошел занавес. Явление пятое. К Бомарше пришел некто...

И Бомарше выкрикнул:

— Проси на сцену!

Фигаро поклонился, картинно распахнул дверь и объявил торжественно:

— Гражданин маркиз де Сад!

Граф вздрогнул и усталился на дверь. А Бомарше покатился со смеху:

— Гражданин маркиз... о безумие революции!

И вошел маркиз. Он был в том же одеянии, в каком увидит его через пятнадцать лет Шатобриан. И хотя его голубой фрак был еще превосходен, но розовые панталоны уже сильно заляпаны всеми видами еды.

— Ну что за идиот! — сказал маркиз.

— Отличная реплика для выхода, — заплодировал Бомарше.

— По-моему, хорошим французским языком, — скандально продолжал маркиз, — я объяснил этому олуху, вашему слуге: меня зовут маркиз де С. Нет, эта страна была глупа до революции. Но после — стала абсолютным царством идиотов. Какое счастье, что в стране есть гильотина... Хоть немного их будет меньше...

Наконец маркиз заметил графа Ферзена.

— Да, я не представил... граф Ферзен, — не без удовольствия объявил Бомарше.

Маркиз мгновение с изумлением, даже испугом, глядел на Ферзена. А потом в весьма неожиданном для тучного тела церемонном поклоне до земли приветствовал графа. И граф с грацией, уже забытой после революции, склонился в ответном поклоне.

«Механические бронзовые фигурки на часах Антуанетты в Трианоне».

— Я рад, дорогой граф, — сказал с усмешкой Бомарше, — что сумел устроить вашу встречу с маркизом, с которым вы знакомы лишь по письмам... И я счастлив, что благодаря маркизу, который донес... — Бомарше остановился. — Нет, заменим это слово новым, модным словечком революции — «информировал» вас о прошлых деяниях Бомарше... я имею честь увидеть вас у себя в доме.

— Мне жаль, дорогой маркиз, что мы не были знакомы прежде, в счастливые дни Франции, — обратился Ферзен к маркизу, не слушая Бомарше.

— Это непросто было сделать в счастливые дни Франции, — сокрушенно подхватил Бомарше, — ведь когда вы, граф, наслаждались жизнью и любовью в божественном Трианоне, «дорогой маркиз» проводил время все больше в тюрьме или в публичном доме. Но, надеюсь, недавняя переписка вас сблизила?

Маркиз весело расхохотался, и счастливое выражение сытого младенца появилось на его лице. Он опустил на стул из Трианона. На лице графа было страдание, когда стульчик жалко скрипнул под обильным телом.

— Я прошу прощения за мой неряшливый туалет, граф, но это все, что я могу себе нынче позволить.

— Думаю, граф изумлен, — усмехнулся Бомарше. — Ибо после суммы, которую вы наверняка получили от графа за письмо о Бомарше... заметьте, я опять не говорю «донос»... вы должны были здорово поправить ваши дела.

— Деньги исчезли, — смиренно сказал маркиз. — Я ведь по скудости средств, граф, обитаю на жалком чердаке с дурными засовами... И воры, решив, что у маркиза должны водиться средства, легко обчистили мое убогое жилище.

— Уверен, было иначе... Маркиз привел в «убогое жилище» очередную девку, и она-то его и обчистила, — сказал приветливо Бомарше.

Маркиз улыбнулся.

— Вы весельчак, Бомарше. Вам, описывающему человеческую выставку, не понять коллегу, ежедневно спускающегося в человеческую преисподнюю... Однако, сударь, я ограничен во времени. И хотел бы узнать, зачем вы меня позвали.

— Мой слуга заплатил вам за три часа... если вы помните, обычно столько длятся хорошие пьесы...

— Но все, что сверх того, должно быть оплачено дополнительно. Сейчас два пополудни. Я не позволю себя обмануть! — скандально закончил маркиз.

— Что ж, это справедливо, — сказал Бомарше. — Итак, к пьесе... Явление пятое. Маркиз вошел в комнату Бомарше... маленькое предуведомление, граф, о маркизе де С., вашем осведомителе и моем действующем лице. Есть одно важнейшее обстоятельство, которое вам, граф, следует знать. Однажды из ворот Бастилии выехал таинственный экипаж. Бедный король тогда властвовал, но уже давно не управлял — правила, как вы помните, принцы. И комендант Бастилии беспрекословно их слушал. По просьбе герцога Орлеанского нашего маркиза вывезли тайно из страшного замка. Ибо у заключенного в Бастилию маркиза было деликатное поручение от принца Орлеанского... к озлобленной заднице Бомарше. К сожалению, сам принц Орлеанский, как известно, не может появиться в нашей пьесе по уважительной причине: гниет в безвестной могиле с отрубленной головой. Его роль, как и роли всех отсутствующих, будет читать мой слуга Фигаро.

Слуга молча поклонился.

— Его молчаливость пусть не вводит вас в заблуждение, — продолжал Бомарше. — Это один из хитрейших прохвостов, догадавшийся, как выгодно быть молчаливым. На самом деле хитрец все время болтает, но сам с собой. Удобно, хотя бы потому, что никто не подслушивает и не доносит... И еще. Он очень любит своего господина, ибо ждет, что тот когда-нибудь расплатится с ним. Так что вы зря, граф, попросили его отравить меня... И вы, маркиз, — тоже. Я ему должен, господа, куда больше, чем вы обещали...

И граф, и маркиз — молчали оба.

А Бомарше с важным видом встал, подошел к маленькому бюро красного дерева, вынул ключ, открыл, и на свет появилась весьма объемистая рукопись в вишневом (в тон занавеси) переплете.

Бомарше торжественно протянул ее Фигаро.

— Здесь написано все, что вас интересует, граф... Здесь обе пьесы, сочиненные... нет... сотворенные Бомарше.

Фигаро важно принял рукопись из рук хозяина. Водрузил на нос очки, которые хозяин почему-то именовал «снарядом».

И приступил к чтению.

Фигаро:

— «Комментарии для потомков... Лица, о которых речь в пьесе: принц Орлеанский... Его нос, столь похожий на шпагу, фирменный нос Бурбонов...»

— Когда человеку отрубили голову, его нос не актуален, — прервал его Бомарше. — Читай далее, но при том учитывай: ты читаешь о мертвце.

Фигаро продолжил уже элегически:

— «Из всех ненавистников короля принц был главный: его обидели, и много раз... Даже титула гранд-адмирала, который носили все его предки, он не получил... А брак его дочери с племянником короля, который расстроила Антуанетта... Она ненавидела принца. Маленькая Антуанетта умела любить. Но куда более умела ненавидеть...»

— Там же написано — «для потомков», а наши гости — современники и все это отлично знают. Не заставляй нас скучать... Простите, господа, у меня всегда проблемы с началом... Короче — явление пятое, маркиз явился к Бомарше с поручением от принца Орлеанского... Маркиз был великолепен. Камзол с золотым позументом. Правда, от этого камзола исходил особый запах, ужасный для моих чувствительных ноздрей... Только потом я понял — маркиз пропах тюрьмой... Ну а далее он поведал мне удивительное поручение от принца, которое весьма изумит вас, граф...

Маркиз уже понял, что неприятного разговора не избежать. Он ненавидел Бомарше... Мозг лихорадочно работал. И он придумал молчать. Молчать до конца.

А Ферзен напрягся и приготовился слушать, но Бомарше не торопился. Ему нравилось изводить графа.

— Кстати, как вы думаете, маркиз, почему для своего весьма опасного поручения принц решил избрать вас?

Маркиз молчал.

— Что ж, ответу за вас. Во-первых, маркиз умен. Это очень важно. Ибо, как утверждал мой первый Фигаро: «Ум совершенно не важен, если вы хотите, чтобы служили вам. Но совершенно необходим, чтобы служили вы». И еще?

Маркиз молчал.

— Что ж, опять ответу за вас, маркиз, — усмехнулся Бомарше. — В случае если бы затея, придуманная принцем, раскрылась, маркиз быстро и, главное, навсегда исчез бы в тюрьме. Но была и третья причина. Главная. Принц уже прослышал *про нее. Про ее лицо*. Впрочем, об этом потом. Пусть пока остается загадкой.

Маркиз не выдержал молчания:

— Но графу следует знать, почему я принял тогда предложение принца... Я ненавидел вас, Бомарше. За славу... За то, что вы плоть от плоти этого века, вы — жалкая пробка, не тонущая в волнах времени... Вы никогда не осмелитесь, Бомарше, спуститься в преисподнюю человека... Никогда не отважитесь написать про самое главное, про самое прекрасное и низменное — про пещеру. Пещеру между женскими ногами, эту колыбель, где зачинается безмозглая накипь, называемая человеком. Вы, Бомарше, всего лишь участник человеческого стада трусов, загнавших себя в клетку придуманной ими же морали. И тайно предающихся истинным потребностям, которые сами же объявили пороками. А пещера — путь к истине, в пастушескую долину языческой свободы... Вы, Бомарше, поверхностны и трусливы, как вкус толпы. И за это толпа вас славит. И потому в тайне я надеялся, что дело, которое должен был вам предложить, наконец-то сломит вам шею.

— Сразу видно, — засмеялся Бомарше, — что вы писали в юности нравоучительные пьесы, прежде чем приняться за непристойные романы. Но не забывайте, маркиз, я арендовал вас на два часа для участия в *моей* пьесе. Так что подобные монологи я вычту из оплаченных часов. Но вернемся к пьесе... Итак, явление пятое. Вы тотчас приступили к рассказу о предложении принца Орлеанского... И что же вы сказали тогда ненавистному вам Бомарше? Ваша реплика!

Маркиз молчал.

— Ну что ж, я был готов к этому! Эй, Фигаро! Реплика маркиза. Как она записана в пьесе Бомарше?

Фигаро невозмутимо начал читать текст маркиза:

— «Позвольте сразу к делу, Бомарше. Принц просил передать вам то, что, впрочем, вы и сами отлично знаете. Страна устала от Семьи. Вместо короля нами давно правит продажное окружение во главе с обезумевшей от расточительности Антуанеттой. Дефицит бюджета огромный. Антуанетта затеяла строительство нового дворца, а у крестьян нет денег на хлеб. Страна на пороге бунта. Режим надо ликвидировать как можно быстрее. Пока это можно сделать безболезненно. Иначе всех нас ждет катастрофа. Принц очень надеется на вас...»

— Точнее — на обиду моей задницы, — засмеялся Бомарше. — Bravo, Фигаро! — И добавил, обращаясь к маркизу и молчащему Ферзену: — Поверьте, господа, память не подвела Бомарше... Маркиз, может быть, у вас есть какие-то дополнения, возражения по вашим репликам? Я жду.

Маркиз молчал.

— Возражений нет... Итак, ваша следующая реплика, маркиз... Весьма важная, ибо вы предложили мне... — Бомарше вопросительно смотрел на маркиза, но тот по-прежнему безмолвствовал. — И это запомнили? Ну что ж, Фигаро, продолжай текст забывчивого маркиза.

Фигаро продолжил читать текст из рукописи:

— «Принц верит в вас... как он сам сказал: «В несравненного мастера интриги». Он надеется, что вы, как ваш Фигаро, способны «придумать четыре интриги сразу». Короче, принц хотел бы, чтобы вы создали интригу... столь же остроумную, как тот памфлет о короле, который вы когда-то приписали другому. И столь же разящую. Вы должны скомпрометировать Власть, точнее, уничтожить ее авторитет!»

— Власть — это люди. Кого же именно... считает принц... я должен убить интригой?

— «Но вы уже поняли. Героиней скандала должна стать Антуанетта. Ее ненавидят нация и принц».

— Проклятье, — шептал Ферзен, — страна негодяев!

— Но вы забыли, Бомарше, мою последнюю реплику, — усмехнулся маркиз. — «Принц щедро оплатит вам ваше сочинение».

— Никогда! — вскричал Бомарше в негодовании. — Никогда Бомарше не забывал реплик! Это вы забыли течение событий... Читай же, Фигаро!

Фигаро важно взглянул в рукопись:

— «Явление шестое. Парк у дома Бомарше. Ремарка: «Бомарше и маркиз уже прощались, когда маркиз сказал: «Учтите, Бомарше, принц щедро оплатит вам ваше сочинение». Ремарка: «Бомарше засмеялся».

— Передайте принцу, — подхватил Бомарше, — моя будущая пьеса, как и всё, что выходит из-под пера Бомарше... стоит слишком дорого. Даже для принца крови. Поэтому буду трудиться задаром... Ибо, как вы уже догадались, я собираюсь служить не принцу, но своей обиженной заднице. Так я сказал тогда... И вы ответили?.. Маркиз, не тяните время, подхватывайте, ваша реплика. Она главная для понимания интриги. Внимание, граф! Ну! — кричал Бомарше. — Ну, маркиз!

Но маркиз в замешательстве смотрел на Бомарше и... молчал.

— Автор устал приходить на помощь этому трусу. Эй, Фигаро, текст маркиза. Только умоляю: читай просто, «не крась слова!» Ты не у себя в «Комеди Франсез». У нас Театр Жизни.

— «А теперь я скажу вам главное, Бомарше, — читал Фигаро. — Принц велел познакомить вас с мадемуазель де О. Принц уверен, что она сможет стать главным персонажем в вашей будущей интриге. Завтра я приеду с нею».

— И на следующий день маркиз привел ее ко мне... Она была в маске. Внимание. На сцену выходит... Клянусь, граф, вам следует сейчас собрать все свои душевные силы... Фигаро, выход героини! — обьявил Бомарше.

Слуга торжественно распахнул вишневую портьеру, и обнажилась пустая изуродованная стена — здесь прежде был разрушенный камин.

— Вы помните, граф, — сказал Бомарше, — вы привезли из Швеции великого мастера, который выложил камин в Трианоне, в кабинете Антуанетты. Я нанял его после. И он сделал мне точно такой же... То есть сделал **ложный камин**... Здесь, граф, спрятана маленькая педаль... Достаточно ступить на нее...

Бомарше торжественно наступил на педаль.

Заиграл невидимый клавесин, и под музыку часть стены медленно отъехала в сторону.

За стеной оказалась крохотная комнатка, где при свете свечи в кресле сидела женская фигура.

— Маркиз, который после революции был некоторое время в новой власти, — продолжил Бомарше, — подтвердит вам, что такую же таинственную комнатку национальные гвардейцы обнаружили в Трианоне за ложным камином в кабинете королевы... И узнав, что камин клал швед, справедливо предположили, что в этом тесном жилище не раз прятали другого шведа... Комнатку даже прозвали «Комнатка Ферзена».

Граф хотел ответить что-то негодующее, но не успел.

Бомарше провозгласил:

— Ее зовут мадемуазель де О... Мадемуазель, мы ждем вас.

Женская фигура поднялась со стула.

И Ферзен застыл... В необычайном смятении он смотрел на освещенную догорающей свечой женскую фигуру.

Женщина была в черной полумаске.

— Похожа, не правда ли, граф? — насмешливо продолжил Бомарше. — Маркиз открыл ее в публичном доме в Дижоне.

— Ничего подобного, бордель был в Эмсе, — обидчиво сказал маркиз.

— Мы должны быть точны в мелочах,— обратился Бомарше к Фигаро, и тот молча поправил текст.

— Я увидел мадемуазель в Эмсе в премилом вертепе... Я тогда удачно сбежал от полицейских, конвоировавших меня в мою первую тюрьму в Венсенн... И забрел туда. С этой шлюхой я скрывался целый месяц в моем замке. С ней же меня там и арестовали. Потом она жила в провинции, где, к счастью, мало кто понимал, какое у нее лицо. Но в Бастилии я уговорил коменданта разрешить мне видеться с нею. Когда комендант ее увидел... он, клянусь, бухнулся перед ней на колени... И это он сообщил о ней принцу,— бормотал маркиз.

— И принц, увидев ее, был столь же потрясен,— сказал Бомарше.— Он спрятал ее в Пале-Рояле. Там она ходила в черной полумаске. И никто не мог увидеть ее лица. Ну а затем принц приказал привезти ее к Бомарше... Так я впервые увидел ее. Прочь маску, мадемуазель!

Она молча сняла маску.

— Боже мой,— только и смог прошептать бедный граф. — Боже мой!..

Бомарше презрительно-насмешливо смотрел на него.

— Но этого не может быть...— беспомощно сказал граф.

— Не лучшая, но единственно возможная реплика... Что-то подобное твердил и я, когда ее привел маркиз!.. Да, королева-два! Какие возможности сюжета давало это неправдоподобное сходство. О, драгоценная мадемуазель де О. Так она сама себя назвала.

— Точнее, так придумал я,— не смог промолчать маркиз.— Настоящее имя мадемуазель — де Олива. И она прошла отличную школу у вашего покорного слуги. Она не говорлива. И обожает действовать.

— Обойдемся без скабрзностей, маркиз,— прервал его Бомарше.— И назад в мою пьесу. Явление седьмое. После множества восклицаний я подытожил тогда: «Антуанетта! Вылитая. И даже голос! Невероятно! Виват! Великолепная получается пьеса... Но, маркиз, теперь пора подумать и о другом действующем лице — о мужчине! Изложу его качества, которые необходимы для сюжета. Он должен быть, во-первых, болван...»

Маркиз оживился и вступил в игру:

— Ну, этого добра в Париже...

— Bravo! Именно так вы и сказали тогда. Даже с этой интонацией... «Итак, нужен болван. Но, как вы догадались, очень знатный болван, это во-вторых...»

— Это еще легче, как вы сами знаете.

— Конечно, помешанный на Эросе,— фонтанировал Бомарше.— И, конечно, он, как и все при дворе, должен быть влюблен в королеву. И потому готов на все, чтобы завоевать даму. А она... хотелось бы, чтобы его... недолго любила. И оттого его страсть только распаляется... И еще одно обстоятельство.— Тут Бомарше остановился и торжествующе произнес: — Чтобы он был красив и даже чем-то похож на...— Бомарше засмеялся и посмотрел на Ферзена. — Да, так я сказал тогда... Он должен был быть похож на вас. Чтобы обществу легче было поверить в интригу, которую в тот миг уже придумал Бомарше. И что ответили вы на эти предложения, маркиз?

Маркиз смущенно молчал.

— Фигаро, текст маркиза, который опять решил не помнить.— И, обратившись к графу, неотступно глядевшему на мадемуазель де О., Бомарше прибавил: — Прелесть моей пьесы, граф, в том, что в ней нет ни единой реплики, выдуманной Бомарше. Итак, Фигаро, что же сказал тогда маркиз?

Фигаро углубился в рукопись:

— «Вам нужен «смелый»».

— То бишь развратник,— усмехнулся Бомарше.

— «Вы обратились по адресу. Я знаю всех «смелых» в Париже»,— продолжал читать Фигаро текст маркиза.

— После чего,— перебил его Бомарше,— добрых пару часов мы перебирали бесконечный список развратных глупцов при дворе... и многие могли претендовать... Как вдруг маркиз закричал... Читай далее, Фигаро! Текст маркиза!

— «Проклятье! Как же я забыл! Смелейшего из смелых! Кардинал де Роан — друг моего дядюшки прелата. Болван отменнейший. Но при этом как красив! И как теперь часто бывает с принцами церкви — не отстают от принцев крови... Ремарка: «Здесь маркиз стал воистину вдохновенным, и речь его полилась, как стихи...» О его «петит мезон» близ тамошни Вожирар слагают легенды... на стенах выпуклые фигуры демонстрируют все виды наслаждений. И дамы в лорнет рассматривают их... прежде чем перейти в спальню повторять картины. За ужином в домике кардинала приглашенные женщины сидят непременно нагие... причем дамы из общества голые, но в масках, а шлюхи — без. Ибо кардинал придумал галантный девиз: «Дамы из общества обязаны сохранять элегантность в неприличии и чувство достоинства в разврате». Он все-таки у нас Высокопреосвященство и, следовательно, моралист... Мне рассказала о многих его проделках участница — дешевая уличная шлюха... Так что многие удачные фантазии в моих сочинениях не более, чем пересказ сценок в гостеприимном домике Его Высокопреосвященства... Музыку и пирушки он сделал обычными и в избранных монастырях... Юные монашки посвящены красавцем прелатом во все таинства, изображенные на стенах его «петит мезон». И могут так изнурить вас путешествием в «страну Нежности», что вам уже нечего будет делать в «стране Наслаждения»... Кстати, когда он прибыл в Вену, его дворец называли Гаванью Цитеры... такой рой шлюх туда слетелся. Это заставило скучную мать Марии Антуанетты... старая ханжа беспощадно преследовала разврат в Вене... изгнать кардинала из своей столицы. Так что Антуанетта, верная дочь, ненавидит его».

Бомарше заплотировал.

— «Браво! Вы подлинный соавтор. И герой, и героиня, предложенные вами, превосходны. Браво, мой друг! Я принимаю кардинала де Роана в главные действующие лица. Знаю, этот не подведет! Бомарше, как Создатель, обязан наперед знать, как будут вести себя действующие лица в придуманной им интриге... в его пьесе Жизни... А теперь, маркиз, я хочу немного побеседовать с молчаливой мадемуазель де О... Вы можете вернуться в свою келью в Бастилии». — Засмеявшись, Бомарше добавил: — Если бы вы видели тогда свое лицо!

— Вы меня не поняли тогда, — заговорил маркиз. — Точнее, поняли в пределах пошлой банальности. Для меня ревность — лишь доказательство глупой относительности наших понятий. К примеру, есть племена, у которых в понятие гостеприимства входит предлагать гостям свою жену, как чашку кофе. Где достоинства женщины определяются количеством любовников. За это же, как известно, в Европе женщину презирают, а в какой-нибудь Персии убивают. Так что испытывать ревность смешно для мыслящего. Да, мадемуазель де О. мне бесконечно желанна. Но я отнюдь не буду против, если она по выгоде или по сладострастию будет с вами... Я назову это «милым непостоянством». И на него я плюю. Главное, чтобы **после** она возвращалась ко мне... Но если **после** она не вернется ко мне, вот это я назову «коварной неверностью» и буду страдать... Так что я желаю вам получить максимум удовольствия друг от друга. Однако я хотел бы, чтобы потом она не забывала своего верного старого друга. И я боюсь, что после встречи с нею вы с вашими обычными предрассудками станете препятствовать нашим встречам. Нашим пылким встречам... И ведь так оно и было, жалкий человек!

Бомарше промолчал и сказал мадемуазель:

— Читаем следующую сцену.

Он поднялся и вступил в маленькую комнатку.

Мадемуазель засмеялась и поднялась навстречу...

Они стояли друг против друга. Бомарше молчал, а мадемуазель все смеялась.

И... опустила вишневым занавес.

Теперь Бомарше и женщина были за занавесом. И оттуда глухо, будто из подземелья, зазвучал голос Бомарше:

— В это время я узнал, что в Трианоне готовится премьера моего «Цирюльника»... Какие исполнители! Голова кружилась... Королева играет Розину, брат короля граф д'Артуа — Альмавиву... А Фигаро должен играть граф Водрей... Слова Бомарше из-за занавеса прерывались счастливыми вскриками мадемуазель де О.

Наконец Бомарше, несколько покрасневший, появился из-за занавеса, церемонно ведя под руку мадемуазель де О.

Ферзен задыхался от ярости, и в который раз его рука смешно-нелепо искала эфес шпаги.

— Животное! Жирная старая свинья! — сказал граф, стараясь не глядеть на мадемуазель де О.

Он страдал.

— Я прощаю ваши оскорбления, ибо рождены они законным чувством негодования. И оттого хочу немедленно уточнить, граф. В отличие от маркиза я старомоден. И не допущу ничего непристойного — ни в своих сочинениях, ни в своем доме. Крики восторга, которые так артистично воспроизвела мадемуазель де О., были всего лишь иллюстрацией. Именно их издавала королева, примеряя очаровательный туалет Розины, изготовленный мадам Бертран, — сказал Бомарше примирительно.

— Как она смеет... как смеет... — повторял бедный граф бессвязно.

— Смеет что? — спросил Бомарше. — Быть так похожа на королеву?

И тогда мадемуазель де О. впервые открыла рот:

— У нас республика... на кого захочу, на того и буду похожа...

— Боже мой, — только и смог прошептать граф.

— Вы правы. Даже голос... — сказал Бомарше. И добавил совсем примирительно: — Так что представьте мое состояние... Днем я ездил на репетиции «Севильского цирюльника» в Трианон, где в моей пьесе королева играла главное действующее лицо. Вечером трудился над сочинением другой пьесы, где уже сама королева должна была стать главным действующим лицом. И погибнуть!

— Вы негодяй! — сказал граф.

— Для окончательного выяснения точности этого утверждения мы вернемся к моей интриге. Итак, мне было ясно: мадемуазель де О. в роли королевы должна была появиться в будущем... Но вначале кто-то должен был дать толчок сюжету. Кто-то должен соединить лже-королеву и глупца кардинала! Толчок сюжету, где героем задуман любвеобильный болван, должна дать, естественно, женщина. Ампуа — соблазнительница. Итак, нужна была еще одна роскошная дама... Маркиз не подвел и тут. Маркиз, я жду...

— Да, я нашел и ее, — мрачно пробормотал маркиз.

— Надо сказать, граф, — весело продолжил Бомарше, — эта дама была когда-то подружкой мадемуазель де О. По древнейшей профессии. Отсюда близкое знакомство маркиза с нею. Но при этом она была куда хитрее простодушной мадемуазель де О. И еще большая сочинительница. Она придумала, что происходит от потомков исчезнувшей династии наших королей. От некоего незаконного отпрыска Генриха Второго Валуа, впавшего в жестокую бедность. И за небольшие деньги обзавелась соответствующими документами. Она называла себя госпожой Жанной де Валуа и носила титул по одному из бесчисленных мужей — графиня де Ла Мотт. Когда я впервые увидел ее... рот чувственный, пожалуй, слишком велик... нос тонкий, орлиный... пожалуй, несколько хищный... но глаза, в пол-лица горящие огромные глаза... прекрасные белокурые волосы. И главное — роскошное узкое тело... а какие плечи!.. Жанна де Ла Мотт не была красива, граф, она была больше — обольстительна. Я сразу понял: герой пьесы получил достойную героиню.

Итак, сейчас на сцену выйдет новое действующее лицо. Как вы знаете, граф, реальная Жанна де Ла Мотт вот уже пять лет как гниет на кладбище. И я вынужден воспользоваться услугами мадемуазель де О. Она сыграет нам и эту роль. Эй, Фигаро!

Фигаро с поклоном передал мадемуазель де О. несколько листов пьесы.

— Итак, место действия, — начал Бомарше, — «петит мезон» кардинала де Роана у заставы Вожирар. Явление восьмое — госпожа де Ла Мотт и кардинал. Она насмешливо осматривает картины на стенах и говорит... Мадемуазель, ваш выход!

Мадемуазель де О. читает текст:

— «На стенах у вас изображено множество дам. Целый гарем. Но учтите, Ваше Высокопреосвященство, я одна могу заменить вам весь ваш гарем. Однако к вашему гарему никогда принадлежать не буду».

— Не самая плохая реплика, — сказал Бомарше. — Это я велел ей так начать, чтобы сразу поставить себя в особое положение... Далее! Исполни ремарку!

Мадемуазель де О.:

— «Ремарка: Она подошла к кардиналу и молча посмотрела ему в лицо, потом улынулась и...»

Мадемуазель де О. подошла к Ферзену. Посмотрела на него.

Граф, побледнев, что-то шептал.

И тогда, усмехаясь, мадемуазель де О. взяла в руки его лицо и поцеловала. Граф слабо отбивался... Еще поцелуй... и еще...

После чего она со смехом оттолкнула графа.

— Что... что это значит, сударыня? — нелепо спросил граф.

— Какой странный вопрос, — сказал Бомарше. — По-моему, это поцелуй. Согласно ремарке. Это движется моя интрига. Сейчас вы всего лишь исполнили роль кардинала де Роана, который на вас так похож... Но в отличие от вас кардинал, естественно, не был строг. И после поцелуя немедля начал выполнять роль, которую уготовил ему Бомарше. Он тотчас оказался в постели с Жанной де Ла Мотт. Кстати, маркиз, каков был поцелуй? Вы же знаток.

— Это довольно скучный, так называемый «флорентийский поцелуй», — ответил маркиз. — Она была весьма деликатна с движениями рук во время поцелуя. А положено в это время пустить в дело нежную ручку, как учил тебя твой Обезьян. Так меня в порыве нежности часто называла мадемуазель де О... Отчего мне хотелось ее задушить.

— И еще, — Бомарше обратился к графу, который по-прежнему пребывал в прострации, — милый граф, мадемуазель де О., исполняя роль де Ла Мотт, имела полное право вас поцеловать. Ибо между утехами любви Жанна де Ла Мотт, по моей просьбе, начала вдалбливать глупцу кардиналу, как он похож на вас! И кардиналу, естественно, пришла в голову мысль: если вам, скучному шведскому графу, удалось забраться в постель к королеве, то ему и все карты в руки. Он так же красив, белокур, высок и строен, как вы. И к тому же потомок первых семей Франции. И тогда кардинал, кстати, в это время весьма сильно поистратившийся, впал в приятные мечтания: как бы ему стать таким наследником кардинала Мазарини, любовника королевы Анны Австрийской. Стать другом плоти и сердца другой австриячки, Марии Антуанетты, и получить доступ к французской казне.

— Вот она, справедливость в этом мире! — печально сказал маркиз. — Мечтать овладеть прекрасной женщиной, чтобы получить власть и потом ограбить казну. Но за это тебя почитают, награждают орденами... Я же только хотел бескорыстно любить и наслаждаться, причем самыми утонченными способами. И меня за это всю жизнь сажали в тюрьмы, в дома умалишенных... Сумасшедший мир... Нет, с меня довольно!

И маркиз демонстративно начал дремать.

Бомарше поднялся с кресла и церемонно передал Ферзену несколько листов:

— Это ваше! Роль кардинала де Роана. Удачливый любовник будет играть роль неудачника, столь на него похожего.

Ферзен побледнел:

— Я здесь не для того, чтобы участвовать в комедии!

Бомарше улынулся:

— Вы здесь для того, чтобы убить меня. Я помню.

— Да нет, скорее вас обоих,— сказал граф.

— Возражаю,— пробудился маркиз.

Бомарше засмеялся:

— И маркиз прав! Вы спешите... Ибо, как вы узнаете далее... убивать надо не двух, а **трех** губителей... Их было трое!.. Что же касается «участвовать в комедии»... как вы опять же узнаете далее, я много раз заставлял вас делать именно это. Правда, бессознательно... Теперь, когда я прошу вас сделать это сознательно, вы негодуете. Поверьте, я лишь прошу вас помочь нам все вспомнить... И побыстрее узнать о **третьем**.

Ферзен швырнул листки на пол.

— Что ж, ваша воля,— сказал Бомарше.

Мадемуазель де О. нагнулась и, смеясь, подняла листочки. И это было **то движение**, полное грации и **так хорошо знакомое графу**... Согнутый стан Антуанетты... Несчастный Ферзен все следил за ней, не мог оторваться.

Фигаро деловито забрал листочки у мадемуазель, аккуратно вложил их обратно в красный переплет.

Бомарше перехватил взгляд графа.

— Да, и грация, и движения, и даже манера смеяться... Какова шутка природы. Живая Антуанетта, не правда ли?.. Расскажи графу, что ты чувствовала в день, когда казнили королеву. В это время, граф, она была в Дижоне. Естественно, в чьей-то постели.

— Мне стало плохо,— засмеялась мадемуазель де О.,— у меня пошла кровь горлом, никто не мог остановить ее, сударь.

Бомарше добавил:

— Ее кавалер в тот день был по уши в крови, буквально плавал в кровавой постели... Однако вернемся к пьесе... Итак, я продолжил создавать свою Пьесу Жизни. Первый акт явно шел к удачному концу. Де Ла Мотт уверила кардинала, что она находится в самой нежной дружбе с королевой. Принц Орлеанский заказал поддельные письма королевы к де Ла Мотт... Их и показали кардиналу. Мы устроили ему превосходное зрелище. Из своих окон он увидел, как де Ла Мотт после их бурной ночи села в подъехавшую карету. И в окне кареты потрясенный кардинал различил лицо королевы!.. Излишне говорить, это была наша мадемуазель де О. Она нежно помахала ему рукой... Кардиналу объяснили, что это аванс... Поверил. Первый акт был успешно сыгран. Далее я мог предоставить событиям развиваться своим чередом. Главное в пьесе — правильно придумать характеры. И тогда им можно довериться. Интригу они не испортят...

— Какая скука,— зевнул маркиз.

— Потому что спите не вы, а ваше воображение. Вы забыли — одновременно разыгрывалось другое действие. Я ездил в Трианон на репетиции «Севильского цирюльника». Этот маленький театр в Трианоне. Божественная шкапулка из мрамора, золота, бархата и зеркал... И на сцене королева, играющая Розину. Вы должны, маркиз, оценить наваждение. Днем я видел королеву в платье Розины, а ночью шлюха с лицом королевы снимала очень похожее платье и спала со мной. В театре я ей кланялся и служил. А в постели... Она была вашей достойной ученицей... Кстати, Казанова называл это «венцианские любовные сумасбродства». И днем, когда мы репетировали с другой королевой, я поневоле иногда забывался... Два лица сливались. И королева ловила в моем взгляде отнюдь не только почтительность.

— Еще слово...— глухо сказал Ферзен.

— Оно будет последним. Аморфная реплика. К тому же вы ее уже говорили. Но, признаю — виноват. Обещаю впредь щадить ваши чувства. Мадемуазель, текст королевы!

Фигаро с поклоном протянул мадемуазель новые листы, и она начала читать нежным, звонким голосом:

— «Как я играю, дорогой Бомарше?»

— «Ваше величество, вы играете по-королевски», — церемонно ответил Бомарше. И продолжил, обращаясь к графу: — Вы, конечно, помните, граф, гордая королева, к моему изумлению, обожала играть пастушек, субреток, даже горничных. Я осторожно спросил ее об этом. И она так объяснила: «Я отдыхаю в этих ролях, мосье Бомарше. Ибо с первого дня в Париже я жертва ужасного Этикета... Этикет правит этим вычурным двором... Когда я приехала, помню, была зима. Первое утро в Версале. Холодно. Я только встала. Фрейлина уже приготовила мне теплую рубашку. Я вылезла из постели, протянула руки, чтобы ее взять, но... Но не тут-то было! В этот момент вошла герцогиня Орлеанская, и мою рубашку мимо моих протянутых рук фрейлина отдала ей! Теперь герцогиня с тем же почтительным поклоном протягивала мне спасительную рубашку, но... но тотчас отдернула руки... потому что следом за ней вошла жена брата короля, и моя рубашка перекочевала в ее руки. Стуча зубами от холода, я разревелась. Я решила, что надо мной издеваются. Оказалось, Этикет! Первая фрейлина имела право подать мне рубашку, *только* если в гардеробной не было принцессы королевской крови. Но и та должна была уступить это счастье ближайшим родственникам короля. Помню, я причитала в ужасе: «Боже мой! Какой кошмар! Какая несусветная глупость!»

— Ужас... Ее голос... — не уставал шептать несчастный Ферзен. Поймав насмешливый взгляд Бомарше, только сказал: — Негодяй.

— Вы и это уже говорили. Но я просил не спешить с выводами. Подождать конца нашего скоморошьего представления. Ибо в это время второй акт моей пьесы уже начался. Ко мне вновь привезли маркиза. Маркиз, как ваша память?..

Маркиз безмолвствовал.

— Фигаро, помогай стыдливому маркизу. Текст! — нетерпеливо сказал Бомарше.

Фигаро продолжил степенно читать:

— «Принц беспокоится: что с интригой?»

— «Передайте принцу: пьеса уже сочинена».

— «Я не сомневался, ибо в подобном вы мастер. Но принц сомневается и хочет узнать ее содержание».

— «Пьеса не интересна в пересказе, пьесу следует смотреть на публике. И вскоре принц увидит ее вместе со всей Францией», — сухо сказал Бомарше. — А пока отыгран только первый акт. К сожалению, я не смогу порадовать принца разнообразными подробностями, весь первый акт протекал однообразно — в постели кардинала... Но второй акт... о, второй акт. — Бомарше потрясал руками. — Но для развития интриги мне необходимо узнать... о самой дорогой драгоценности, которая сейчас продается в Париже».

Маркиз засмеялся:

— Я знал, вы придумаете именно этот ход... Деньги и драгоценности движут банальную интригу...

— Я не прошу вас рассуждать *сейчас* маркиз. Я прошу вас вспоминать ваши реплики *тогда*, — сухо сказал Бомарше. — Но, видимо, тщетно.

Маркиз молчал.

— Текст маркиза, Фигаро.

Фигаро:

— «Я все передам Его Высочеству. Встретимся утром, сударь».

— Вот так, граф, — сказал Бомарше. — Я ждал маркиза все следующее утро, весь день. Тщетно. Только поздним вечером карета с опущенными занавесками привезла ко мне маркиза.

Фигаро читает текст маркиза:

— «Я позволил себе посетить по дороге ряд любимых заведений и несколько задержался... Да! И не надо недовольного лица. Должен и я что-то получать за услуги принцу... Итак, вам опять везет, Бомарше... Есть! Потрясающая драгоценность! И цена безумная! Это ожерелье! Принц держал его в руках и считает самым совершенным в мире творением ювелиров. Покойный

король заказал его для графини Дюбарри... Ожерелье фантастическое. И по красоте, и по цене. Но они закончили работу над ожерельем, когда наш щедрый король, увы, преставился. Теперь они не знают, кому его сбить, ибо цена баснословна, а новый король благодаря супруге сейчас совершенно без денег...»

— Все-таки она несравненна, — прервал Бомарше. — Мотовка Антуанетта умудрилась пустить по ветру богатейшую казну Европы. Потребности этой дамы сделали то, чего не сумели сделать все войны. — И, помолчав, Бомарше добавил: — Что ж, спасибо, это именно то, что мне нужно. Для окончания сюжета... Тем же вечером я встретился с де Ла Мотт. И уже следующей ночью она с вдохновением разыграла сцену... Мадемуазель, текст Жанны де Ла Мотт.

Мадемуазель де О.:

— Но в пьесе сказано: «Они лежат в кровати».

— Кардинала нет в Париже, а граф слишком скромен, дорогая, — улыбнулся Бомарше. — Но дело происходило именно в кровати. В ней, в перерывах между порывами страсти, в капелях любовного пота и была зачата интрига, которую придумал я, Бомарше, и которая погубит королевскую Францию. Мадемуазель де О. придется одной представить нам всю сцену между Жанной и кардиналом. Текст, милашка!

Мадемуазель де О.:

— «О, Ваше Высокопреосвященство... как она мечтает о нем, бедняжка Антуанетта... Она бредит ожерельем...»

— Нет, тысячу раз нет! — вскричал Бомарше. — Ты забываешь демонстрировать любовную страсть. Я имею право увидеть свое творение хорошо сыгранным. Может быть, я вижу его не только в первый, но в последний раз. — И добавил, помолчав: — Не так ли, граф?

Но граф не слышал, он не мог оторвать взгляда от мадемуазель де О.

Бомарше усмехнулся и продолжил колдовать: громко шептал на ухо мадемуазель де О.:

— Больше стонов, любовной истомы, но в паузах — дело, дело и дело!.. Итак, начали! Текст, мадемуазель! И стоны страсти!

— «О... о... — добросовестно застонала мадемуазель де О., глядя в текст де Ла Мотт. — Королева мечтает об этом ожерелье, Ваше... о!.. о!.. Высокопреосвященство. Но, конечно же, король ни в какую... О!.. О!.. Антуанетту, Ваше Высокопреосвященство... о!.. о!.. уже называют «Мадам Дефицит»... за безумные траты из скучного бюджета. А она... о!.. так она мечтает... о!.. о!.. любимый, не торопись... так!.. так! Я знаю, что у вас нет денег. Но вы возьмите ожерелье под долговую расписку, ювелиры поверят слову кардинала... О!.. О!.. А она... вскоре она... деньги... о!.. о!.. так!.. так!.. о!.. она, конечно, выбьет их из короля... О!.. О!.. Она не позабудет этой вашей услуги... О!.. О!.. Она все вам скажет сама. Уже завтра ночью!.. О!.. О!..»

— Bravo! Можно перестать стонать, мадемуазель. — Бомарше содрогался от смеха. — Главное было сделано в ту ночь. Болван кардинал... этот токующий тетерев... согласился достать ожерелье за невероятное — за обещание встречи с королевой ночью в Версальском парке...

— Вы мерзавец! И я непременно убью вас сегодня. Мерзавец! — повторял Ферзен. — Я сразу начал догадываться!.. Уже тогда *всё почувствовал*... И понял!

— Я не был бы Бомарше, граф, коли зритель мог понять *всё* уже в начале второго акта. Не спешите, граф. Ведь самое интересное, неожиданное... как и положено в хороших пьесах... оно впереди, — смеялся Бомарше. — Весь день, граф, я готовил мадемуазель де О. к встрече с кардиналом. Точнее, всю ночь. Я вдальбивал красоте одно и то же: «Ты встретишь его в Роше с канделябрами... протянешь руку, дашь ее поцеловать. И все! Ты поняла? И ничего *более*... После этого мой слуга Фигаро громким шепотом прокричит из кустов: «Ваше Величество, сюда идет граф д'Артуа!» Услышав о приближении брата короля, ты, конечно же, с возгласом: «Я погибла!» — опрометью бросаешься прочь из роши... И помни — ничего *лишнего*! Зная тебя, повто-

ряю — ничего *лишнего*. Не забывай: ты — королева. Разрешишь поцелуй руки... и всё!»

— И всё,— несколько потупясь и вздохнув, сказала мадемуазель де О.

— Так она обещала, граф,— зло сказал Бомарше.— Но я забыл, что это было обещание шлюхи! Играть сцену, мадемуазель. Надеюсь, вы изобразите нам правдиво все, что случилось... Итак, акт второй. Явление первое. Версальский парк. В надвинутом низко капюшоне мадемуазель де О. появляется в Роше с канделябрами. Шелест фонтанов в темноте. Полная луна. В свете луны мерцают бронзовые канделябры. Кардинал де Роан в маске и в черном плаще.

Мадемуазель де О. встает и грациозно, почти танцую, идет по комнате.

— Туанетта,— шептал бедный граф.

Мадемуазель де О. подходит к графу и величественно протягивает ему руку для поцелуя, и граф покорно целует.

— Оставьте, оставьте меня... я вас прошу,— жалко сказал граф.

И тогда Фигаро, дотоле молча стоявший в дверях, заговорил громким шепотом:

— «Ваше Величество, сюда идут! Граф д'Артуа!»

Мадемуазель де О. вопросительно посмотрела на Бомарше.

— Играть! Как тогда! — яростно сказал Бомарше.

— Но тогда был он... А этот... — она удержалась от ругательства,— не хочет!

— Представьте того и действуйте! Как *тогда*,— яростно сказал Бомарше.

И мадемуазель де О. яростно впились губами... в пустоту!

— «Ваше Величество, вы погибнете!» — мрачно и заученно повторил Фигаро.

Мадемуазель де О.:

— «Быстрее, кардинал!.. О!.. О!.. О!..»

Маркиз тотчас проснулся.

— И Фигаро не посмел ее оттащить! — сказал Бомарше.— Проклятая шлюха! Я был уверен, что все кончено, и кардинал заподозрил. Не мог же он поверить, что королева Франции в первый же миг... Но идиотом оказался я. На следующий день кардинал говорил де Ла Мотт... Фигаро, текст кардинала!

Фигаро:

— «Я ваш должник до гроба. Благодаря вам я вкусил райское блаженство...»

— Какая скука,— сказал маркиз.— У всех порядочных животных есть брачные игры. Ну хоть капельку воображения. Хоть немного...

— Садизма! — засмеялся Бомарше.— А дальше они действовали, как и хотел Бомарше. Как он задумал! Кардинал взял ожерелье у ювелиров под долговую расписку и отдал его де Ла Мотт для королевы. Де Ла Мотт тотчас передала ожерелье своему муженьку, который и сбежал с ним в Англию. Теперь осталось только намекнуть ожидавшим деньги ювелирам, что их попросту надули. И никаких денег они теперь не получают, ибо у кардинала их попросту нет. Я называю это кульминацией пьесы! А далее — развязка интриги. Зная пылкую Антуанетту, я был уверен: кардинала призовут к ответу. Он расскажет, как встречался с королевой. Обман, конечно, выяснится, но... Но в него никто не поверит. Толпа обожает верить подлым слухам. Читайте мой монолог о клевете в «Цирюльнике»... Напротив, все радостно поверят, что королева ради ожерелья встречалась с кардиналом... Грязь и сплетни польются на династию, престиж королевской власти вывалит в грязи под хохот моих Фигаро! Об этом я рассказал маркизу, который аккуратно все передал принцу. Ваш текст, маркиз!

— Довольно,— прервал Ферзен.— Что было далее, я знаю из письма маркиза.

— Не знаете,— усмехнулся Бомарше.— Не знал и ваш доносчик, маркиз. Да и сам автор не знал, что случится далее. Это происходит только в великих пьесах: главный персонаж, то бишь Бомарше, совершенно вышел из подчинения

ния сюжета. И грозил разрушить интригу. В тот день королева репетировала сцену Розины и графа Альмавивы... И хотя самонадеянно верю, что вы, господа, помните мою знаменитую пьесу... все же напомяну ее содержание: граф Альмавива выдает себя за бедняка по имени Лидор, чтобы проверить чувства Розины... В тот день игравший Альмавиву граф д'Артуа захворал и не явился на репетицию. И я сам подыгрывал королеве. Театр был пуст, и мы были одни в этой маленькой драгоценной шкатулке.

Бомарше церемонно обратился к мадемуазель де О.:

— «Ваше Величество! Сегодня мы репетируем явление шестое. Розина и Альмавива одни. Не сообразовали ли начать со слов «знатность, имущество».

Мадемуазель де О.:

— «Знатность, имущество! Не будем говорить об этих случайных дарах судьбы».

Бомарше:

— «Ваше Величество, я осмелюсь сделать маленькое замечание. Этот текст Розина говорит страстно. Ибо в это время граф ее обнимает. И его прикосновение ее волнует... я бы осмелился сказать — жжет!»

— «Ну и что же вы? Обнимайте!»

— И я посмел.

Бомарше почтительно обнял мадемуазель де О.

Мадемуазель де О.:

— «Не смейте, низкий вы человек. Узнай: я тебя любила, почитала за счастье разделить твою горькую судьбу... я готова была бросить все и пойти за тобой, но ты...»

Бомарше:

— «Теперь я вижу, что ты любишь меня по-настоящему, моя любимая, теперь мне нечего тебя обманывать. Я не Лидор, я граф Альмавива, который умирает от любви к тебе».

— «Что же вы остановились, Бомарше?»

Бомарше (печально):

— «Здесь ремарка, Ваше Величество: «Он целует ее».

— «Совершенно верно... Придется ее вычеркнуть. И так обо мне судачат на всех углах. Если же я поцелуюсь на сцене с графом д'Артуа... нет, нет! И объятие, к сожалению, тоже вычеркните».

— «И что же останется?»

— «Игра по-королевски».

— Здесь королева засмеялась, но печально, — сказал Бомарше. — Я смотрел на это лицо, которое столько раз видел ночью, на тело, скрытое платьем, но которое я так хорошо знал... и тогда-то я и сказал себе то, что сказать не смел, но понял давно: я люблю эту женщину! Которую так ловко придумал завлечь в сети. И еще. Я мучительно хочу уничтожить мою пьесу, мою интригу, которая так великолепна... Вот так главный герой по имени Бомарше взбунтовался. На следующий день вечером должны были прийти ювелиры объясняться с Антуанеттой. И я решил ей все сказать до этого. Я понимал, что она не простит никогда. И это будет мой конец. Скорее всего тюрьма... Но я решил умолять ее помиловать... нет, не меня, а кардинала... Чтобы затоптать готовое разгореться пламя — эту историю, которая должна была ее погубить.

В тот вечер шла последняя репетиция. Завтра играли премьеру. Как она была хороша в костюме Розины! Воистину «королева рококо».

Мадемуазель де О. (читает текст королевы):

— «Как я выгляжу, Бомарше?»

— «Я уже говорил. Вы королева во всем».

— «Нет, нет, вы мне просто льстите. Потому что, если я так хороша... почему бы вам не добавить мне немного текста. У Фигаро восхитительные реплики, а у меня одни вздохи. И вообще, целый ряд реплик Фигаро в пьесе можно вполне передать Розине. Пусть она будет умнее».

— «Ваше Величество, вы читаете мысли. Вы знаете, я как раз и хотел передать вам мой любимый монолог о клевете. Я его переделал специально для вас».

— «О клевете? Но это скучно».

— «Я все-таки прочту: «Нет такой пакости, выдумки, самой нелепой, на которую не клюнула бы толпа. Надо только отыскать знаменитое лицо. Ибо без достойной мишени нет достойной клеветы. Лицо подобрано! Теперь начинайте. Легкий, я бы сказал, еле слышный шум сплетни, некое пьяно, и уже чей-то ловкий рот с готовностью подхватил клевету о знаменитости — и сунул ее в уши людям. Зло родилось и растет, клубится — и вот уже крещендо всего общества...»

— «Нет, нет и нет! Милый Бомарше, это слишком серьезно для женских уст. Типичный скучный текст мужчины. А я жду от вас что-нибудь о любви. И еще пару новых изящных куплетиков для пения».

— «Ваше Величество, монолог не так плох, поверьте. И порой сгодится и для женских уст. Я мечтал бы вас в этом убедить. Именно поэтому я прошу у вас аудиенции. Я хотел бы раскрыть вам некий секрет...» Как она оживилась: «Обожаю секреты! Завтра после репетиции я жду вас в чайном павильоне. Если доживу до завтра и не умру от любопытства!» Да, граф... Она была обворожительна, грациозна и этот ее смешок... Она была актриса. Лучшая актриса из всех, кого я знал.

— Замолчите,— сказал граф.

— Не могу, мы переходим к самому важному для вас.

— Какая старомодная банальность — влюбиться в актрису, которая у вас играет. Рассуждать о ролях в постели... бр!..— засмеялся маркиз.

— Вечером экипаж подвез меня к Трианону,— начал Бомарше.— Швейцарский гвардеец провел меня в павильон. Я обожал этот парк, который создала маленькая богиня. Сады, куда свезли деревья со всего мира. Эти голландские хижины, где она и все «наши» играли в идиллию, сочиненную господином Руссо, которого они не читали. Она как-то сама простодушно сказала: «Я не читаю книг». А там, уже за стенами Трианона,— глухие, нищие деревни... Но что удивительно. Я был в Трианоне вскоре после того, как восставшая толпа увезла в Париж всю королевскую семью. Еще ничего не было разрушено, но Трианон... стал мертв. Оказалось, что это всего лишь унылый маленький дворец с парком не самого хорошего вкуса. Потому что все это была декорация, которую оживляла одна актриса, игравшая на этой природной сцене среди деревьев и воды и делавшая Трианон божественным... Однако явление шестое. Бомарше и королева. Нам накрыли в павильоне. На камине стояли два бокала дивной красоты. Я тотчас понял — она отлила их по форме своей груди. Ибо хорошо изучил грудь мадемуазель де О.

Эта фраза развеселила мадемуазель:

— Надо же, мои груди стояли во дворце!

— Милая, веселитесь потом, а сейчас читайте текст королевы!

Мадемуазель де О.:

— «Ну, подавайте ваш секрет, Бомарше».

— «Итак, Ваше Величество, о секрете... Впрочем, секрета особого нет».

— «Нет? А чего же я дожидаюсь?»

— «Я просто пришел предупредить вас».

— «Надеюсь, не о серьезном. Достаточно серьезных писем, их ежедневно пишет мне моя любимая мать».

— «И все же я обязан предупредить вас о серьезном».

— «Мой любимый драматург! О серьезном я говорю с королем, и то очень редко. С вами я хочу говорить о сцене. Вы не льстите? Вы правду говорили, что я неплохо играю?»

— «Клянусь, вы лучшая Розина на свете».

— «Тогда вы должны мне немедленно помочь. В начале я выхожу в светленьком желтеньком платье... такой цвет нынче моден, в обществе его назы-

вают «цвет каки наследника». Но мадам Бертен принесла вчера сиреневое, совершенно божественное платье и тоже для первой сцены. Но желтенькое я терять не хочу... Мой дорогой, любимый драматург, придумайте, сочините еще одну сцену для желтенького...»

— «И все-таки. Ваше Величество, я должен вам сказать... я обязан вам сказать...» — Бомарше остановился и сказал, обращаясь к Ферзену: — И вот на этой реплике вошли вы, граф. Без доклада, как член семьи. Она вас не видела и всё, смеясь, смотрела на меня. Но вы... С какой невыразимой гадливостью вы взглянули на меня. И тут наконец-то она увидела вас. И тотчас торопливо встала из-за стола, очаровательно покраснела и выжидающе глянула на меня: когда же я откланяюсь! Когда же она останется с вами!.. «Хорошо, Ваше Величество... Я подумаю, как сделать разнообразнее вашу роль. Само предложение — большая честь для меня».

И Бомарше с необычайной грацией показал, как он откланялся, метя землю воображаемой шляпой.

Мадемуазель де О. (читает текст королевы):

— «Этот Бомарше очень мил, но уж очень говорлив».

Бомарше:

— Вы пропустили ремарку.

Мадемуазель де О.:

— «Ремарка: «С усталым пренебрежением».

Бомарше:

— Граф, ваш текст. Надеюсь, помните ваши первые слова, я их услышал уже уходя, уже в дверях?

— Я не только помню, я с удовольствием их повторю: «Я не могу понять Ваше Величество. Мало того, что вы играете пьесу этого подозрительного типа, который убил в Испании человека, любившего его сестру... о котором говорят, что он отравил собственных жен, что он тайно писал пасквили на вас и короля и пытался продать их вашей же матушке и, наконец, сидел в тюрьмах...»

— Заметьте, за каждое из этих слов я должен был вызвать вас и, поверьте, убить. Но я не сделал этого. Знаете почему? Слишком много страсти. Вы ревновали, граф, к жалкому бумагомараке. И она именно так и поняла и повела себя, как и положено... Мадемуазель, выполняйте ремарку.

Мадемуазель де О.:

— Охотно.

Она подходит к графу и, усмехнувшись, внезапно хищно целует, впиваясь в рот. И бедный граф опять ответил на поцелуй. И опять запоздало оттолкнул хочущую мадемуазель.

— Вот за этим окончанием сцены я наблюдал уже из-за деревьев. И успел услышать последнюю примирительную реплику.

Мадемуазель де О.:

— «Ну хорошо, хорошо... если вам неприятно, я более не приму наедине этого господина дурного тона».

— И все-таки я решил завтра же ей все рассказать... Но в тот вечер я поехал на маскарад в Опера. Я обожал маскарады. Здесь под масками все были равны. И прелестная кокетка, и герцогиня... И, пробиваясь через толпу масок, я увидел мадемуазель де О. Она кружилась в некоем безумном танце с высоким пиратом. Я подкрался сзади и обнял ее. И прошептал то, что мечтал сказать совсем другой: «Хочу впиться губами в губы, сойти от этого с ума. И каким было бы счастьем, если б мог в охватившем меня бешенстве сожрать вас живьем... не отравить никогда своих губ от ваших».

Она обернулась. И я услышал гневный голос королевы: «Вы сошли с ума, Бомарше. Да как вы смеете!»

Какое презрение, какая брезгливость были в ее голосе! И в следующее мгновение я был отброшен от нее высоким «пиратом», в котором узнал вас, граф. Я поскользнулся на скользком от человеческого пота паркете и упал. «Боже мой, ради Бога простите, Ваше Величество, я обознался, я перепутал»,—

жалко шептал я на полу. Вот так, лежа на паркете, граф, я воочию лицезрел то, что доносили слухи. Оказывается, королева Франции, безумная в жажде развлечения, ночами удирает из Версаля, чтобы в Париже до утра танцевать до упаду... Но даже здесь, смешиваясь с подозрительной толпой, она никогда не могла понять сердцем моих слов, которые так прилежно произносила на сцене: «Знатность, имущество! Не будем говорить об этих случайных дарах судьбы...» Теперь я чувствовал ярость, я хотел ее унижения. Вот так она не дала главному герою погубить совершенное творение. Вернула его в интригу! Пьеса теперь могла быть доиграна до конца! И была доиграна, как задумал Бомарше: приход ювелиров, ярость королевы, арест кардинала и суд, погубивший авторитет династии. И стала, как пишут теперь в учебниках, «началом Французской революции». Началом царства Фигаро... Занавес, господа!

Фигаро аккуратно уложил рукопись в секретер, стоявший у кровати. Потом вынул из кармана губную гармошку, издал несколько веселых звуков и громогласно объявил:

— Антракт.

(Окончание следует.)



Татьяна АНДРОНОВА

Обгоняет нас буря века

* * *

В высокой глубине,
за звездами, за далью,
где тайна жизни —
будто жизнь сама,
всей мощью власти
с божеской моралью,
всей непреклонностью
небесного ума
внушает Некто нам
душевные стремленья
для счастья воздвигать
земные терема,
от постоянства вновь
к безумью обновленья
(желанье перемен
в тумане волшебства!).
Но этим Он лишь часть
условностей являет!
Преобразив в завет
законы естества
(для утешенья — всем,
смиренья, разделенья!),
затмив от нас свои
зловещие права,—
и дни прядет,
и годы расставляет...

2000

* * *

Огромное русское небо
раскинулось с роскошью древней
над полем насущного хлеба
и нищей, безлюдной деревней.

Темнеют столетние крыши,
торчат закопченные трубы,
как будто велением свыше
терзали людей душегубы.

В небесных высоких провалах
предписано это решение,—
в земных лабиринтах и скалах
хранится завет утрашенья!

Темнеют убогие стены,
торчат закопченные трубы,
здесь снова (как прежним на смену!)
другие прошлись душегубы.

2000

* * *

Жестокое время свободы
гуляет по улицам вечным.
Ба! Те же народы
и те же невзгоды
по тем же кругам бесконечным!

Две жизни (и десять) в границах —
несовместимых и разных,
как нравы, стремленья и лица...
Наивная наша страна,
смотри, здесь повсюду — война!
Здесь новая жизнь вершится
толпой мироедов проклятых —
из небыли будто изъятых
безумцев, лжецов безотказных,
воров и воришек лабазных
и дружб неотвязных!
Их много — судьба не видна!
Лишь ненависть вечно — одна.

2000

Сочельник детства

Бушует метель, и подвижная светлая мгла
заполнила воздух. Сквозь белый завес —
серебряный столб над сугробами, будто стрела
слетела из бездны заснеженной, тусклых небес.
На мертвом пространстве лишь зимняя песня
слышна,
да пестрою лентой колышется лес,
да серым пятном провисает луна.

Откроем же дверцу каленой крестьянской плиты
и скажем друг другу: «Прекрасный камин!
Иного не надо!» Среди белизны-темноты
уютно трепещет огонь, беззвучно съедая поленья,
и падает ровный оранжевый клин
от лампы — на стены, приятно его появленье,
и кажется, это блуждающий луч
спустился по ключьям невидимых туч,
чтоб скрасить земное мгновенье!

И снежный сочельник приносит игривый испуг —
 тепло и нарядно в лачужке, и свежая сдоба
 свой дух расточает над бедным, дощатым столом,
 где видимость праздничной жизни без всяких наук
 и данность во времени даже — метельная злоба!
 Здесь кто-то явился и легкое счастье вдохнул,
 чтоб нам оставалась хоть тень заговорного чуда,
 здесь кто-то витает таинственно и белоснежным крылом
 (мы знаем его осторожный, могучий излом)
 у стекол туманных взмахнул;
 здесь кто-то улыбчивым ликом к окну ледяному прильнул,
 из недр воздушных возникнув — из ниоткуда,
 и щедро наполнил лачужку сияньем —
 сияньем и блеском! — стеклянных шаров и снегов
 на веточках ели, поставленной, как изваянье...

Январь отбушует, за ним лицемерный февраль —
 кривые дороги, последние страсти свободы,
 а там уже скоро апрель — очищение лесов и лугов
 (листвы изумрудный дымок, небес голубая эмаль),
 расцвет и спокойная властность природы.
 Но мы — неизменны! Мы — сборище разных, взаимных
 врагов.

И люди не любят друг друга,
 и грабят друг друга,
 и бьются друг с другом все люди и страны — народы!
 2001

* * *

В словах возвышенных есть истина
 одна —
 в них вера и надежда, утешенье
 на древние и новые (любые)
 времена...
 В них жуть забвенья и молитва —
 украшение
 земного мира, как глоток вина
 и как нектар для пламенных богов,
 создавших нас в одном ряду
 с другими
 (с другими тварями и только
 без клыков),
 но с ядом разума и жаждой
 круговертья
 богатства, власти, подвигов, свободы
 в жестокой доблести с мечтаньями
 благими
 (и самым жгучим — это о бессмертье!).

Вот смысл множества возвышенных
 печалей!
 Своей любви! И общей жизни!

И тайн возвышенных! И непроглядных
 далее,
где образ времени меняют времена,
где уничтожены великие народы,
где обворованы великие народы,
где позабыты целые народы,
отторгнуты, как в небыль, племена,
и нет названия погубленной
 отчизне,
судьба которой — за войной
 война
да краткое восшествие предтечи!
Все пронеслось, и все легендой
 стало
(явление старинной устной речи,
волшебное окно для сказки и былины),
все пронеслось, и все легендой стало
или — ничем! Лишь песней заунывной
 (как сквозняки равнины)...
И в музыку тягучую веками она слова
вживляла и вплетала,
когда-то сочиненные впервые при золотистом
отсвете лучины.

2000

* * *

Высокий, вечерний туман,
за тучами бродит луна,
вздыхает во тьме океан
и слышно, — в разбеге волна.

О, много таких вечеров,
за ними — бессонных ночей,
и всюду — таинственный зов
да шелест каких-то речей...

Душа начинает болеть,
крылатая память — скорбит,
зато ей блаженно лететь,
где нету запретных орбит!

Нельзя никому задержать,
замедлить, ускорить полет:
дано ей искать (и — терзать!)
ту жертву, которая ждет!

Вздыхает во тьме океан,
и слышно, — в разбеге волна,
на сушу бесчисленных стран
взбирается тщетно она.

И царствует нежная тишь, —
ничто не грохочет, нигде...
И бунт зарождается лишь
в земной, человеческой орде.

2000

Три облака

Дорога далека,
три облака вдали,
веселая река
среди холмов земли.

Над искрами воды —
сиянье и узор,
так бороздят простор
трех облаков следы!

Прокатимся вдвоем —
безлюден путь, широк,
и влажный ветерок,
блаженствуя, вдохнем.

Пологий склон холма
в сиреневых цветах.
Всегда стоят дома
в красивейших местах.

А здесь другой рассказ,
здесь первобытный день,
и солнечная тень
не осчастливит нас.

Безлюдье (что тайга!) —
коварно для живых.
Речные берега!
Как мы любили их!

Но в наше время рай
внушает темный страх
(всей эры слом и край,
столетья слом и крах!).

Домчимся по тропе
в какой-нибудь ковчег!
Опасен человек,
но все же мы — в толпе...

2000

Лицедейство

Счастье ли безудержное с нами,
гложет ли дремучая тоска,—
но живая пишется строка
в этой вечной и двуликой драме.

Лицедейство — кровное родство
с целым миром или жизнью каждой...
Пьем нектар обманный с древней жаждой!
Лицедейство — будто волшебство!

Там есть отклик, отзвук дивной речи,
как в поэзии (и ложь, и — божество!).
Лицедейство — будто волшебство,
в нем повсюду образ человеческий.
2000

* * *

Начало осени красиво иногда
в своем златом смиренье, ожиданье
серебряных завес и ярко-синих пятен
среди ленивых облаков, когда
там появляется, украсив мирозданье,
дневная, светлая, прозрачная луна,
как лепесток далекий чуть видна —
в легчайшем плаванье! И нет пока
заполненных водой дорожных вмятин,
нет тлена жизни — пыли луговой,
сыпучих веток, гнили лиственной,
при робком солнце мир еще опрятен,
и лишь на подступах предзимняя тоска —
ветров хлестанье и дождей рыданье
да тьма ползучая, как будто на века.
2000

Будни

Седой туман ползет, как привиденье,—
душа хлопочет о грядущем дне:
кормить семью (блаженствуют во сне
дитя, щенок, домашнее растение).

Дитя проснется, заскулит щенок,
растение спросит комнатной водички,
а чистые блокнотные странички —
отваги ждут (неслышимый звонок)!

Отваги — сокрушить возлюбленный порядок,
приятностями жизни пренебречь,
чтоб переделать собственную речь
в столбцы и строки, полные загадок.
2000

* * *

От шума природы, от струй дождевых,
бурленья, текучести луж,
от скрипа деревьев, от хлопанья листьев, ветвей —
я чувствую смуту живых,
движенье души, как в тоску и застойную глушь
(чем глуше они, тем движенье природы мертвей).

Сердце невесомо,
очень гордый взгляд,
а напротив дома
бабушки сидят...

В тридцать пять старухи,
нет скудной одежд!
Времена разрухи,
канувших надежд...

Так они бездонны —
светятся едва!
Вчерашние мадонны,
кто уже вдова?

Есть одна пророчица,
почтальон-разносчица
(от голода больна).
В новом мае кончится
великая война,
страшная война.
2000

* * *

Догнала меня буря века,
пыль бросает в глаза.
Слышу я людей голоса,
вижу — тень человека!

Взгляд опущен, сомкнуты руки,
жизнь стерта с лица.
Не понять — усталость конца
или тяжесть разлуки.

Как туман, открытое темя,
нет покоя в чертах,
отвращенье лежит на устах,—
вспять обрушилось Время!

Но затихли в сердце проклятья,—
жаль мне седость волос!
Разум все же готовит вопрос:
«Что нам выдумать, братья?»

И натруженный голос шепчет:
«О, наверное,— жить...»
Я насмешку не в силах скрыть:
«Сказка эта — полегче!»

А в ответ, как стоны метели:
«Я летало — брожу сейчас!
Я старо и устало от вас!

Все вы мне — надоели...
 Все вы мне — надоели...
 Все вы мне — надоели...»

Обгоняет нас буря века,
 пыль бросает в глаза.
 Слышу многих людей голоса,
 вижу — тень человека.

2000

Ветер

Ветер притих, будто смирилось
 и затаилось дыхание,
 чтоб осмотреться, прислушаться, выбрать дороги
 и ринуться снова и снова
 туда, где предвидится первой грозы полыханье,—
 по берегу, вверх на предгорье, но гневные боги
 дальше не пустят и скинут обратно
 веселые крылья,
 стенать и гудеть заставляя:
 пусть будет страшней громыханье
 о каждый валун и скалу (земные преграды, основы,
 которые тотчас не сдвинуть, в летящее тело вживляя);
 пусть сладостней будут усилья
 точить и точить их, разламывать до издыханья;
 дуть в лица людей, пусть знают: о, жив еще ветер
 (могучей, усердней других, чей век и минуты короче);
 что если летит его песня, грохочут стенания эти,
 то многие живы,— земля не сровнялась под пеплом;
 что есть и целительный миг, прекрасней,
 возвышенной прочих
 (непостижимое, невозвратимое и круговое явление) —
 как тени на облаке светлом,
 как в синих глубинах, на синем полотнище
 в звездных букетах
 разновеликой, плавучей луны золотое свеченье, скольженье,
 как солнечный отблеск, туманность в закатах, рассветах
 (любая картина на небе сравнима с мечтой ювелира).
 И ветер смирнеет, когда наступает усталость, охота
 понежиться или вздремнуть,
 погладить колючие ветви деревьев, кустов,
 шерстинки животных, без перерыва траву поглощающих
 глупых овец
 и разные лица людей у пастушьих костров,
 прислушаться к звукам их речи, похожей на кашель Сатира,
 забыть, хоть на час, свой прерывистый,
 непредсказуемый путь
 и выдумать вечную, зверскую сказку, как древний
 фракийский мудрец,
 узнавший так ясно и точно устройство великого мира —
 всех жалких, бессильных существ,
 охраняемых Богом,

им почему-то бережно, нежно любимых... Но почему?
Ветер не может ответить (слова разместить
в соответствии строгом).
И я его песни разбойные, гордые слушаю —
я, смертный жилец
земного-воздушного плена, стремящийся лучше понять
его жизнь и тьму...
У ветра же нет объясненья, он лишь вдохновенный
и дикий певец!

2000

* * *

Утро идет, оживая,
ветер рек и морей,
душу теплом овевая,
ноет и ноет: скорей!

Скорей поразмысли о жизни!
Скорей задавай ей вопрос!
Скорей отвечай этой жизни,
скорей, как на собственной тризне,—
на белом одре, на столе,
в последний момент на земле,—
всю правду на каждый вопрос!

2001



Пропущенная глава*

Едва Берлин произнес, что первые месяцы чувствовал себя в Америке, как Мелисанда в замке Голо — нервно и неудобно, в тот же миг перед моими глазами встал человек, с которым я познакомился и на короткое время сошелся в Брин Море. Вообще говоря, я его и не забывал никогда с тех пор. Январским вечером 1991 года я вышел после очередного своего семинара с Русского отделения колледжа Брин Мор, и он, высунув голову из огромного коричневого «шевроле», окликнул меня по имени. Я видел его в первый раз. Он сказал: садись — порусски и хлопнул рукой по сиденью рядом с собой. В Америке нельзя садиться в автомобиль к незнакомым людям, это мне уже успели преподать среди фундаментальных правил проживания в этой стране — сразу после сопровождаемого мистическим ужасом заклинания о неукоснительной уплате налогов и звучащего чуть ли не поощрительно на его фоне предупреждения не превышать скорость на дорогах больше чем на пять миль против разрешенной. Но сам оклик и характер приглашения настолько выходили за рамки каких бы то ни было правил, что я обогнул машину и сел.

Его звали Драго, черногорец. То есть это он так сказал: все, что я о нем знаю, я знаю только с его слов, а так как между многими прочим, о чем он мне говорил, был яркий рассказ о встрече и короткой, но насыщенной дружбе с Берлином, то реплика того о Мелисанде по поводу тоски, сопутствовавшей привыканию к Америке, давала мне наилучший повод проверить, так ли это, действительно ли они подружились, а если да, то дружил ли Берлин с ним так открыто и сердечно, как тот говорил, и вообще помнит ли Берлин этого человека и эту историю. Но я отказался — боялся услышать, что нет, было совсем не так или даже вовсе ничего не было.

Ни в какое глухое место, чтобы ограбить и с изощренным зверством убить, Драго меня не увез и вообще никуда не повез. Мы сидели в машине, работал мотор, от печки шло тепло, горел верхний свет. О знакомстве с Берлином он упомянул почти сразу: знаю ли я такого и знаю ли, что он тут читал Флекснеровские лекции? Я знал — от Берлина: узнав, что я приглашен на семестр в Брин Мор, он тотчас прокомментировал: «Ну как же! Все должны пройти через Брин

* Некоторые книги пишутся по принципу стратостата — с этим наблюдением я уже приставал к читателю. Шар, наполненный на три четверти, взлетает так же, как надутый до полного объема. Но эта последняя четверть расправляет складки, в которых могла прятаться часть текста. Отдавая в печать книгу «Сэр» («Октябрь», 2000, №№ 11, 12), я рассматривал ее как цельную, завершенную, «готовую к полету», хотя и знал, что между VII и VIII главами должна встать еще одна, которую я уже тогда называл для себя «пропущенной» — о взаимоотношениях моего героя с Америкой. Написать ее я прилетел в Вашингтон в конце прошлого года по приглашению Международного центра Вудро Вильсона. Пока я над ней работал — чаще всего в Библиотеке Конгресса, — вновь избранному, но больше месяца не утверждаемому президенту США Бушу-Младшему показывали, в какой стороне от Капитолия (стоящего в ста метрах от Библиотеки) находится Европа и, стало быть, Россия. Мне представлялось, что среди показывавших нахожусь и я с этой самой главой. Так или иначе дело сделано, Центру Вудро Вильсона спасибо, вашигтонской замедленной осени и моим друзьям, сделавшим мою тамошнюю жизнь исключительно приятной, — также по спасибо.

Мор, я это сделал в пятьдесят втором году». Драго сказал, что он так же, как меня, поджидал его после первой лекции, только у здания философского отделения, тоже в автомобиле, но тогда это был «форд», роскошный «форд» 50-го года выпуска, с хромированным всем, что можно хромировать; тоже позвал по имени, и тот тоже влез к нему в кабину без размышлений. По тому, как он, говоря об этом, расставлял ударения и какие делал оговорки, мне показалось, что это было самое значительное событие его бринморской жизни.

Через пятнадцать минут разговора я понял, что бринморской, но никак не всей. Он родился в самом начале 20-х, это вытекало из рассказа о том, что он воевал против немцев вместе с Джиласом и тогда ему было девятнадцать. Из чего следовало, что сейчас ему под семьдесят — а я, на него глядя, думал, что под пятьдесят: сильный, резкий, с огнем в глазах, черные выщипанные волосы. После первых фраз знакомства Берлин, услышав, что он преподает новейшую историю в Хаверфорде, тут же предложил провести совместно несколько семинаров. «Мастерская Рубенса, понимаешь? — пояснил мне Драго. — Я натягиваю холст, грунтую, делаю подмалевок, он приезжает — и кистью мастера. Он ведь не любил всю эту тягомотину университетскую — и не любил тянуть ее один. У него на лице было написано, что это тягомотина. То, что кто-то с ним рядом, даже такой шарлатан, как я, его возбуждало. Когда он сказал “совместно”, я зашелся от восторга». Я спросил: почему шарлатан?

«Ха. Шарлатан и самозванец. До того, как сюда попасть, я из истории знал только “Три мушкетера”. Всю историю философии я прочел за два летних месяца перед тем, как начать преподавать. Всю весну ФБР меня трясло и просвечивало, выясняло от и до, наконец санкционировало право на жительство. Агент, который меня вел, предложил два места: радио “Свободная Европа” и колледж. Он-то был уверен, что выберу радио, но я сказал: “Во-первых, может получиться некрасиво, я уже этим занимался — из Москвы. А во-вторых, закройте вы вещание на Югославию, не тратьте доллары. У нас поговорка: врет, как радио — а у меня врать не получается, моментально проговариваюсь, только смеяться будет. У нас по радио даже погоду не слушают, только футбол. Я это и русским говорил”. — “А что же вы преподавать можете?” — “Кроме математики — все!” — “Историю философии?” — “Балканской?” — “А есть такая?” — “Ха, именно история и именно философии”. Приехал сюда, взял в библиотеке десять книг, две до сентября успел прочесть, только и лазал в философский словарь — вошел в класс и давай. Греция что, не Балканы? Ух, это была история философии! Сперва ребята мой английский услышали, поняли, что дело нешуточное. Я ведь, когда деканша со мной знакомилась как с новым членом факультета и сказала, рада, мол, иметь вас здесь, не понял даже, взяла меня на работу или нет. Но когда они начали слова различать — на ура. У меня там пастухи друг с другом любовью увлекались, девки с подоткнутыми подолами виноград топтали, орлы детей в горы уносили. Я им говорю: ну вы как думаете, можно при таком положении вещей в наших краях не заниматься философией? Можно не базарить, как афиняне с апостолом Павлом? На Балканах — или философствовать, или резать друг друга».

Я спросил, рассказывал ли он это Берлину... — Еще бы! — ...и в этих ли словах. — Хуже: тогда «базарить» еще не было, было «качать права». Я спросил, почему ФБР. Потому что перебежчик. И при этом двойной: в Советский Союз и из Советского Союза. Как сталинист — от Тито в Москву; как свободолюбивый черногорец — из Москвы в Соединенные Штаты. Длинный рассказ, нужно время. Есть ли у меня время, какое в колледже расписание? Я сказал: курортное, два раза в неделю, всего шесть часов. А что за курс-то? Введение в русскую поэзию. Ну, пир духа! Простите? Пир, говорю, духа. А был ли я в Филадельфии в русской бане? Там такие массажистки, такой массаж! Вот уж где введение в поэзию. Он отвез меня домой, сказал, что завтра заедет.

Я находился в Америке всего четыре недели, а до того безвыездно прожил в России столетия. Я уже прошел через *полное, доскональное* понимание американской жизни, которое пришло ко мне на третий день по приезде, через *полное, беспросветное* непонимание, длившееся десять дней начиная с четвертого, и теперь находился опять в состоянии понимания, правда, *частичного*, вы-

ражавшегося в том, что ничего *такого* в этой стране нет и вместе с тем каждую минуту может случиться что угодно абсолютно неожиданное, так что реагировать на *всё* надо, но не принимая близко к сердцу. Звонят по телефону, прямо в твою спальню, с ходу начинают с доверительной, почти интимной интонацией что-то предлагать, на что ты с ходу говоришь «спасибо» и вешаешь трубку. Или окликает незнакомый мужик из машины, оказывается черногорец, оказывается перебежчик, профессор, друг Исаяи Берлина, знаток борделей, замаскированных под русские бани. Нормально.

Но назавтра пришлось и эту установку пересмотреть. Он привез меня к себе, в обычный suburb, что-то вроде пригорода по-нашему; дома на склоне пологого холма к энергичному ручью; расставлены просторно между огромных деревьев; заборы, но не общие для соседних домов, а с прогнами, как в русской деревне, и в одном пасется три овечки, а в другом две козы. Мы остановились, Драго показал на них и засвидетельствовал: мои. Мы вошли через калитку во двор, по нему, поклевывая землю, гуляли своей обычной псевдобалетной походкой куры, на каждом шагу задумывались, добрая дюжина, и петух. Балканская душа, сказал Драго, сельская, любит буколические картины. Из дому, улыбаясь, вышла высокая женщина на вид лет пятидесяти, но равно не удивился бы и что больше, и что меньше, форм пышных, но налитых силою, с крепкими румяными щеками на круглом лице. Представилась: Визма,— Драго тотчас добавил что-то полуприличное, солончатое, мол, сосуд греха, надеюсь, правда, что исключительно моего, упругий скудельный сосуд моего греха. Понятно было, что она слышит вещи в этом духе не в первый раз — продолжая улыбаться, махнула на него рукой.

В доме он сразу достал бутылку сливовицы: «Стара Сливовица», Old Plum Brandy, винокурный завод Мараска, Хорватия, для калифорнийской компании «Западные питание и напитки» в Санта Ана. Проговорив, что терпеть не может Калифорнию, разлил по рюмкам. Я, чтобы что-то сказать, вспомнил, что Леопарди написал о недавно попавшей в культурный оборот Калифорнии как о земном рае: тепло, пальмы, прозрачное голубое небо... Каждый день, отозвался хозяин, каждый Божий день, без пропусков — прозрачное голубое небо, мутить начинает. Калифорнию терпеть не могу, но не ненавижу — ненавижу Хорватию... Был такой случай, в начале войны. Они сбили хорватский самолет, летчик выпрыгнул с парашютом, его поймали. Привели к кому-то из высших командиров, пусть будет к Джиласу. Тот с ним поговорил, обернулся, попал взглядом на Драго — их там стояла кучка молодых парней с карабинами,— и, ничего не сказав, мотнул головой в сторону хорвата. Драго расплылся в улыбке, бросил хорвату «пошли», и они пошли. «Мне тогда, Анатолий, убить человека стоило меньше, чем комара прихлопнуть!» — Он хлопнул ладонью правой руки по тыльной стороне ладони левой и сощелкнул с нее пальцем на пол мертвое насекомое. Воображаемое — но все остальное так было наглядно, что в ту минуту я его увидел: мошку, которую он сконцентрировал из воздуха, чтобы тут же весело и артистично превратить в ничто.

Они пошли к лесу, и Драго уставился на сапоги хорвата: коричневые, эластичной кожи, немножко бутылочкой, ну мечта. Он даже подпихнул его прикладом, чтобы побыстрее. Но тут их бегом догоняет другой парень, из тех, которые с ним там стояли, и говорит, что командир велел вести «пленного» обратно. Драго, обозленный, гонит его назад, к Джиласу, и тот предлагает хорвату: если дашь честное офицерское слово, что, когда мы победим, а это будет через год, максимум два, ты прилетишь и посадишь на нашем аэродроме самолет, то я тебя сейчас отпущу. Тот подумал и говорит: годится, честное слово, только вы сперва победите. И уходит с провожатым, уже не Драго,— удаляется в драговых сапогах. А в сорок четвертом, представьте себе, появляется на бреющем полете, покачивая крыльями, и сажает свой «мессер», не новый, но вполне приличный. Драго его на следующий день встречает и говорит: давай меняться сапогами. Тот был уже в чине майора, но и Драго в капитанском: хорват посмотрел на его сапоги, без всякого уважения, почти презрительно, и, ни слова не говоря, ушел опять, второй раз. «С тех пор я Джиласа и невзлюбил. И правильно сделал: не было в нем широкого масштаба, не за страну он радел и не за свободу, а главное, чтобы против Тито. Сейчас-то во всем мире так, и в России в первую очередь:

кто кого сковырнет, задвинет, посадит, уберет. А тогда политика еще не боярской была, а государственной».

Я поверил этой истории без единого сомнения, от начала и до конца. Я однажды переводил несколько песен из собрания Вука Караджича, сербский эпос. Одна была про то, как девушка из знатной семьи вышла замуж за короля, не помню какого, какого-то не очень убедительного — динарского? далмацкого? Через некоторое время два младших брата, совсем еще дети, поехали навестить сестру. Она их увидела издали, из окна дворца, и говорит мужу: давай их убьем. Муж, в общем, не против, но его смущает, что скажут короли валашский, венгерский и венецианский. Тогда давай выколем им глаза. Король говорит: это другое дело, — и выкалывает. Те садятся на своих лошадей и отправляются домой. Отец видит их приближение, выходит за ворота встретить. В это время с одного из них падает шапка, они спешиваются, шарят руками по земле, не могут найти, и тогда отец говорит матери, что их ослепили, и мать плачет... Художественный пуант — упавшая шапка, к этому вся песня идет и на этом достигает эмоционального пика. Но на меня не сравнить насколько сильнее произвела впечатление сестрица: «Давай их убьем. Нет? Тогда давай выколем глазки». Никакой мотивировки, на ровном месте. Я в ту минуту подумал, что это такая условность, свойственная эпосу вообще, а сербскому в особенности. Но когда Драго рассказывал про летчика, я, подготовленный песней про ни за что ни про что изувеченных *братичках*, не только без оговорок принял на веру его слова, но и, убежденный его рассказом, понял, что факт, по поводу которого была сложена песня, абсолютно правдив и тем самым историчен.

Но это было вступление, я ждал главного сюжета. После войны он занял место и в политике, и в руководстве Югославии. Разумеется, не первостепенное, однако имя его повторялось в газетах, и у публики, в общем, было представление о том, кому оно принадлежит. Он был убежденный сталинист, думал то же, что Кожев говорил Берлину: что в массе своей люди — славяне во всяком случае — косны, добра своего не знают, как африканские дикари, и к лучшему — для них же лучшему — их надо тащить за шкирку, подгонять штыками, давать остратку пулями, настоящими. Только Кожев выкладывал это полуиронически, а Драго совершенно серьезно и безжалостно. Когда Тито порвал со Сталиным, он порвал с Тито, во всеуслышание объявил об его измене и был тотчас посажен. Лагерь, как и следовало ожидать, был один из тех самых кошмарных, голодных, безводных, о которых потом написали, и мир в очередной раз попытался и в очередной раз не нашел сил ужаснуться. Там били чудовищно, унижали чудовищно, попросту истребляли, но его, то ли по указанию из центра, то ли за ненависть к ним, за непримиримость, то ли потому, что в таком месте иначе нельзя, били, унижали и уничтожали, как звери зверя. Целый день под пальцем солнцем он ударял кайлом по каменной скале, а между вечерней кормежкой и отбоем должен был брать лопату и спускаться в выгребную яму отхожего места, прямо под вырезанные в дощатом помосте дыры, в которые другие зеки продолжали справлять нужду и в те полчаса, когда он их испражнениями наполнял ведро, чтобы передать такому же, как он, животному, стоящему наверху.

Сержант-охранник однажды ударил его ногой в пах, просто так, проходя мимо. Драго согнулся, постоял, пока тот скалился, а выпрямившись, сказал: «Я тебя когда-нибудь найду и так всажу, что малафья из ушей вылетит». Тот в него вгляделся и стал приходить в палатку ночью: будил, вел к яме, ставил под очко и опорожнялся на него. За несколько дней Драго наточил лопату до остроты бритвы, оставил под помостом и в очередную ночь, когда сержант спустил штаны, всадил ему снизу в задний проход по самый черенок. Тот закричал и рухнул вниз на руки Драго. На руках, чтобы не замарать, он оттащил его к краю ямы, снял форму и переоделся. Еще в первые дни пребывания в лагере высмотрено было место под колючей проволокой, где большая каменная плита выглядела — с того расстояния, на какое к ней можно было приблизиться, — расколотой. Так и оказалось: он вынул кусок за куском, подлез в образовавшееся отверстие и ушел в лес.

Местоположение лагеря он знал, еще когда сам отправлял туда людей. За половину ночи дошел до моря, через четверть часа быстрой ходьбы по берегу наткнулся на рыбацкий домик, против него на песке стояла лодка, без весел. От-

тащил ее к воде, поискал вокруг, чем грести, увидел валявшуюся старую доску и отплыл. К середине дня его подобрал советский торговый корабль...

Я просто слушал, и то, что я слышал, а за сорок лет до того слышал Берлин, была не Америка, умозрительно сформулированная мною как место, в котором может случиться все, включая и такое, и даже не экзотика какого-нибудь принципиально не формулируемого Китая, в котором только такое и должно случаться. И не «Чужой» Альбера Камю. И вообще не то, что может быть хоть как-то описано, то есть так или иначе объяснено, так или иначе *понято*, — но то, что может быть только *принято*, как оно есть. Объяснять тут было *нечего*. На этом оказывалось основано само существование человечества: все допустимо было отбросить, мысли и размышления, мораль, да сами чувства в конце концов, а это нет. Я спросил, как реагировал на рассказ Исайя. «Ха, он умел и молчать, не только говорить. Он все на этом свете ценил, потому ценил и молчание». — «И ценил, — вмешалась Визма, — молчаливых людей, чье молчание понятно окружающим близким». Так что просто улыбался, печально, беспомощно, соболезнующе. Потом сказал: «Так бывает. Я знаю, что так бывает». Я узнал эту интонацию, так же он говорил мне однажды: «Да, зло есть. Зло существует, никуда не денешься».

В Москве не били, и если унижали, то не намеренно, а потому что такой в России модус вивенди. И Сталин был — рукой подать, метрах в трехстах от пешеходов, за Кремлевской стеной, стоящий Сталин. И коммунизм строили именно так, как он, Драго, хотел, реально. Все было о'кей, только не было тепла: согретого на солнце винограда, теплого моря, горячего песка, жарких тел под легкими накинутыми рубашками, громких голосов и вообще — не улыбались. Его определили на радио, как потом в Америке. «Автократия, демократия — воображение-то одно: раз из Югославии, пропагандируй Югославию». С радио провалилось: пару раз понес отсебятину, не вредную, но хуже, чем вредную — несанкционированную; один раз матюгнулся — потом доказывал, что в Югославии п..., тем более что похожа на печь, совсем не то, что в России п..., похожая на воронье гнездо; потом оказался в ночной студии с дежурной монтажной. «Из-за коридоров. Длинные, едва освещенные, пустые коридоры — как в мертвецкой. Ну не мог я по ним ходить, нужно было доказательство, что, кроме меня, еще что-то живое есть. И, кстати, такое оказалось живое!» Сказал явно для жены — она опять, как на любимое балованное дитя, махнула в его сторону рукой.

Решили, нечего ему делать в столице — при такой плохой управляемости может своим же балканским безумцам что-нибудь ляпнуть и тем нечаянно обострить международную обстановку. Отправили в Ригу директором типографии, номенклатурная, из средних, позиция. Там встретил Визму, потом оказался с ней в ночной метранажной. «Все врет, — сказала Визма с усталым восхищением. — Познакомились на пляже в Дзинтари, ходил свататься, просил у моей матери согласия».

«Я к ней ходил посмотреть, какая ты в старости станешь, вот зачем я к ней ходил». Визма повторила свой милый пренебрежительный жест рукой, встала достать из холодильника новой закуски, он крепко прижал ладонь с растопыренными пальцами к ее ягодице и держал, пока она проходила мимо.

В Латвии он стал томиться невыносимо. Купил домик в рыбацкой деревне, все тех же завел кур, коз, овец. Думал только о побеге, опять в лодке — в Швецию. Но как выходил на берег, как видел эту холодную мелкую ровную воду, силы его оставляли. «Бог сделал черногорцев, попробовал на вкус, обжег рот и сразу сделал латышей — погасить жар. Не то разговариваешь с ними, не то желуди ешь. Вина в стране нет, есть солодовое пиво. Моря нет, есть взморье. Бессолевая диета. Коммунизм не строят, строят только социализм. Тяжело, как камни ворочают. Водку зашибают, как русские, а результата нет: ни подерутся, ни «ты меня уважаешь». Да я тебя так уважаю, что на руках до Адриатического моря понесу — а пить стаканом не стану». Вдруг стали делегацию собирать в Болгарию, обмен типографским опытом. Чесали, чесали в затылке, решили включить его в состав: живой пример правильности линии Информбюро, а не кровавого раскольника Тито, пусть болгарские товарищи убедятся. Он тут же ставит условие: только с женой, у нас, у средиземноморских племен, только так! Те ему: кто же едет к чернооким дивчинам со своим самоваром — ну бери, если пыльным мешком трахнутый.

Повозили туда, сюда, повыступал он в залах и комнатах, в разных цехах и кооперативах, наконец десерт — неделя на море. Ну почти свое море, а вино и ракия и вовсе свои, брынза, лечо — как не уезжал. В первый же день на пляже присел к немцу, перекинулись шутками на лингва-франко. Турист из Баварии. А вы? Времени взвешивать, можно-нельзя, не было... А я — рассказывать долго, а если коротко — бежать отсюда собираюсь. Только не очень знаю, как и куда. Выложил и стал ждать. Немец встал, похромал к воде, выемка в бедре килограмма на полтора, в аккурат как у Драго в спине, выкупался, лег, как лежал, и говорит — носом в песок: детали, битте... Драго — носом в песок — солдатски толково доложил, без вранья, про партизанскую армию, про партию, идею, измену, лагерь, побег — из огня в полях. Тот: подумаю, встреча на этом месте через два часа. Ушел, Драго прикинул: не заложит, не с чего, а заложит, тогда и будем соображать. Скорее просто смотается от греха подальше. Баварец по имени Фридрих, Фриц, вернулся, сказал: «Вы здесь с женой. Она тоже бежит?» — «Я с ней еще не говорил». — «Значит, так: я завтра должен лететь домой. Вы надолго здесь?» — «Неделя». — «Я попробую. Мой знакомый гоняет из Турции рефрижераторы с мясом. Через Болгарию. Они иногда заезжают сюда на часок, устраивают себе короткие вакации. Я узнаю. Если договорюсь, сперва отправите жену, в залог. Если с ней пройдет, на следующий день приедут за вами. Вот тут каждый день и ждите, я ему опишу... Я у вас воевал». — «Я вас не помню». — «А я с самолета».

Визме сказал только в ту минуту, когда через три дня увидел приближающегося по пляжу мужика в комбинезоне «Магирус». Встал, взял в руки штаны и рубашку, объяснил ей что к чему и предъявил ультиматум: или ты сейчас одеваешься и с ним уходишь — или я, но тогда, как говорится, прощай навеки. Без слова оделась, подождала, пока тот выкупается и пойдет к грузовику, и двинулась вслед, в летнем сарафане и босоножках. За Драго Дед Мороз приехал назавтра утром. «У них там в машине были тулупы, но по пальчику и она, и я отморозили». Когда Исайе рассказывал, тот кивал головой весело, и когда он кончил, с удовольствием проговорил: «Да-да, это не вы одни, я в кино видел». Он не понял, значит ли это опять, что и так бывает или что он не вполне верит. Поэтому сказал: мы тоже, когда в кино видим, думаем — неужели это самое было с нами?..

«Нет, Драго, — вдруг перебила его Визма спокойно и убежденно, — он нам тогда уже доверял...» (Я тоже уверен, что он просто к слову сообщил, что знает про такие случаи, — как когда сказал мне о «Дневнике Анны Франк», что не читал: «Я знаю факт. С меня этого достаточно. Это была не отдельная вещь, много таких».) Визма закончила: «...После мамы он нам совершенно доверял». — «Потому что оказалось-то, — с воодушевлением, направленным на меня, проговорил Драго, — что не затем я к ее матери по имени Вильгельмина ходил, что она ее мать, а затем, чтобы в конце концов познакомиться с Исайей. Потому что, — выложил он торжественно, с ударением, — Вильгельмина была у Берлинов прислугой! И я с этого начал, когда остановил его у дверей философского отделения, — и он ее немедленно вспомнил!» Я посмотрел на Визму, она кивнула головой, а Драго, еще сильнее наседая, продолжил: «Он ее вспомнил, и это ему очень понравилось. Он сразу поехал со мной, мы тогда только что сюда переехали, скотины еще не было, но куры уже были». Визма, как будто не замечая его присутствия, а глядя только на меня, показала указательным пальцем вправо-влево и опровергла: «Кур не было». — «Баба, — объяснил он. — Бабы все без фантазии, даже моя».

У меня нет сомнений, что Берлин им доверял и любил у них бывать. Биографы, специалисты по его творчеству и деятельности, естественно, вставляют его в кристаллическую пирамиду, набранную из философов, политиков, ученых, писателей, людей значительных. Они были ему интересны, сферы их и его занятий совпадали, и в этих сферах они были самыми убедительными, внушительными и яркими, из первых, из лучших. Но философия, политика, всякое выражение интеллекта и таланта принимались им не как продукты, производимые определенной, сколь угодно широкой, но профессиональной группой и принадлежащие ей, а только в контексте жизни людей вообще. И под этим углом вос-

приятя Драго и Визма были не менее значительны, нежели Элиот или Черчилль. Родители одного из его оксфордских студентов, американца, узнав, что Берлин преподает в колледже рядом с их городом, пригласили его на ужин, он сказал, что да-да, конечно, придет, но предупредил, что из-за недостатка времени должен будет сразу уйти. И просидел до часу ночи, слушая и болтая с ними, нигде никогда не учившимися, но обладавшими здравым житейским смыслом, наблюдательностью и ясным умом, — так же как и с их младшим сыном, одиннадцатилетним мальчиком, который, толком не зная и не интересуясь, кто их гость, был увлечен тем, что и как он говорил, как себя вел и на какие его реплики смеялся. И, конечно, в первую очередь зажигалкой гостя. И в случае с московской кухней Берлина, насчет которой некий тип из России предупредил его, что она «слишком простая» — имелось в виду для «них»: Берлина и типа, — проявилась та же его раскрытость навстречу *любому* человеку, нечто прямо противоположное снобизму предупреждавшего, про которого он только заметил, что тот искренне убежден, что чье-либо мнение о людях может быть важнее самих людей. Почти афористично сформулировал он самый закон людских взаимоотношений — мы с женой провели день у него в Портофино, и, прощаясь, я сказал, что весь день мне было так хорошо с ним, и он, повернувшись к жене, откликнулся, стилизуя еврейскую интонацию: «Ему было хорошо. — И ко мне: — Одному хорошо не бывает. Или вместе, или никому».

Он чувствовал себя свободно и уверенно на любом уровне, который предлагал ему собеседник: американского школьника — и Анны Ахматовой. Писатели Аксенов и Тендряков посетили его в 1967 году, и с первым он весь вечер состязался в рассказывании русских анекдотов — и одновременно, начав с доскональных расспросов о цензурной ситуации в московском «Новом мире», фундаментально обсуждал со вторым роль толстых журналов в русской культуре двух последних столетий. Почему для Ахматовой его визит и имел такую огромную ценность: с ней разговаривал не просто прекрасно образованный, прочитавший уйма книг, выдающийся интеллектуал и прочая, и прочая, а ровня. Драго минутами ощущал даже свое превосходство — как грек Зорба Казанцакиса, *человек знающий* как жить, над Йозефом Кнехтом Германа Гессе, своего рода книжным «безруким» реббе, *человеком понимающим*. Но только минутами. «Ну что, — поддразнивал он Исайю, — и интересно вам проводить с вашингтонскими столоначальниками дни при электрическом свете?» — «Среди них, — мгновенно отвечал тот, — есть весьма толковые, очень остроумные, а иногда и решительные люди — это раз. А два — в Вашингтоне же знаменитые на весь мир мощные закаты — над Вирджинией». — «Как вам удается их видеть? На многомильных прогулках по правительственным коридорам?» — «О, в Вашингтоне есть еще и бесконечные густые парки, от края до края города. И есть не менее протяженные и не менее таинственные улицы, например, Шестнадцатая, аллея церквей, пересекающая весь город, на ней произрастают самые разные породы вер, включая и веру в лопату — строительную, *не бойцовскую*». Он имел в виду масонский храм — и он показывал Драго и убеждал, что жизнь поддерживается не экстраординарным порядком вещей, каким бы действенным или крайним этот порядок ни был, а ordinary, заведенным от века. И Драго чувствовал, как его преимущество вмиг испаряется.

«Его темперамент, — объяснял Драго, — бил как электрический ток. Когда он говорил, когда он тебя слушал, даже когда книжку читал. Честно — как у тигра. Наш, средиземноморский. Но он только говорил, слушал и читал. Мне хотелось его тряхнуть: дескать, неужели это и всё? С такими-то внутри страстями! Я задираю: вот мы с вами коз разводим и про философию колыбельные поём, а такие здешние ребята, Джексон Поллак и Марк Ротко, прямо в наших краях, автобусом можно доехать, намахали картины, одна называется “№1”, а другая “№2”, желтым, белым, бело-желтым, красным на белом, зеленым, всё грязное, а сверху еще смолой. Гениально! Не завидно?.. А он: грязное — в этом что-то есть! Грязному можно позавидовать. Но я не артист. Я умею только ценить артистов. Я даже коз пасти не умею».

Он ценил людей не за то, что они собой представляют, а как любой нормальный человек ценит всё, что есть на свете: только за то, чего они стоят. Того американского студента, чьим научным руководителем был в Оксфорде, он

направлял: это вы узнаете у такого-то, пойдите к нему, скажите: от меня, а об этом спросите у сякого-то. «Такой-то» мог быть известным доном, но «сякой-то» мог оказаться продавцом в мебельном магазине, знавшим, однако, интересовавший американца предмет из первых рук — потому что происходил из специальной семьи, или дружил в молодости со специальным человеком, или просто занимался предметом всю жизнь, а мебелью — положенное делу время. У Берлина, как говорил этот бывший студент, было «интимное знание людей, но он делился им, насколько считал нужным, и с кем! — со мной, желторотым аспирантом, невеждой, незнакомцем — как если бы я был его старый друг». Он искренне не считал, что время для него ценнее, чем для других, например, чем для его студента, которому загодя назначил день встречи и, вдруг получив после этого приглашение в Виндзорский дворец, поехал разыскивал в дальнем конце Оксфорда его квартиру, чтобы оставить записку с извинением и просьбой перенести визит. «Поверьте, — говорил, и через пятьдесят лет находясь под впечатлением от этой внимательности, получатель записки, — там и тогда это вовсе не было общепринятой вещью. Он один мог такое сделать: отправиться через весь город, пусть и не такой большой, но к кому! — ко мне, желторотому аспиранту, невежде, незнакомцу!»

Когда этот бывший его ученик, один из многих, в те дни почти безымянный, а ныне директор Библиотеки Конгресса, рассказывал, как его знаменитый оксфордский тьютор обедал в их семье или привозил извинительную записку, — и, рассказывая, не удерживался от давнего воодушевления; когда Драго вспоминал, как Исая с удовольствием к ним приезжал и с какой приподнятостью и даже волнением они его ждали и встречали, потому что «ведь он был и по-милу хорош, и по-хорошему мил, правда?», — я и умом, и «гуморальной жидкостью», и мышцами лица заново переживал, какой это *правда* был прелестный человек, какой *пленительный*. Такую он доставлял радость, что хотелось почаще давать ему знать, как он тебе нравится. Однажды, после вечера, который он провел у нас в гостях, я, провозжая его до такси, сказал: «Ладно, любите нас вполовину, как мы вас, — пойдете?» С деланным возмущением он мгновенно мой сентиментальный удар отбил: «Какие вы говорите ужасные вещи! Только равенство!» Под веселый аккомпанемент его и моих улыбок.

В провоцирующих на откровенность вопросах Драго была заложена презумпция отношения к американцам как к нации, лишенной «нашего» европейского чутья, «нашего» знания, «нашего» ощущения себя в мировой, «вечной» истории. Это было не для Берлина. Для Берлина было то, что в первую же с ним встречу рассказал его будущий аспирант, как это так случилось, что его потянуло на Россию. Он учился в рядовой школе в Пенсильвании, шла вторая мировая война, и он спросил у учителя, почему Россия так хорошо воюет, защищается. Франция сдалась за недели, вся Европа уложилась аккурат в гитлеровский блицкриг. Сопrotивление Британии можно было объяснить англо-саксонским характером, но Россию?.. Учитель сказал: «Молодой человек, вам надо прочесть “Войну и мир”». Так мог ответить и европеец, но из его уст это прозвучало бы как концепция, которой он чуть-чуть устало делится с другими, — как один из возможных ответов. Учитель же обыкновенной школы в Пенсильвании давал прямой, единственный, почти математически ясный, именно и только на этот вопрос ответ, истинность которого заключалась прежде всего в уверенности, что отвечать надо именно и только так.

О высоком реноме колледжа Брин Мор я узнал только после того, как получил оттуда приглашение на семестр. Это было одно из, по американским меркам, старых высших учебных заведений, ста с лишним лет, одно из принадлежащих к «Семи сестрам», семи престижным женским колледжам, дорогое, отчасти аристократическое. Бродский сказал: «Будете читать лекции персидским и арабским принцессам». Принцессы — были, одна пакистанская и одна арабская. Пакистанская однажды мне похвасталась, что ходит в парикмахерскую только по бесплатным рекламным приглашениям талонам. В последующие годы я встречал в разных уголках Европы и Америки пожилых респектабельных леди, которые оказывались выпускницами Брин Мора и, узнав, что я там учил, прихо-

дили в трогательное возбуждение. Здания из серого камня, архитектурно ориентированные на что-то вроде Оксфорда, больше тяготели к представлению о «храме науки», нежели к шалопайскому американскому «кампусу». Студентки знали мало, почти ничего, но в отличие от европейских, знающих *кое-что* и систему, через которую это можно превратить в *что-то*, были готовы узнать *всё*. Были открыты каждому слову, как *tabula rasa*, придающая любой написанной на ней проходной фразе значительность изречения. В комментариях и сопоставлениях, которые они делали, проявлялись, как правило, свежесть и новизна, граничащие с дикостью. Из-за «незамысленности» зрения они видели вещи, ускользающие от профессиональных исследователей, — как, например, Марго Розен, спокойно, без присущего в таких случаях филологам Старого Света ажиотажа заметившая, что Гость из Будущего в «Поэме без героя» играет роль Данте при Ахматовой-Вергилии, вместе путешествующим по темным кругам «Божественной комедии»: он сходит к мертвым, чтобы рассказать им про живых и потом живым рассказать о мертвых — как его прототип Исайя Берлин привез в закрытую железным занавесом Россию сведения о людях Запада или оказавшихся на Западе и увез на Запад слова тех, кого увидел в России.

О'кей, Америка была увлекательна и привлекательна, открыта живому слову и личности говорящего, но ведь и окатывала тоской, иногда смертной — сплошь и рядом происходившей оттого же, чем увлекала и привлекала. Он мог почувствовать себя, «как, помните, в опере “Пелеас и Мелисанда” Мелисанда говорит: “Господин мой, я несчастлива здесь...” Голо спрашивает: “В чем дело, Мелисанда? Почему ты вдруг начинаешь плакать?” — и она, рыдая, отвечает: “Я чувствую... я здесь плохо себя чувствую”. — “Плохо чувствуешь себя? Что случилось, скажи мне?” — “Не знаю. Я плохо себя здесь чувствую... Господин мой, я несчастлива здесь”. — “...Кто-то сделал тебе что-нибудь плохое? Кто-то обидел тебя?” — “Нет, нет, нет, никто не причинил мне зла...” — “Тогда что это? Ты не можешь привыкнуть к здешней жизни? Слишком скучно? Это правда, замок очень старый и угрюмый, слишком огромный и холодный. И люди, что живут здесь, все старые. И страна тоже, может придавить тебя угрюмостью, со всеми своими лесами, всеми этими бессолнечными лесами. Но мы можем заставить все это засиять, если захотим...”»

Америка заставляла «все это» засиять. Замок имеет право быть старым, угрюмым и холодным, и люди старыми, и леса мрачными, но колледж Брин Мор был *как* замок, и старые люди — *как* молодые, и хищная природа — *как* роскошная. Американские просторы были мускулистыми, почти как американские культуристы, в них не было ни камерной уютности европейских, ни покойной расслабленности русских. Воздух или не пах ничем, потому что чистый, — но не как ключевая вода, как дистиллированная, так что прохатывал *ничем* наподобие обморока; или — именно потому что чистый — в него вторгались обессиливающие струи нагретой мостовой и поп-корна. У американцев ведь что, говорил Драго, только корн-корн-корн. Летние, вынесенные на улицу кафе выглядели карикатурой на европейские: сок, кофе, лимонад приносились на столики в одинаковых цилиндрических жестяных банках. «А на церквях здесь, — подбавлял Драго, — крест равносторонний, как плюс». — «Ну это уж чересчур антиимпериалистическая критика», — снисходительно посмеивался Исайя. «А климат! Ведь все лето передвигаешься, просто как животное: дышишь и переставляешь попыта!» — «Климат — да, согласен: сколько нам ни рассказывали про Америку, почему-то никто даже не упомянул, что это тропики».

«Ну, конечно, он любил к нам приходиться — с чего бы ему не любить? — убежденно рассказывал Драго. — У американцев ведь, в общем, безвоздушно, а у нас душевно. Как в закуте: молоком пахнет, шерстью, скотинкой, душновато, тесновато, а главное тепло — как сама жизнь. Икона вон висит — Николай, по-нашему Слава, то есть Николаю Слава, но и так понятно, — и ведь верить не просит, хочешь — верь, не хочешь — не надо, просто Никола такой из семейного альбома. Никаких указаний, как жить. “Пристегните ремень, это закон”, “не мусорьте, это против закона” — никакого деспотизма Закона. Закон есть, все без надписей знают, а деспотизма нет. Это и было то, что он тогда сформулировать старался: отрицательная свобода — положительная свобода, либеральная — романтическая».

Не утверждаю, но допускаю: он ту и другую у нас, под нашей крышей, да просто во мне — живьем видел. Негативная свобода — маленькая, как коробочка, максимум с грудную клетку, и у нас, у славян, это — воля. Условно, конечно, огрублено, зато наглядно. Степка Разин, Раскольников — только Раскольников не Наполеон ни в коем случае, а именно Степка. А позитивная, в неперменной и неотъемимой связке с ответственностью, — это что-то вроде прав человека в современном исполнении: борьба за права человека, торжество прав человека. Иначе говоря — диктатура этих самых прав: огромная — и со всех сторон накатывает на маленькую. И маленькую — так Исайя понимал — надо поэтому защищать, хоть она бывает и разбойной. В отрицательной свободе есть положительная *ценность*, а в положительной — обязательная положительная *цель*. А это, он знал, опасно. Национализм, например. Наш, например, балканский национализм».

Он стал рыться в ящике стола. «Была фотография, мы с ним в нашем дворе. Я на ней вышел призраком, сказал ему: я тут как призрак. А он: а я как агент, преследующий призрака. Нет, не найти. Зато смотрите, — он вытащил старую афишку, — я вам покажу, как он свои лекции тут называл. “Природа и политическая наука: Гельвеций и Гольбах”; “Политическая свобода и этический императив: Кант и Руссо”; “Либерализм и романтизм: Фихте и права человека”; “Индивидуальная свобода и ход истории: Гердер и Гегель”; “Организация общества и золотой век: Сен-Симон и его ученики”; “Контрреволюция: Местр и начатки фашизма”. А все вместе — “Подъем современных политических идей в век романтизма, 1760—1830”. Красиво, да? Но — по-аристотелевски: последовательно, логично, приведено к виду, удобному для употребления. Это потому что он воли себе не давал — музыку заказывали американцы, и она должна была быть поп: короткие, всем понятные заголовки, пусть несколько и примитивнее самой мысли. Он, между прочим, это любил, ему нравилось, когда заказ, это его дисциплинировало и удобно связывало — в общем, облегчало дело. Представляете, как бы эти лекции звучали у Сократа — ну рассказал бы про всех от Гельвеция до Местра, а у кого политическая наука и у кого организация общества, не очень бы озабочился определять. И Исайя со мной и с ней, — он показывал на Визму, — так, не озабочиваясь, и говорил. Со мной и с ней — не говоря уж, думаю, о каких-нибудь Остине и Хемпшире. Но для Америки все должно было быть точно и прочно: так-то и то-то — и точка, без разночтений, без многоточий. Для Америки, но и от Америки исходящее: потому что, *так* говоря, нельзя не начать *так* думать».

«Послушайте, — говорил Драго, уже непонятно, пересказывая свои разговоры с Берлином или непосредственно мне, — людям ведь необходимо чувствовать себя в истории, не только европейцам, а всем — не обязательно в истории страны или нации, но в истории семьи, дома, сада, мебели, хутора, пейзажа — обязательно. Всем, кроме каких-нибудь лесных народцев в Африке. И — американцев. Раз-два — продал дом, выставил вещички на ярд-сейл, остальные упаковал, сел в грузовичок — и фьють за три тыщи миль. Постоянно ломают здания, сносят целые районы, тут же строят на их месте новые. Потому что если не менять, то сразу начинают тухнуть. Потому что не знают, как жить, чтобы и не менять, и не тухнуть. Они историю готовы при любой возможности разрывать и разрывают, у них к этому охота, они этим даже дорожат. Первая реакция — чуть не восторг, по себе знаю: я вне истории, вот она, свобода! А потом: какая же свобода, если вне, это же просто тюрьма наоборот, камера-одиночка наоборот. Ты будь свободен *внутри* истории, опутанный всеми ее силками, а не упрощай дело искусственно. Берлин возражал: “Вы не учитываете страх. Это же страшно — быть нигде, это же требует невероятного мужества”. Возражал, но сам-то, как все мы грешные, хотел знать, в какой точке циферблата каждую минуту находится. Только отшучивался: “Да не приставайте вы к ним. Хотят жить отвязано, пусть живут. Они не вы”. А я наседаю: “Нет, они — я! Все — я, и никаких таких других людей, которые не как я, не существует в природе. Я — не Драго, а одна сколько-то-там-ардная частица человечества. Но человечество — такое, только такое! Плюрализм Драг — таких как я, таких как вы, как Тито, как Сталин, как буфетчица Марь-Иванна из рижского Дома дружбы народов и ее дочка парикмахерша Тася, как тот хорват и тот вохровец, которого я приделал, в общем,

как все мы человеки — а не как какие-то особые американцы, которым, видите ли, не присуще чувство истории”. — “Ну хоть африканским пигмеем,— подтрунивал он,— уж позвольте быть не как вы, уж уступите”».

Из затеи проведения семинаров вдвоем ничего не вышло — факультет посмотрел на совместное предприятие своего рядового сотрудника с мировой звездой кисло. Больше того, все значительное и свежее, до чего Берлин и Драго договаривались, воодушевляя друг друга, в частных своих беседах или каждый в одиночку в монологах, воодушевляемых простым присутствием другого, было уже к моменту возникновения в качестве новой мысли не нужно не только университету, но и, так сказать, обществу в целом. Нужно было только то, что ко времени произнесения существовало как ограниченное, проверенное и принятое неким завершенным сертифицированным знанием, а новизна допускалась лишь в виде переформулировки известного. Это распространялось и на осмысление фактов, и на сами факты. Скажем, Драго терпели как чудака, его судьбу соглашались принять как сказку, потому что нельзя же сидеть в собрании и обсуждать академическую успеваемость студентов или, того пуще, задачи современной историософии с человеком, который проделал *такое* в действительности. Берлин, читая лекции, те, которых от него ожидали, то есть блестящие, с широчайшим охватом предмета и глубочайшей эрудицией и при этом вполне усваиваемые аудиторией, тем не менее пытался ввести в них, перевести на их язык, вывести из рамок условного опыта именно такого рода: *ужасов* века. Диктатур, взаимно-, что значит само-, истребления, Холокоста. Того, что проделал Драго. Словом, действительности.

Идеи исправления человечества, отталкивающего собственное счастье, которое готовы преподавать ему люди, заведомо знающие за других, в чем оно состоит и как достигается, Берлин отбрасывал самым решительным образом как вымышленные и вредные. Но в публичных лекциях, в частности, в прочитанных в Брин Море, сперва демонстрировал их безосновательное прекраснотушье и лишь затем исходящую от них опасность. Так что той части аудитории — иногда, возможно, всей целиком,— которая им сочувствовала, он бросал не политический вызов, червоточный немедленным отчуждением, а предлагал прежде всего убедительную логику философии и истории. Соображения о том, что преодолеть народная масса свою необразованность и навязанную ходом вещей несправедливость и отдайся борьбе за — и труду на — общее благо, разбивались о действительность, в которой человеческая природа всегда оставалась равной себе. (Я, например, долгое время был уверен, что, когда в России прочтут «Архипелаг ГУЛАГ», «изумленные народы» раз навсегда проклянут террор, а за ним и породивший его режим. Ничуть. Да, мелкие ошибки случались, но главное не только правильно, а только так и должно было быть. И даже что брата родного закатали и не вернулись, кто закатывал, тот знал, а нам всего знать и нельзя, и не дано, и не надо.)

Благодетелей такая косность, естественно, огорчает и приводит в раздражение, но убежденности не колеблет. Мой друг переезжал, еще в пору железного занавеса, жить на Запад, предложил опубликовать там мои стихи, потому что в России их не печатали, считали «нецелесообразным». Я не хотел, сказал, что не хочу, он уговаривал, мы были недовольны друг другом, в конце концов я твердо отказался, даже запретил. Через месяц он выступил по тамошнему радио, упомянул и о нашем разговоре, объявив слушателям, что он знает стопроцентно, что я только «говорю» так, а на самом деле, конечно, сплю и вижу стихи опубликованными. Он был искренно в этом убежден, потому что он-то свои напечатать хотел, ну и объективно публикация стихов — дело не плохое, хорошее, так что что же тут можно возразить? Враждебное мне государство и преданный мне друг состязались за то, у кого больше прав мной распоряжаться,— я был безгласен. Как описывал Берлин свой приход в Сербитонскую школу: «В первый день я не разговаривал ни с кем; меня заставили рисовать — я рисовал; единственный раз в жизни, когда я что-то нарисовал правильно». Но, как говорит в подобных обстоятельствах другой мой друг, художник Олег Целков — «еще надо спросить, хотел ли я нарисовать правильно».

Америка (не Соединенные Штаты, *Америка*, скорее как концепция *Новый*, почти *Тот* Свет — *Америка*, в которую уезжает Свидригайлов) была местом, где

человека тоже «заставляют»: жить «правильно», то есть так, чтобы ему было «хорошо». И убежденность в подлинности предлагаемых ценностей, которые, как правило, имеют материальный, довольно точно вычисленный эквивалент, представляемый наглядно, в стоимости сведенных в целостную систему благ, дает здесь сто очков вперед пропаганде любой — коммунистической, националистической — идеологии, всегда в достаточной степени *разыгрываемой*, строящей туры на колесах. Но человека «еще надо спросить, хочет ли он жить хорошо», во всяком случае, именно *так* «хорошо», как ему предлагают. И даже если да, знает ли он и знают ли те, кто предлагает, до каких пределов простирается и до каких пор действует эта хорошость. «Когда в тысяча девятьсот четырнадцатом году началась Великая Война, — вспоминал Берлин, — евреи ничего не имели против немцев. Хотя немцы тоже были антисемитичные, но они были куда менее антисемитичные, чем русские, конечно. Так что евреи их не звали, но и не имели ничего против того, чтобы они пришли». Всего за двадцать лет до начала Катастрофы. И это еще то, что у всех на виду. А что бывает с теми «хорошо» и «плохо», «правильно» и «неправильно», которые внутри — у любого, у каждого!

Достаточно благополучный социально-политический опыт Берлина был далек от таких, как мой, приобретаемый в постоянном отталкивании от государства и общества, и тем более от таких редкостно непосредственных, первобытно-кровавых, как у Драго. Но внутренний опыт страстей, желаний и идиосинкразий вдохновляет воображение и обладает потенциалом, которые всегда превышают всё, что способна предложить реальность. Предпочтение, которое человеческая натура может оказать и сплошь и рядом оказывает *неизвестному* перед *заведомо* благим или, более того, выбирает принцип «чем хуже, тем лучше», одним разом отменяет для конкретного человека все критерии общепринятого «хорошего» и «плохого». Для Берлина этот опыт был открытой книгой, часть страниц которой была им самим написана, и он защищал право любого иметь какие заблагорассудятся *личные* желания и нежелания, даже если *все*, поголовно, докажут, что они ему же самому невыгодны. И защищал это — так, во всяком случае, казалось с близкого расстояния непредвзятому наблюдателю — более пылко, чем ограничивал ради защиты желаний и нежеланий *общества*.

Америка экономически и социально работала, как хорошо выверенный, постоянно проверяемый и смазываемый сложный часовой механизм, и при этом готова была принять еще одного человека и еще и еще в качестве запасных шестерен на ось, и без них устойчиво функционирующую. Механизм получал дополнительный запас прочности, а люди место. Но, с другой стороны, выходя по вечерам с этого места работы и разъезжаясь в полученных на заработок автомобилях, они и по дороге к дому оказывались в окружении не других водителей, как в какой-нибудь России, а других автомобилей, то есть опять-таки механизмов. Ну что ж, это значило только, что мироздание не обыграешь, что, как и говорили в школе, где чего прибавится, в другом месте столько же отнимется. Эмигранты из России, прожив в Америке двадцать и тридцать лет, продолжали говорить об американцах «они», а о стране «здесь». «Здесь о себе не рассказывают, а — я о'кей, улыбкой оскалились и разошлись». «Они не цветы друг другу дарят, а корзины с фруктами». И так далее, совершенно как мореплаватели о диких туземцах.

Берлину в голову не приходило не то что давать моральную оценку предлагаемому — культурному, гражданскому — порядку, а и сравнивать с какими-то другими по принципу «преимущества-недостатки». Просто принимал его, как он есть, — но зато и сам оставался, как он, Берлин, есть. Он ответил президентше колледжа Брин Мор на ее приглашение благодарным информативным, безукоризненно этикетным письмом, кончив его, однако, простецким, доверительным, типично берлиновским: «продолжаю дрожать». После одного совместного ланча в Нью-Йорке я стал ловить такси, уверяя его, что это минутное дело, идут одно за одним, а он меня шутливо окорачивал: «А мне знающие люди говорили, что тут, если видишь такси, то в нем *уже* сидит американец». Дескать, вот так, такой тут порядок. И рассказ Драго об одном его пронзительном сне он выслушал все с той же сочувствующей, понимающей, принимающей порядок вещей улыбкой, говорившей: а что можно этому противопоставить?

Непосредственно после перелета из Германии в Америку Драго попал на короткое время в Калифорнию: любезное ЦРУ думало, что надо дать ему прийти в себя. Просто жил, раз в неделю выступал перед студентами в ближайшем университете, ел фрукты, спал. Однажды приснилось, что он в лагере, но не в палатке, а в большой комнате около вахты, и из окна видна улица, ведущая из зоны. Полно женщин, в ватных телогрейках и валенках, их сейчас должны выпустить на свободу, кончился срок. Драго в страшной спешке, и, прячась, чтобы охранники не увидели, пишет записки на волю, передает женщинам, они пихают их себе за пазуху. Он в невероятном волнении, не найдут ли при обыске, смотрит, как они выходят за ворота. Ни одну не задержали, он видит, как они удаляются по улице, и на него накатывает ощущение немислимого счастья, с которым он тут же и просыпается и еще с полминуты в этом блаженном состоянии лежит. И вдруг с резкой ясностью осознает, что на пятьсот миль вокруг нет никого, ни единого человека, с которым он мог бы этим сном поделиться и тот бы понял, в чем тут дело, с чего такой восторг... И что, в самом деле, можно этому противопоставить?! Эмоции, недовольство, недоумения, тщательные разъяснения? Да нет, ничего, кроме самого себя,— с этими своими снами, с этим представлением о счастье. И пусть оно будет принято за чудачество, а сон за сказку, пусть: ничего обидного, тем более худого, в этом нет.

Драго описал мне, как это было, когда он говорил Берлину и как тот все время пересказал улыбаясь, а потом совсем как-то невпопад сказал: «Сербитон — маленькое такое заместье, никакая это не деревня. Я не знаю, двадцать минут от Лондона. Тогда это еще было очень мило: ходили какие-то джентльмены в таких черных соломенных шляпах, и девицы играли на рояли — и разные люди со всякими шпагами во время войны. И я там пошел в школу». Драго ни с того ни с сего пробормотал под нос: «В Филадельфии убивают одного человека в четыре дня; четверть человека в день». Он смутился, но был уверен, что сказал на тему. А я, все это выслушав, не менее невпопад — и зная это — произнес: «И мне пришло в голову — здесь, в Брин Море, буквально неделю назад. Будто Хрущев предлагает увековечить память Жукова, еще живого, только что отставленного: “Мундир есть. А вместо лица надо вышить кожаную подушку. И положить все на диван”». Я проговорил эту чушь, но Драго и Визма и сам я знали, что имелось в виду, — как оба они и Исаяя знали, почему он вспомнил свое впечатление, похожее на фантастическое, от чужеземной Англии; и почему дал ему такой, тоже похожий на фантастический, ответ Драго. Тут и нельзя быть впопад. Главное, чтобы не ставить себя *вместо* существующего, сколь бы чужим он ни был, порядка вещей, а невпопад — пожалуйста.

Берлин умел и любил показывать людей, манеру их речи, даже немножко выражение лица. Но никогда не обидно для них, и хотя, изображая их, всегда сам оставался на переднем плане, то есть Исаяя Берлин, кого-то показывающий, а не кто-то, показываемый Исаяей Берлином, нельзя было увидеть ни следа его превосходства над показываемым, актер не выглядел ни умнее, ни одареннее, ни осведомленнее персонажа. Морщинистый Эйнштейн из бронзы, в свитере и сандалиях на босу ногу, сидит на Авеню Конституции в Вашингтоне над полированной гранитной площадкой, изображающей звездное небо, но осенью и зимой листья, падающие с деревьев, закрывают то одно созвездие, то другое, перечеркивая тем самым и знаменитую формулу энергии-массы, тут же сбоку процарапанную, и всю общую теорию поля. Не то чтобы листья важнее космоса, но там, где нет листьев, космос в самом деле может, как у героя Достоевского, оказаться не более чем комнаткой вроде деревенской бани, закоптелой и с пауками по углам. Другими словами, никакая, пусть самая грандиозная абстракция никогда не больше любого, пусть самого обыденного проявления жизни. Трюизм, не правда ли? Но Берлин, во всяком случае, отдавал бесспорное предпочтение конкретному человеку перед самыми великими достижениями «человечества».

Принцесса и нищий

РАССКАЗ

В новогоднюю ночь Светлана Ивановна проснулась от страстного объяснения в любви. Мелькнуло и больно укололо подозрение: не муж ли? По шепоту трудно сразу узнать, но вот одна громкая фраза, и она с облегчением вздохнула — всего лишь Жаканов. Кому это он, интересно? Неужели Оленьке? Ну она достаточно практична, чего за нее волноваться. Только сегодня вечером познакомили их: «Жаканов, я тебе представляю...» «Олюся», — поспешно та назвалась сама — в стиле ретро. «Ужасно, — улыбнулся Жаканов, — звучит, как удар подушкой». «А Жаканов — звучит как... шум наждака», — не растерялась Ольга. Да она и сейчас вон все его подкалывает. И вдруг... Что такое, куда его понесло?!

— Ты боишься смерти?

Ночь, лютый мороз, да еще гадали по Библии, только кладбищенского духа не хватало. Даже Светлане Ивановне боязно стало: у-у-ух! И тут же донеслось Оленькино трепетное, восемнадцатилетнее:

— Да, боюсь. Да! У меня дедушка осенью умер. Был мне... вместо отца.

Молчание.

Возможно, Ольга вспоминала деда, Светлана Ивановна много слышала о могуществе директора треста ресторанов и кафе, о том, сколько всего он завещал Ольге: и машину, и дачу, и деньги...

Диван хрустнул, когда Светлана Ивановна села и потянулась к выключателю. Сначала деликатно щелкнула несколько раз туда-сюда, словно спросонья, и лишь после этого повернулась к своим гостям. Напрасная предосторожность — они слишком ценили себя, поэтому не спешили изменить положение, не отпрянули друг от друга. Локоны Оленьки безвольно лежали на подушке, а Жаканов выглядел сгустком энергии, сжатой пружиной, готовой вот-вот распрямиться. Он и всегда был плотным, но сейчас в глазах полупроснувшейся, полугрезившей Светланы Ивановны предстал прямо куском свинца, к которому приклеили усы. «Пуля с усами», — скорее ласково, чем насмешливо, подумала Светлана Ивановна и спросила:

— Бред какой-то! Жаканов! Ты только что развелся и опять рвешься к цепям?

— Светка! Как ты кстати! А то мне не верят насчет развода.

— Имей в виду: ее мать — моя начальница. Раз. Там ищут принца — два.

— Светка, ну ты даешь! Чем я тут помеха?! У меня же ничего нет. Ты знаешь, как иголку ищут? Палец нужно помуслякать и водить им. — Он тут же поплевал на свой палец и начал пародийно искать «иголку» в районе своих бедер, подражая неким магическим пассам.

То ли дар комика внезапно проснулся в нем, то ли Светлана Ивановна была слаба спросонья, но она буквально раскисла от смеха, махнула рукой, выключила свет и сомнамбулически побрела в гостиную — в поисках мужа. Оленька тоненько пискнула:

— Светлана Ивановна, я в джинсах, вы не беспокойтесь.

Принцесса в джинсах. Вечно они заджинсованы, покрашены, ухожены — она и ее подруги. Даже в баню ходят и с медом там парятся, чтобы благоухать.

Да, кстати, надо где-то достать хорошего меда, у старшего опять гланды... Но сейчас спать, спать: завтра ехать за детьми, много уборки, благо готовить не нужно — пельмени остались.

Утром Жаканов бесцеремонно растолкал хозяев дома:

— Мы уходим, Светка, имей в виду — девственность Оли в полном порядке.

— Да ну! — возмутился муж Светланы Ивановны, раздраженный тем, что его подняли так рано. — У тебя была целая ночь в распоряжении!

— Так и знал, что ты скажешь гадость! Так и знал... — начал распалтываться Жаканов, заталкивая Оленьку в ее сверх-сверхпортугальское пальто, но вдруг благоразумно решил помолчать, рванул дверь и вылетел на улицу, увлекая за собой бессловесную девственницу. Однако через десять секунд влетел назад — за был перчатки. Спокойным уже голосом спросил:

— Она чудесная, верно?

Светлана Ивановна промолчала — не потому, что была не согласна, а потому, что не хотела вмешиваться. Сам не маленький.

Когда он вышел, муж Светланы Ивановны басом пропел:

— «О, Ольга, отдайся, озолочу!» — обещал отец Онуфрий... Новый год он начал с новой любви, значит...

— Знаешь, чем он ее расположил? В жизни не угадаешь, — скорее восхитилась, чем возмутилась Светлана Ивановна. — Разговором о смерти.

— А я-то думал: чего он весь вечер такие страхи про психиатричку рассказывал? Вот оно что...

Они принялись за уборку, обсуждая прошедший вечер и Жаканова. Мол, для Ольги он слишком стар, все-таки тридцать. Кроме того, он же свободный художник. То есть числится на договоре в газете, но фактически не работает, перебивается редкими гонорарами. Сидит дома и пишет сценарии, которые пока никто не берет. Красив? Еще да. Талантлив? Еще как. Пробьется? Если не устанет так жить, обязательно пробьется. Ему бы выиграть в лотерею. Или жениться на Оленьке. А почему бы и не жениться? Очень красива? Да. Очень глупа? Нет. Вполне возможно, что женится. Не нужно тут осуждать, как-никак Жаканов — друг ранней молодости, и есть еще шесть-семь человек — целая компания, в которой все связаны крепкими узами...

Стоит ему жениться — и проблемы «прокормиться» не будет. Правда, и писать станет некогда: машина, дача, квартира, юная жена — все это потребует времени. Хотя теща и ее друзья могут позволить ему иногда писать, потому что они могут устроить, пристроить, в общем, опубликовать. Они все могут.

— Свет, а помнишь, он написал, что поцелуй в подъездах щелкали, как пощечины? А про руины пицци на свадьбе!

— Мне больше нравится, что нервы натянуты, как линия Пикассо — тронь, порвутся.

— Тьфу, фу! Вечно вам, женщинам, нравится какая-то ерунда... Да-а. Представь: у Жаканова свой кабинет, машинка «Эрика», слева — портрет Пикассо, справа — еще кого-нибудь. — Муж Светланы Ивановны размахивал шваброй налево и направо.

— Завидуешь?

— Нет, но...

В жизни между тем тоже было свое «но». В доме Оленьки переполох: после новогодней ночи она не спит, не ест, все сидит у телефона и ждет, кричит на мать, чтобы та не включала громко воду и все такое прочее. Ищут виноватых и, конечно, находят — Светлану Ивановну: она познакомила. Мол, совсем не для этого пустили в ее дом пастись свою дочь, а для обогащения идеями. Если бы еще Жаканов не был совсем нищий! Но не в этом беда, а в том, что он и не хочет нигде работать. Но и не это самое страшное, писать — пусть пишет, пожалуйста, будут кормить его год и два, но только при условии, чтобы были плоды, результаты, так сказать. Но ведь он не звонит, негодай, не любит их дочь, подумать только, чего ему еще надо? И библиотека, и

вкус, и Олюся хороша, чего ему не хватает-то? Оленькина мать доказывала, что Жаканов не стоит мизинца ее дочери. Она говорила это не только Светлане Ивановне, но и всем своим подчиненным. Информация поступала со всего города по телефону, и в зависимости от новостей мать то и дело сокрушалась:

— Чего доброго, обрухатит до свадьбы!

— Говорят, он так скуп, так скуп!

— Господи, у нас в Москве такие связи, в том числе в кино.

— Растранижит все ее деньги! Но пусть не рассчитывает — я книжку заберу себе под контроль.

— Вы слышали, Светлана Ивановна, он же импотент! Поэтому его бросила жена. Зачем вы их познакомили?

— Только б женился, а уж мы все устроим, все устроим.

Светлана Ивановна все выслушивала, успокаивала, но конец терпению ее уже был близок. Тем более что сама Оленька торчала в ее доме вечерами, вздыхала о Жаканове, хваталась за каждую книжку, которую тот якобы хвалил. Однажды, когда он уехал в Москву (очередной сценарий повез) и не звонил, не писал две недели, Оленька истерично расплакалась:

— Я знаю, он... он думает, что я просто сытая девочка. Да-да! Он даже не подозревает, что я жертвенница и что мы можем помочь на Мосфильме. Мама все может... все.

— Оля, что случилось? Ты пожертвовала?.. — осеклась Светлана Ивановна, решив, что не ее это дело.

— Ради него я МОГУ пойти на большие жертвы!

Все в порядке, не пожертвовала ничем, а только МОЖЕТ. Светлана Ивановна быстро прокрутила в голове возможные большие жертвы: уйти из дому, отдать свои деньги в фонд ЮНЕСКО? Чем еще она может поразить?

— А на какие именно жертвы? — тупо уточняла Светлана Ивановна.

— Ну я могу, вполне могу... обойтись без всего!

— Совсем без всего или как? — ехидно вставил словечко муж Светланы Ивановны, заглянувший на кухню за ложкой.

Светлана Ивановна быстро спровадила его, хотя Оленька уже начала вежливо отвечать на вопрос:

— Могу без всего жить, к чему привыкла, да-да! Например, по утрам... в общем, буду есть то же, что все. Конечно, не яйца каждый день и не масло, я его вообще не ем. Но колбасу могу.

Она рассчитывала, может быть, что разговор будет передан Жаканову, но Светлана Ивановна щадила девочку, ничего не передавала, не советовала, хотя однажды Жаканов прямо спросил ее: жениться, что ли, ведь Ольга любит так, как его уже никто не полюбит?

— Еще чего — никто! Да если б я кого-то встретила в свои восемнадцать лет, такого тридцатилетнего, как ты, оригинала да еще с этим вот увесистым слитком усов под носом...

— Я серьезно тебя спрашиваю, Светка, а ты!

— Ну скажу я: женись, а ты будешь несчастлив, повесишь дома мой портрет и закидаешь его тухлыми яйцами. Или скажу: не женись, ты останешься одиноким и проклянешь меня: мол, почему она помешала мне быть счастливым? Нет, избавь, решай сам.

Оленька решительно всем казалась милой, а мама ее давно никому не нравилась. Она была ответственным секретарем одной из могущественных газет, когда-то окончила рыбный институт, и, возможно, вследствие этого у нее был сильно развит хватательный рефлекс. Она могла прийти к заведующей книжным магазином и заявить: «Вчера была в доме рангом ниже и видела книги, каких нет у меня. Безобразие! Продайте мне этого Ингри... Ингру». Но заведующая тоже не знала такого художника. Тогда призывалась Светлана Ивановна, которая догадывалась, что речь идет об Энгре. Скоро Светлане Ивановне уже передали, что за ее спиной часто звучит такая фраза: «Я ей могу две премии за

журналистскую инициативу устроить, если она женит Жаканова на Ольге! Как она не понимает!»

В компании по этому поводу спорили жаростно: одни говорили, что главное — любовь, жить не с матерью, а деньги — дело сугубо временное. Другие были категорически против, упоминали все один и тот же американский рассказ про подобную женитьбу и чем все закончилось в снегах Килиманджаро. Причем противниками свадьбы оказались те, кого раньше Светлана Ивановна считала наиболее озабоченными устройством ПРИЛИЧНОГО дома, гостеприимного тона и так далее. Они не только отличали гарнитур «Европа» от вышедшей из моды «Хельги», но и знали две разновидности «Европы», также предвидя появление третьей, самой современной. Может быть, от того, что они знали толк в вещах, знали и цену им, доходы Оленькиного семейства их смущали. Они подозревали мать Оли во всех смертных грехах. Светлана Ивановна как могла защищала, объясняла кое-что: Оленькин отец — ныне видный геолог, работающий руководителем где-то на приисках, на севере, всегда присылал огромные алименты.

— Ну какие уж такие огромные! — возражали друзья. — Все равно не хватило бы на то, что есть в доме и на девчонке. На ней одной джинсовая тройка, дубленка, соболя на голове, а в запасе еще сколько!

— Восемнадцать пар босоножек. Мы так и зовем ее «Восемнадцать босоножек», — добавил муж Светланы Ивановны, взявший в этом споре роль беспристрастного наблюдателя, подкидывающего реальные факты как той, так и другой стороне.

Противники женитьбы подхватили эти факты:

— Восемнадцать босоножек. Они же нэпманы!

Сторонники женитьбы пожимали плечами:

— Не нужно кидаться обувью. Речь идет о счастье. Девочка не виновата, что у нее такая семья.

Противники наседали на Светлану Ивановну:

— Поговори с Жакановым — пусть поостережется.

Сторонники наседали на Светлану Ивановну:

— Скажи ему, что любовь перевоспитывает.

В голове у нее все перепуталось: нэпманы, не виновата... Тем более что сама Оленька в один день могла заявить так:

— Между прочим, я считаю: если иметь вкус, можно и с нашими товарами одеваться стильно. Были бы деньги и время.

«Вот то-то и оно, что деньги и время, — думала Светлана Ивановна и заключала: — Нэпманы».

А вечером Оленька приносила отличный мед, великолепное лекарство от ангины, помогала приготовить ужин, читала детям.

«Не виновата», — перерешала Светлана Ивановна.

Мать Оли уже сходилка к гадалке, чтобы выяснить, женится ли Жаканов, но та ответила туманно насчет дальней дороги, через которую Оле будет счастье. Пока Ольга рассказывала это Светлане Ивановне, муж бубнил под нос недвусмысленно: «Где государь? — В своей опочивальне он заперся с каким-то колдуном. — Так вот его любимая беседа: кудесники, гадалки, колдуньи...»

И вот однажды, уже на исходе весны, Ольгина мать прибежала в кабинет Светланы Ивановны и закричала:

— Вы знаете Базиля из «Вечерки»? Он еще за дискотеку отвечает? Который уже полгода как ушел на договор?

— Это мой друг.

— Светочка Ивановна! Можете дать его домашний телефон?

— Зачем? — настороженно спросила Светлана Ивановна, соображая про себя: неужели они еще где-то кому-то... про нэпманов?..

— Значит, есть телефон? Есть? — И мама Оли зарыдала так же темпераментно, как жила. Она одновременно смахивала слезы, сморкалась, прикладывалась за утешением к плечу Светланы Ивановны и тараторила: — Не ночевала! Только что заявила домой — в одиннадцать утра. Я так и знала, что этим кончится! Муж ска-

зал, что все вы виноваты, ваша богемная компания, до встречи с вами она никогда... Но я не верю, нет, где тут ваша вина. Говорит, после дискотеки засиделась с Жакановым у Базиля, что новая квартира, нет телефона, то есть недавно поставили, не работает... Я хотела прямо ночью ехать к вам. Муж сказал...

Светлана Ивановна ответила прямо: мол, если наша вина и компания не нравится, то Ольге нечего ходить к ним.

— Светланочка Ивановна! Что вы?! Я же ничего, это муж. Помогите мне, посоветуйте: что делать? Выгнать ее из дома? Может, вы поговорите с Жакановым, чтобы оставил ее в покое, зачем ему моя дочь? Пусть не позорит наш дом. В конце концов я работаю на ответственном месте, и репутация мне дороже какой-то беспутной дочери... Я там приготовила вещи для ваших детей, мне принесли для знакомой, а она уже купила костюмчик.

— Оставьте себе, Оля вот родит, ей пригодится.

— Она уже не родит — видите, в гулящую превратилась. Что же делать? С Жакановым самой если поговорить, а? Или вы сами?

Не на тех напали. Наша богемная компания умывает руки, решила про себя Светлана Ивановна. И вообще надо в самом деле поговорить с Жакановым, чего таскается с девчонкой по ночам, пусть вообще ее бросит, дуру, если даже про телефон она как следует соврать не умеет. Вся эта история надоела. Позвонила Базилю: мол, давайте соберемся и вместе поговорим с Жакановым, пусть бросает все это. Увы, отвечали они, уже поздно, там та стадия влюбленности, когда нужно видаться каждый день, когда вообще сложно расстаться на несколько часов. Если сейчас выступить против, это лишь усилит страсть. Зачем? В подтверждение всего позвонила сама Оленька и пригласила Светлану Ивановну забежать к ней домой в обеденный перерыв: поесть и поболтать. Голос у нее был счастливо-усталый:

— Мне, конечно, вечером еще попадет, но сейчас мама на работе, отчим тоже, приходите!

Светлана Ивановна согласилась, собираясь хотя бы выругать девчонку за то, что не думает о других.

Только она вошла на кухню, два кормильца, два холодильника, два «ЗИЛа», выпятив брюхо, заурчали на нее. Оленька порхала по огромному, залитому солнцем пространству кухни, убирая со стола остатки своего обильного завтрака, а может быть — обеда. Потом открыла один из холодильников и долго искала что-то, повернувшись спиной к Светлане Ивановне и закрыв содержимое, но оно все равно то и дело вываливалось оттуда то в виде яблока, то в форме банки сгущенки. Наконец она достала для гостыи несколько вареных картофелин, уже посиневших от мыканья по холодильникам, и принялась их жарить. Из всего этого Светлана Ивановна неожиданно заключила, что дела Оли действительно хороши, в помощи других она не нуждается. Почему-то подумалось о том, что пора сменить работу.

Следующая неделя была спокойной, начальство не трогало Светлану Ивановну по личным вопросам, да и в компании уже не спорили о будущем Жаканова. Сама Ольга в гости не приходила. Светлана Ивановна обсудила с мужем положение вещей, и было решено поработать еще на прежнем месте. Буквально через несколько минут после этого разговора раздался звонок в дверь, и в квартиру ворвалась Ольга. На ней лица не было, оно походило на какую-то японскую маску: глаза сузились, ноздри застыли в напряжении, рот исчез, ужасный куда-то внутрь. «Нет, уволюсь, уволюсь!» — проплыло в голове Светланы Ивановны почему-то в виде текста заявления об уходе.

— Я сказала ему, что беременна! — трагическим шепотом произнесла Ольга, и Светлана Ивановна повлекла ее на кухню, подальше от детских ушей.

— В самом деле? Уже?

— Не знаю. Может быть. Но я должна знать точно, женится ли он на мне, если это случится. Зачем рисковать так долго? Я хочу знать в конце концов, как он к этому отнесется.

Светлана Ивановна вовремя отвернулась. Ольга не знает, что первая жена ушла от Жаканова именно потому, что не было ребенка. И каково же сейчас Жаканову? Светлана Ивановна хорошо знала своих друзей, поэтому легко представила внутренний монолог Жаканова — вплоть до его ехидных интонаций. Сидит небось и думает: «Если Ольга не беременна, то как это подло с ее стороны — шантажировать. Ну а если все-таки беременна? Черт знает эти дела: у одной женщины не было от меня детей, а у другой вдруг да будут. Но тогда это подло с моей стороны — жениться-то совсем не хочется. Или жениться все-таки?»

— Оля, так он-то что сказал?

— Что в гости придет. С визитом. В дом. Светлана Ивановна, это хорошо или плохо?

— Чего не знаю, того не знаю.

Она прекрасно знала, что для компании это плохо; был Жаканов — и не стало.

Но после похода в дом Жаканов резко порвал с Ольгой всякие отношения. Светлана Ивановна в декабре съездила в отпуск, привезла хорошее вино и на Новый год снова позвала всех к себе. Жаканов пришел с новой знакомой: тридцатилетней географичкой из университета, кандидатом наук. Сначала всем показалось, что та явно подсушена стародевичеством и науками, но первая же фраза сбила их с толку.

— Вы в газете? — обратилась она к Светлане Ивановне. — Знаете, сегодня у нас на столбе я видела такое объявление: «Просьба не срывать — не могу ходить из-за больных ног. Кто хочет поселиться в маленькой уютной комнатке за минимальные услуги по хозяйству двум престарелым супругам (74 года), обращайтесь по адресу...» Нельзя ли через газету что-то сделать для них? Может, дети погибли, и вот люди вынуждены обратиться ко всему белому свету... — Тут она сбилась и умолкла, потом вышла на кухню помогать мужу Светланы Ивановны, готовившему плов. Все сразу напали на Жаканова:

— Она изображает или такая чудесная и есть?

— А что там у Оли случилось?

— Ты к Оле домой-то ходил?

— Ходил, — ответил Жаканов весело. — Пришел, представился, посидел и поговорил о политике.

— Зачем?

— Показал, что я порядочный человек — в их понимании. Но...

Тут в комнату вернулась географичка, и все замолчали. Больше об этом за вечер и ночь ни разу не вспомнили. Только начальница Светланы Ивановны как-то ей сказала:

— Подумайте только: я подала крошку, жареные грибы, три мясных, не считая закуски, блинчатые пирожки с икрой, конечно, торт... Еще пирог Оля сама испекла. Чего ему не понравилось — ума не приложу. Впрочем, все к лучшему. Неизбежно был бы мезальянс. Вот я за Попова выходила, Олиного отца, тоже был нищий-разнищий. Студент-геолог. И нагло требовал, чтобы я ездила с ним в партии, в поле. Разве это не смешно, скажите?..



Д в а р а с с к а з а

ЧУБ

Научились у нас готовить шашлыки. Пять больших сочных кубиков свинины, политых томатным соусом и присыпанных зеленым луком. Солёный помидорчик, кусочек хлеба. Чего не хватает? Правильно, пива! Я взял бутылку «Клинского».

Весна. Рынок возле метро. Солнце, небо синее, облака охотно отражаются в грязных лужах. В торговых рядах хрипит «Комбат».

Хорошо!

Грязная местная собака осторожно обнюхала мое колено. Посмотрела в глаза. Нет, дорогая, все сам, и мясо, и пивко.

Я взял ломкую пластмассовую вилку, пощекотал первый кусочек мяса, втянул носом запах. И тут на мой стол упала тень. Я скосил взгляд — два мента. С автоматами. Морды мрачные.

— Распиваем?

— Да я покушать...

— Документы.

Я похлопал себя ладонями по карманам, хотя отлично знал, что никаких документов у меня с собою нет. Вышел ведь за картошкой, а не в загранплавание.

— Пройдемте!

Спорить бесполезно. Даже если ты не виноват перед законом, то виноват перед милицией. Тем более парни при автоматах. Но я все же попытался отыскать какие-то аргументы в пользу того, чтобы остаться при своем пиве. Обшарпанный ствол одного из автоматов коротко и больно уткнулся мне в ребро.

— Не задерживайте!

И я не стал задерживать. Бросил только взгляд глубокого сожаления в сторону своего шашлычка. Видимо, для того чтобы меня не мучили мысли о его дальнейшей судьбе, один из ментов, добрый, который не тыкал в меня автоматом, спихнул мясо под ногу стола. Моя знакомая собака, ничуть не удивившись подарку судьбы, начала слизывать кетчуп со свинины.

Посадили меня в тряский «уазик» и повезли. Когда мы миновали хорошо знакомый поворот к отделению милиции, в глубине моего возмущенного недоумения зародилось новое чувство. Я понял, что дело обстоит хуже, чем можно было предположить вначале. Я припал к зарешеченному окошку. «Уазик» трясся в сторону центра. Та-а-к. Я нервно повернулся к старшему милиционеру, и в тот самый момент, когда я собрался открыть рот, его мне одним профессиональным движением заклеили липкой лентой. Вдобавок ко всему на руках защелкнулись наручники.

Конечно, я затрясся, яростно загундосил, стал возмущенно выпучивать глаза. Мол, ошибка, страшная ошибка здесь! И тут по мозгу полоснуло чем-то черным: Чечня! Мама родная! До чего дошло! Переодеваются ментами и ловят прямо в Москве! Но я же не банкир, не генерал. Простой работяга. Что с меня взять, кроме квартиры, да и та на тещу записана. Дача-сараюшка на шести сотках. Ничего больше нет. Они заставят Валю продать квартиру, и она с двумя маленькими детьми... Я свирепо дернулся, но почувствовал, что делаю это зря. Меня держали лапы-капканы.

«Уазик» выскочил на Садовое кольцо и покатил к Курскому вокзалу. Сердце у меня упало и запрыгало на ледяном полу. Вокзал? Значит, точно — Чечня! Сейчас впихнут в ящик под лавку, через сутки в Грозном, потом горы, отары... Может быть, на всю жизнь. Валька ведь откажется продавать квартиру. Она будет даже рада от меня, дурака, избавиться.

Не доезжая до площади Курского вокзала, мы свернули в переулок.

Все правильно. Не потащат же они человека с заклеенным ртом прямо чез здание вокзала. Подвезут к какому-нибудь заднему входу... Господи! Ну почему я?! Мало ли у нас людей с большими деньгами. Если разобраться, я не такой уж враг чеченского народа. В душе я даже слегка осуждал, когда бомбили эти, Семашки.

Остановились мы, как я и предполагал, в полутемной подворотне возле укромной двери. Она распахнулась на мгновение, и я влетел туда на руках моих угрюмых архангелов, как невесомый. Далее полет продолжился на лифте. Вверх. Зародились первые сомнения насчет Чечни. После лифта была мягко освещенная лестничная клетка. Двухстворчатая железная дверь без номера. Она тоже открылась как бы сама собой, и вот я уже в роскошной прихожей. Такие жилищные условия мне приходилось видеть только в телепередаче «Герой дня без галстука».

Я не успел как следует осмотреться, откуда-то слева ко мне вышел большой лысый толстяк в спортивном костюме. Старший мент доложил ему, что вот, мол, доставлен. Толстяк включил в прихожей дополнительный свет и одним длинным движением освободил мой рот от клейкой ленты, попутно выдирая волоски из верхней губы. Из глаз моих непроизвольно потекли слезы. Толстяк, что-то успокаивающе шепча, приподнял двумя пальцами мой подбородок, потом отступил на шаг, наклонил голову, прищурился. Каждое свое движение он сопровождал тихим восклицанием «отлично, отлично!». Велел ментам повернуть меня в профиль, в последний раз произнес свое восклицание и громко приказал:

— Мыться!

Меня поволокли в глубь квартиры по коридору. Я оказался в ванной комнате с черными мраморными стенами. Ванна была огромная, треугольная, с золотыми кранами. В ней бились буруны воды и дрожали горы пены. Больше я ничего не успел рассмотреть, с меня начали быстро и умело снимать одежду. Тут я совсем успокоился. Перед отправкой в Чечню не моют. Мне было немного неудобно за состояние моего бельишка. По правде сказать, не меняно оно было уже больше недели. Хотя, что это я о ерунде. Неплохо все-таки было бы узнать, чего им, собственно, от меня надо?!

Я не успел ничего сказать, меня окунули с головой. Мыли старательно, но быстро. Не снимая с меня наручники.

Вытерли огромным махровым полотенцем. Надели длинный, пахучий халат.

— Стричься! — последовала новая команда толстяка.

Через несколько секунд я уже сидел в кожаном кресле перед широким зеркалом и перед столом, уставленным яркими флаконами и банками. В зеркале появился хмурый мужчина в халате, он завязал мне на горле крахмальную салфетку и взял в руки опасную бритву. Я попытался встать и объяснить, напрасно пытался, меня по-прежнему держали очень крепко.

Толстяк показал человеку с бритвой какую-то фотографию.

— Баки эти, естественно, к черту.

Лезвие радостно блеснуло в пальцах хмурого мужика.

— Послушайте, — сдавленно произнес я и смолк. Я хотел сказать, что специально ношу длинные виски, мне это кажется красивым. Даже если я не прав, это не повод, чтобы налетать на меня с заточенным железом. Но ничего этого я не сказал. Подозреваю, что на мои слова никто не обратил бы ни малейшего внимания.

Баками дело не ограничилось. Мне «подняли» затылок, расширили лысину и устроили завивку чуба. С этим было особенно много возни. Толстяк несколь-

ко раз браковал работу парикмахера. Последним аккордом была большая родинка на правой щеке. Толстяк осмотрел меня внимательнейшим образом и остался настолько доволен, что велел снять с меня наручники. Я тут же, даже не помассировав запястья, потянулся к новой своей прическе.

— Не прикасаться! — взвизгнул толстяк, бледнея от ярости. Потом смягчился.— Очень вас прошу этого не делать. Чуб — это самое главное. Вы меня поняли?

Что мне оставалось, кроме как понять. В ответ на свою понятливость я хотел получить хотя бы самые минимальные сведения о своей участи, но не успел ничего спросить, поступило следующее приказание.

— Идемте!

После парикмахерской была кухня. Роскошная, как и все в этой квартире. Один из ментов взял со стола чуть початую бутылку заграничного коньяка и налил в квадратный хрустальный стакан граммов сто пятьдесят.

— Пейте.

Мне хотелось сказать, что коньяк из такой посуды не пьют, но решил, что в этой ситуации свои познания лучше скрывать, чем выпячивать. Я взял в руки тяжелей стакан и вдруг до меня дошло — это яд! Какой-нибудь извращенец заказал хорошо вымытый и причесанный труп. Труп в состоянии легкого алкогольного опьянения.

— Пейте, это «Курвуазье», когда еще доведется попробовать.

Как ни странно, я поверил. В два глотка я этот коньячок принял. Толстяк снова начал меня хватать за физиономию и разглядывать.

— Еще сто,— велел он менту с бутылкой после осмотра.

Выпил я еще сто. Только после этого мой облик принял надлежащий вид. И мы отправились дальше. Интересно, куда? Оказалось, в комнату с очень широкой кроватью. Занавешенное окно, мягкий палас, две картинки на стенах и больше ничего. Нет, не все. Очень яркая люстра под потолком. Для чего такая в спальне? Все пять двухсотсвечевых лампочек горели.

— Раздевайтесь.

— Зачем?

— Раздевайтесь. Ложитесь на кровать и ничему не удивляйтесь.

— А что со мной будут делать?

— Вам понравится.

Тем не менее я продолжал держаться за полы своего-чужого халата.

— Все будет хорошо, даже лучше, чем вы можете себе представить...— пел толстяк. Между его словами просунулся ствол автомата и уткнулся мне в позвоночник. Я все понял.

Сбросил халат и на четвереньках пополз по шелковому покрывалу в сторону изголовья.

— Не надо под одеяло, не надо. Прямо сверху ложитесь. И не трогайте чуб, не трогайте, умоляю.

И они ушли. Я остался лежать на боку, полусогнув левую ногу на манер какой-то киноодалиски. Все время хотелось куда-то спрятать свои пятки в черных трещинах. Несмотря на энергичную помывку, они сохранили часть своей исконной грязи.

Впрочем, не стыд донимал меня сильнее всего. Заслоняли его рои вопросов: где я? почему я? что со мной будет? что делать? и т. д. Но недолго я им предавался. Дверь в спальню отворилась, и в комнату вплыли две девушки. Красивые. Странно одетые. На них были только сложные прически и полупрозрачные халатики. Я прикрыл рукою свой бедный срам и начал медленно подтягивать под себя уже упоминавшиеся пятки.

Девушки одинаково улыбнулись. Бесшумно, как ангелы, ступая, приблизились к кровати. Одна к правому борту, другая к левому. Взгляд мой затравленно метался туда-сюда. Левая привычным движением сбросила халат и сказала:

— Меня зовут Настя.

Вторая сделала то же самое и объявила себя «Дашей».

«Валя, любимая, любимая жена моя Валя,— подумалось бегло,— кажется, я тебе сейчас изменю. Нет никакой возможности сопротивляться. Я один, а их трое. Настя, Даша и коньяк».

Вместо чеченских гор я оказался на вершинах райского блаженства. Забылось все — дом, жена, дочка, пятки. Только чуб, только удивительный чуб я берег. В скрещенных рук, в скрещенных ног. Настя и Даша творили свои маленькие женские чудеса с большим знанием тела. Бесплезно вспоминать, сколько это длилось. Заслуживает внимания то, как это кончилось.

Внезапно!

Как по команде.

Девушки встали, надели халатики и, не попрощавшись, исчезли.

Мне показалось, что я ослеп. Только слегка остыв, я понял, что это не слепота, просто в люстре погасили четыре из пяти лампочек.

Дверь снова отворилась, но это были не Настя с Дашей, это был лысый с комом моей одежды.

— Все, дорогой, все, можете одеваться.

С превеликим трудом добрался я до края кровати. Спустил на ковер несчастные свои пятки.

— Скорей, скорей, дружище, время, понимаете ли, не ждет.

Напялив трусы, штаны, загнав ноги в ботинки, теребя пуговицу все еще потной от пережитого страха рубашки, я вышел из спальни.

На кухне меня ждали стакан коньяка и конверт.

— Здесь триста,— сказал толстяк.

— Долларов?

— Рублей, уважаемый, рублей. Это девушки получают доллары.

Я взял рубли.

— А теперь подписочка о неразглашении. Вот здесь. Не дай вам Бог проговориться о том, что здесь произошло. Вам все равно не поверят, а до нас дойдет. Расписались? Отлично, пейте коньячок. Кроме того, подумайте о том, что скажет ваша супруга, когда обо всем этом узнает.

— Вы меня сфотографировали?

— Сфотографировали, сфотографировали,— ласково сказал этот гад.

— Но зачем, шантажировать меня, что ли? Я ведь...

— Никто. Мы это отлично знаем, нас это устраивает.

— А кто вы?

Толстяк поморщился. Менты тут же подхватили меня под руки и поволокли к выходу. Уже находясь в железных дверях, я крикнул.

— А чуб?!

— Что чуб? Ах, чуб, Господи! — Толстяк подбежал ко мне, на ходу вытаскивая из заднего кармана ножницы. Чирк, и я остался без чуба.

И вот я снова на улице. Все еще светило солнце. От коньяка в теле было тепло, а в голове светло.

Какие, черт побери, бывают истории. Интересно, а что я Вальке скажу? Не забыть бы зайти за картошкой. Пусть считает, что я просто нажрался.

Прошло каких-нибудь месяцев шесть.

Чищу я на кухне картошку. Не ту, что купил в тот раз, естественно. А Валентина у телевизора вяжет. Вдруг слышу крик.

— Василий, иди-ка сюда, да скорей ты, дурак!

Вбегаю.

— Смотри, смотри, как на тебя, дурака, похож.

— Кто?

— Да этот, новый вице-премьер. Только что назначенный.

Она тычет спицей в экран.

— Вылитый, вылитый ты. Только чуб у него курчавый, а так, ты и есть.

— Этот долго не продержится,— мрачно сказал я.

— С чего это ты взял, умница ты моя? — ехидно поинтересовалась супруга.

- Да уж знаю откуда.
- Может, и мне расскажешь?
- Да нет, не стоит. Все равно не поверишь.

ИСПЫТАНИЕ

Во дворе на Васю не обращали внимания. Не били, но и не любили. Ему позволено было путаться под ногами, бегать за мячом, улетевшим с футбольного поля в овраг за бараками, стоять за спинами старших пацанов, играющих в карты или в чикю. Вася благоговел перед лидерами двора. Рыжим Собакиным, цыганом Зазой и сыном милиционера Сашкой. Он не смел обратиться к ним с вопросом. Был бы рад подружиться с кем-нибудь из ребят помельче, но даже третьеклассники, видя, как с ним обращаются старшие, обращались с ним так же.

Вася виноватым во всем этом считал себя. И тайно грезил о подвиге в честь двора.

Он жил вдвоем с матерью в длинном бараке, стоявшем между ледяной речкой, бегущей с гор, и пыльным шоссе. Впрочем, в таких бараках жили в поселке почти все. Анна Сергеевна работала учительницей в местной школе. Она так любила сына, что он считал бы себя счастливым, если бы мог задумываться над такими вещами. У Анны Сергеевны было много друзей, ближе всего она сошлась с семейством Царевых, тоже учителей. У них было два сына, но ни тот, ни другой не подходили в товарищи Васе. Старший был шестнадцатилетним гигантом девятиклассником, младший — вечно сопливым четырехлетним нытиком. Две матери и один отец время от времени предпринимали попытки свести в одну компанию своих отпрысков, но каждый раз терпели неудачу. Вася не переживал по этому поводу. Он понимал, что не может претендовать на дружбу старшего Царева, футболиста и барабанчика школьного музыкального ансамбля, но, в свою очередь, считал себя вправе игнорировать поползновения Царева-младшего устроить с ним игру в матерчатого обслюнявленного зайца или глупые кубики.

Шесть с половиной лет — страшный возраст. В шесть с половиной лет еще не берут в школу, даже если попросит мама-учительница. Вася о школе мечтал. Школа — это такое место, куда, наверно, соберут всех тех, кто подходит ему в друзья по возрасту. Есть же такие ребята на дальних концах многокилометрового поселка. Он видел их из окон автобуса, когда его возили в поликлинику вынимать проглоченную железную пуговицу.

В школу его не взяли. Отказал директор. Вася не знал почему. Анна Сергеевна знала слишком хорошо. В свое время она отказалась стать любовницей этого директора. Директора мстительны. Этот не смог понять, что Анна Сергеевна среди окружающих мужчин ищет не мужа для себя, а отца для сына. Мужчина с больной женой и тремя детьми в отцы не годится.

Выслушав отказ, специально обращенный в крайне оскорбительную форму, Анна Сергеевна вышла из кабинета и только тогда испугалась — что она скажет Васе?! Как ему объяснить, что он не пойдет в этом году в школу! Чтобы смягчить предстоящий удар, она зашла в универмаг и купила на последние деньги велосипед. Не детский. Настоящий, двухколесный. Он носил гордое имя «Школьник».

Увидев велосипед, Вася забыл о школе.

Вечером, когда собирались все, он выкатил его во двор.

Пацаны сидели на длинном бревне у задней стены керосиновой будки, играли в «кто дальше плюнет». И Собакин, и Заза, и милиционерский сынок были там.

Не глядя в их сторону, Вася с внешней небрежностью покатил свое сверкающее чудо по плавной дуге мимо старого карагача. Дуга эта должна была вывести его как раз к бревну. Как бы непреднамеренно вывести. Вася хотел сесть в

седло перед всей публикой. Чтобы они обратили на него внимание. Чтобы сказали: «Смотрите-ка, Васька!»

Только не надо торопиться.

— Эй, ты, ну-ка иди сюда! — крикнул Собакин, вставая.

Обладатель велосипеда солидно приблизился.

Заза, таинственно прищмокивая, провел черным пальцем по ослепительному рулю.

— Велик, — сказал Сашка и тренькнул звонком. Он разбирался в транспортных средствах, его отец служил в ГАИ.

— Но-овый велик, — протянул Заза, видя в «Школьнике» скорее товар, чем транспортное средство.

— Он прошел испытания? — вдруг серьезно поинтересовался Собакин.

Вася испуганно и отрицательно покачал головой.

— Без испытаний нельзя, — отцовским голосом сказал милицейский сын.

— Правильно! — Собакин положил рыжие, веснушчатые лапы на невинную технику.

Двор был весь в рытвинах и кучах щебня — готовились строить еще один барак. Жизнь шла вперед. И вот эта стройплощадка была превращена в испытательный полигон. Мослатый, мордастый Собакин вилял между ямами, взбирался на кучи мусора, при этом комментировал поведение машины с туповатым мальчишеским юмором.

Вася потерял дар речи, право на которую в данном собрании, собственно, и не имел. Растерянно и тихо следил он за насильственными действиями испытателя, и один страх боролся в нем с другим. Страх за велосипед и страх, что все заметят в нем этот страх.

После Собакина в седло сел Заза. Он мучил машину еще наглее и комментировал свои действия еще отвратительнее рыжего. От цыгана «Школьник» попал к потомственному гаишнику. Он отметил, что переднее колесо «восьмерит», а седло не слушается крепящей гайки.

И на этом ничего еще не кончилось.

Вслед за старшими ребятами порезвилось и все их окружение. И каждый считал своим долгом изобрести для велосипеда какую-нибудь новую пытку. Вылетали спицы, отваливались резиновые накладки с педалей, сорвал горло звонок.

И только когда корезить было нечего, Вася получил обратно свое имущество.

Испытатели, усталые, но довольные, расселись на своем бревне.

Вася молча стоял над упавшим на правый бок подарком.

— Бракованная машина, — весело крикнул ему Собакин под общий угодливо-восторженный смех и закурил беломорину.

— Подтверждаю как представитель дорожной службы — брак! — сказал Сашка опять-таки голосом отца.

Снова смех.

И тут из-за цементного угла керосиновой будки появился старший Царев. Самый близкий Васе человек из всех присутствующих. Владелец «Школьника» невольно обратил к нему свой взгляд, полный самых страшных чувств, и простер обе руки к искалеченному подарку матери. И произнес несколько не вполне членораздельных, но страстных звуков, смысл которых человек близкий понял бы без труда. «Посмотри, ты только посмотри, как они искалечили мой новый...»

«Испытатели» напряглись, смех стих. Все были осведомлены о дружбе между матерью Васи и Царевыми. Но девятиклассник, взглянув на владельца умученного велосипеда, брезгливо поморщился и прошел мимо. Он не боялся этой шантрапы на бревне, он был занят неприятными мыслями о том, что его 9-й «Б» опять проиграл 9-му «А». Когда стало ясно, что старшеклассник не вмешается, Собакин крикнул:

— Тащи отсюда свою железку!

Тут слезы рванулись из глаз Васи. Он наклонился, подхватил велосипед и бросился к своему крыльцу. Потом вдруг остановился и выпалил в лицо всем этим гадам длинную, горячую и жалкую угрозу.

Собакин насмешливо поинтересовался.

— Кому ты расскажешь, своей матери-проститутке?! Иди рассказывай!

Громче всех смеялся сын милиционера. Остальные тоже хорошо смеялись. С полным сознанием своего человеческого превосходства над этим маменькиным сынком.

Вася больше ничего не сказал. Дотащил машину до крыльца, бросил в траву. Поднялся по ступеням. Постоял несколько секунд у входа в комнату. Отодвинул занавеску и вошел. Внутри в их небольшой квадратной комнате было сумрачно и тихо. Анна Сергеевна сидела у окна и читала. Свою любимую книгу «Джен Эйр».

— Что случилось, сынок?

Он не успел ответить. На улице раздался разбитый, жалкий всхлип велосипедного звонка. Вася побледнел. Они продолжают мучить «Школьника»! Он рванулся обратно на крыльцо. Он был готов драться. С кем угодно!

Возле поверженного велосипеда сидел младший Царев и без особого умысла теребил звонок. Вася бросился к нему и, схватив за рукав и за волосы, злобно отшвырнул в сторону. Он готов был снова броситься на него и обрушить свои кулаки, но почувствовал, что цепко и больно схвачен за ухо. Это был Царев-отец. Он пил чай на крыльце. Он не видел ничего страшного в том, что его младшенький балуется со звонком. Он не считал, что его сына следует убивать за это.

Переправив стакан в подстаканнике из правой руки в левую, он в два шага спустился с крыльца к месту драки.

Вася не собирался сдаваться, он извивался, он попытался укусить карающую руку, рванул карман застиранной царевской пижамы, выбил подстаканник, обварив мучителя горячим чаем. Взрослый мужчина разозлился, он изо всех сил крутанул ухо юному хулигану и сильным пинком отшвырнул его в сторону.

В этот момент на крыльце появилась Анна Сергеевна. Она все видела. Не говоря ни слова, она подхватила рыдающего от обиды и ярости сына на руки и унесла в дом. Напоила валерьянкой, убаюкала на руках, уложила спать. Сама уселась рядом с кроватью, сторожа его сон. Так она просидела несколько часов. Незаметно для себя заснула. Проснулась от осторожного, по-детски влажного прикосновения. Сын лежал на спине, было видно, как поблескивают в темноте его белки.

— Мама, а где мой папа, почему он никогда меня не спасет?

Анна Сергеевна осторожно погладила руку сына. Она не знала, что сказать, хотя на этот вопрос ей отвечать уже приходилось, правда, при совсем других обстоятельствах.

— Мама, ну где же мой папа?!

— Он погиб. Я же тебе говорила.

— Он был летчик-испытатель?

— Да, он был летчик-испытатель. И он погиб.

Александр Иванович допивал кофе и доедал второй бутерброд с семгой, когда в дверь позвонили. Александр Иванович сначала вздрогнул, а потом поморщился. Он вспомнил, что в это время появлялась обычно соседка с пятого этажа — стрельнуть десятку на похмелку. Года два назад, сразу после переезда в этот дом, Александр Иванович сделал глупость — не пожадничал. С тех пор пьющая дама пару раз в неделю светила ему в дверной глазок своим очередным фонарем. Он всегда был у нее под правым глазом, ибо сожительствовала она с левой. «Выручи до послезавтра», — омерзительно кокетничала, пела она. Александр Иванович отказывал ей вот уже два года, но это не помогало. Жуткая вещь — репутация хорошего человека.

На этот раз за дверью, как показал глазок, была не алкоголичка. Там стояли трое. Один из них местный участковый Василь Василич, толстый, добрый и,

как ни странно, очень честный человек. Двое других — молодые дяди в светлых плащах с кожаными воротниками. Секьюрити.

Не отпирая двери, хозяин квартиры поинтересовался, что господам надобно. Один из неизвестных достал из внутреннего кармана бумажку, солидно развернул.

— Вы Трапезников Александр Иванович?

— Да.

— Родились пятнадцатого мая тысяча девятьсот сорок пятого года в Астрахани, в семье главного технолога рыбзавода?

— Да.

— Служили в СА в ГСВГ?

— Служил.

— Окончили Ростовский госуниверситет?

— Окончил.

— Русский?

— Мама украинка, а так русский. Только к чему...

— Никогда не были женаты?

— Нет.

— Детей нет?

— Нет.

— В настоящее время работаете на оптовой базе номер одиннадцать?

— Да.

— Рядовым сотрудником?

— Рядовым. Однако же, хотел бы узнать, к чему все эти расспросы?

— Узнаете.

Человек в белом плаще сложил бумажку и спрятал в карман.

Александр Иванович вдруг разозлился.

— Больше я ни на какие вопросы отвечать не намерен!

— А никаких вопросов больше и не будет.

— И дверь я вам не открою!

Человек в плаще протянул руку — в глазок это выглядело так, будто он хотел схватить хозяина квартиры за причинное место, — и дверь, охотно щелкнув, отворилась. Александр Иванович потерял дар речи. Неужели он вчера забыл ее запереть!

— Вы поедете с нами.

— Никуда я не поеду! И кто вы такие, а? — Трапезников внимательно посмотрел в серьезные, даже печальные лица визитеров и с ужасом почувствовал, что ему нечего им возразить. И потом, эта дверь, она показала, что он абсолютно не защищен.

Александр Иванович попытался было отнестись к Василь Василичу, тот опустил голову и покачал ею. На губах его играла печальная улыбка, говорящая о глубоком знании жизни.

Нет, это, конечно, не ограбление, грабят не так. Но от этого не легче. Хозяин залепетал.

— Представьтесь хотя бы. Нельзя же человека вот так, из дому...

— Едемте! Наши действия абсолютно законны. Старший лейтенант в курсе, он видел все бумаги.

Милиционер значительно кивнул.

— Я никуда не поеду, пока сам не увижу постановления об аресте или какого-нибудь ордера!

Гости мрачно усмехнулись.

— Это не арест, но поехать вам придется.

— Я отказываюсь!

— Старший лейтенант, скажите ему.

— Одевайтесь, Александр Иваныч, нехорошо. Такое важное дело, а вы бунтуете. — Голос участкового звучал мягко, по-отечески.

А может быть, наградят, мелькнула мысль у гражданина Трапезникова, ди-

кая мысль... Вины никакой он за собой не ощущал. Ну никакой. Ни против закона, ни против понятий. Чист! Ни долгов, ни должников.

— А здесь вы не можете сказать, в чем дело?

— Здесь не можем.

— Ехать далеко?

— У нас машина.

Путаясь в толкотне непривычных мыслей и противоречивых чувств, Александр Иванович набросил плащ, надел заранее начищенные туфли. Закрыл дверь. Убедился, что она действительно закрыта.

— Не волнуйтесь,— сказал человек в плаще, и Трапезников действительно перестал волноваться.

Спустились вниз. У подъезда стояла черная «Волга». Не «БМВ», например. Отечественная машина. Это было лишним подтверждением, что дело затевается не частное, но официальное.

Старушки, вечно сидевшие на скамейке у входа, искренне пожелали Александру Ивановичу счастливого пути. Это что, им тоже все известно? Трапезников не успел обдумать эту мысль, его стали с профессиональной деликатностью усаживать на заднее сиденье. Сопровождающие очутились там же, ошуюю и одесную. Это обстоятельство заново возбудило в рядовом работнике оптовой базы смутные, неприятные подозрения.

Но мотор уже заработал. Машина тронулась с места.

Во время путешествия неизвестно куда Александр Иванович произвольно начал вспоминать свою жизнь, ища в ней темные моменты, ощупывая мыслью белые пятна на карте своей памяти.

Во время службы в армии не имел никакого доступа к военным секретам, считал сапоги и портянки в каптерке, поэтому даже случайно не мог проговориться в разговоре с хитрым шпионом, приставшим к нему под видом безобидного попутчика или собутыльника.

Дрался, даже в юности, редко, неохотно и неумело. Вряд ли мог случайно кого-нибудь покалечить. Выбил зуб Толику Решетилову, да и то в ситуации, когда ему надо было выбить все зубы. К тому же Толик давно лежит на Домодедовском и никому не может пожаловаться.

Воровал? Яблоки из школьного сада, когда жил в деревне у бабки. Были еще груши и кислый-кислый крыжовник.

Пил? А кто не пил? Да и пил-то... И всегда на свои.

Бабы? Были бабы. Но всегда по обоюдному согласию. С шампанским и ужином. В последнее время брал изредка шлюх. Но это, кажется, не запрещено.

Нет, господа, чист, совсем чист. Как соловьиный свист.

Может, на родную базу номер 11 кто-то внимательный глаз положил? Это может быть, и пусть. Но Трапезников никаких бумажек сомнительных даже в руки не брал, а подпись свою ставил только в ведомости на зарплату.

А почему это он заранее всего боится?! Может, обнаружился родственник-миллионер где-нибудь в Австралии или в Аргентине. Некому ему, бедному, деньги оставить. Послал на розыски спецпарней, и теперь они везут Александра Ивановича знакомиться с завещанием.

Машина, полная молчания, выехала из города.

— Долго еще?

— Уже нет.

Скорей всего надо какой-то труп освидетельствовать. Нашли в кармане покойника записную книжку, а там телефон гражданина Трапезникова.

Прошло еще минут десять. «Волга» свернула с шоссе на узкую асфальтовую дорожку и углубилась по ней в густой смешанный лес.

При чем здесь лес?

Александр Иванович вдруг снова начал нервничать. Ситуация-то, честно говоря, абсурдная. Не надо было соглашаться ехать! И, главное, куда?! Почему документы не проверил?! Это он-то, такой опасливый и толковый. Никогда в жизни не попадал в опасные ситуации, а тут!

Лес внезапно кончился.

— Аэродром?!

— Да,— спокойно ответили ему.

— При чем здесь аэродром?

— Только с аэродрома может взлететь самолет.

В этом ответе почудился Александру Ивановичу ответ легкого сумасшествия, и он снова затаился.

Машина остановилась возле небольшого двухэтажного здания, окруженного невысокими елками.

— Выходите.

— Что это за здание?

— Мы можем вам сказать, но вам это ничего не даст.

— А может быть, даст!

— Не даст. Идемте, у нас не так много времени.

Произнесено это было таким тоном, что Александр Иванович не считал возможным упорствовать далее. В конце концов надо быть последовательным, раз согласился ехать, чего уж теперь капризничать.

За входной дверью оказался длинный, вымощенный гулкой плиткой коридор. Идти пришлось в дальний конец. Там оказалось помещение, похожее чем-то на зубоврачебный кабинет. Из-за белой ширмы вышел человек в синем халате. За толстыми очками неуловимые глаза.

— Раздевайтесь.

— Зачем?

— Так надо.

— Кому?

Очкастый поморщился.

— Вы что, еще ничего не поняли? У вас была возможность подумать.

Александр Иванович раздраженно взмахнул руками.

— Нет, не понял. И для чего вы меня сюда притащили, и что собираетесь со мной делать, тоже не понял. Ничего не стану делать, пока не объясните, что со мною будет.

Он говорил, с ужасом ощущая, что опытные пальцы его равнодушных спутников быстро расстегивают пуговицы его пиджака, развязывают узел галстука, ослабляют ремень.

— Нет! — как девушка-невинница взвизгнул работник оптовой базы и схватился за те места, что нуждались, по его мнению, в особой защите. Он вообразил, что над ним хотят как-то по-особенному отвратительно надругаться. Замашили, извращенцы, на лесной аэродром и...

— Одевайтесь! — отдал очкастый очередную команду.

Мужики в плащах аккуратно повесили снятую с Трапезникова одежду на спинку железного стула и вынесли из-за ширмы непонятный комбинезон. Гибкая, как бы прорезиненная ткань, «молнии», кармашки, заклепки, липучки. Влезть в него можно было только с посторонней помощью. Помощь не заставила себя ждать. Александр Иванович обессиленно бубнил.

— Что это? Зачем это?

Его бодро и умело впихнули в странное одеяние, со свистом застегнули «молнии» и начали прилаживать огромные, как у горнолыжников, ботинки.

— Это самое лучшее из того, что мы можем вам предложить,— сказал очкастый, и было понятно, что он говорит чистую правду.

— Не надо мне ничего.

Все кнопки были застегнуты, ремни затянуты. «Плащи» вытерли потные лбы.

Человек в синем халате внимательно посмотрел Трапезникову в глаза. Выражение глаз у него было такое, словно он чего-то ожидает от своего подопечного. Александр Иванович понял — сейчас нужно что-то сказать, и с ужасом осознал, что сказать ему решительно нечего.

— Ну что же,— вздохнул очкастый,— тогда пошли.

— Куда?

— Вы все увидите. Мы ничего от вас скрывать не будем.

У входа, рядом с давешней «Волгой», стоял открытый джип. Трапезникова погрузили на заднее сиденье. Он очумело вертел головой. Неотступные друзья держали его за руки. Джип тронулся с места. Обогнул двухэтажное здание. Александр Иванович скользнул взглядом по окнам и вздрогнул — в каждом из них было по несколько любопытных физиономий. Может быть, крикнуть им: «Помогите!» Но он не крикнул.

Стуча колесами на стыках бетонных плит, джип катил через взлетное поле в сторону зеленого холма, усаженного решетчатыми антеннами.

Одна покачивалась.

Рядом с холмом стоял небольшой белый новенький самолет. Лопастей двигателей беззаботно вращались.

— Наденьте это.

Александр Ивановичу нацепили на голову большой круглый металлический шлем с выпуклой стеклянной маской на уровне глаз. Трапезников понял — приближается решающий момент. Что решающий? Зачем?! А может, придется просто прокатиться на самолете и ничего не будет страшного?

Из туловища самолета вывалился трап в четыре ступеньки. Получив коленом мягкий повелительный пинок под зад, Трапезников начал подниматься по ступеням. В крохотном салоне было пусто. Сопровождающие не дали Александру Ивановичу занять ни одно из пассажирских мест. Его направили в сторону кабины.

Неопытный человек, попадая в кабину пилота, неизбежно обалдевает от дикого количества тумблеров, циферблатов, стрелок, шкал. Александр Иванович обалдел, и его в таком состоянии усадили в левое кресло и намертво пристегнули двумя ремнями.

В правом кресле уже сидел человек в шлеме.

— Следи за тем, что я буду делать, — слышалось в радиоухе у Трапезникова.

Пальцы летчика пробежали по десятку разных тумблеров и кнопок. Какая странная экскурсия, тускло, расслабленно думал Александр Иванович.

— Запомнил?

— Что? — прошептал «экскурсант», не уверенный, что его слышат.

— Повторяю, следи внимательно. Больше повторять не буду.

Нажимая на каждый тумблер, сосед давал насыщенный комментарий, десять слов в секунду. Александр Иванович и не пытался что-либо запомнить.

— Это штурвал, это...

Чушь какая-то, свирепая чушь.

— Ну что, парень, все понял? Справишься, если что?

— Отлично все понял, можешь считать меня летчиком-испытателем! — вкладывая в слова как можно больше яда, крикнул Александр Иванович.

— А тебя им уже и считают.

— Оч-чень хорошо.

— Все ребята, можете идти.

Конвоиры удалились, шурша плащами.

Пилот повел себя как обычный пилот из виденного Трапезниковым кинофильма. Проверил показания приборов, поговорил с диспетчером (и тот, и другой все время употребляли слово «добро»), что-то выжал, что-то продул, включил форсаж, а может, и не форсаж. Потом подвигал штурвал, и в неловких руках Трапезникова штурвал второго пилота шевельнулся как живой, напомнив нехстати велосипедный руль.

Гудение двигателей стало слышнее. Когда дошло до твердого басовитого гудения, пилот произнес последнее «добро», и самолет начал разгоняться.

Навстречу повалило пространство с какой-то земной мелочью по бокам. Трапезникова трясло во всех смыслах. Тряска дошла до такой силы, что оставалось только разрыдаться.

И вдруг все кончилось.

Легкость и тишина.

Неприятный холодный пузырь внутри живота переместился к горлу.

Прямо по курсу рисовалось большое, витиевато клубящееся облако. Настолько могущественного вида, что могло показаться, что взлет произошел по его повелению.

От всего этого, от внезапной легкости, от ноющей ваты в ушах, от этого облака Трапезников громко всхлипнул.

— Отставить!

— Что?

— Принимай управление!

— Почему я?

— Потому что ты летчик-испытатель, а это опытная машина «СН-триста тридцать».

— Я не летчик-испытатель!!!

— Я тебе все показал. Приборная доска стандартная.

— Я не знаю никакого опытного образца и никакой доски. Я не летчик-испытатель!

— Твой сын считает, что летчик, и с этим ничего не поделаешь.

— Какой сын?

— Вася. Вася сын. Все, отпускаю штурвал.

— Нет!

— Самолетом уже управляешь ты.

— Ты не имеешь права!

— Все, я катапультируюсь.

— А я?!

— Можешь покружить немного и садись.

— Я же не умею. Я упаду и разобьюсь. Это убийство!

— Прощай, летчик, прощай, испытатель. Я сделал для тебя все что мог. Ты сам виноват.



А. Ф. ЛОСЕВ

«Смерть, где твое жало; ад, где твоя победа...»

Незавершенный рассказ философа и филолога-классика А. Ф. Лосева, начинающийся словами «Мне было пять лет», написан судя по всему в сороковые, военные годы, и тем не менее в нем чувствуется продолжение основных тем лосевской прозы начала тридцатых, особенно очевидны параллели с созданным в 1932 году в лагере на Беломорско-Балтийском канале рассказом «Театрал». Там на фоне гротескных, подчас эпатирующих своей натуралистичностью видений косноязычно ораторствовал некий мещанин в кепке, почувствовавший себя агитатором, проповедником, пророком новой религии. Чем не прообраз появляющегося во фрагменте прозы сороковых годов некоего, провинциального вида, глупого и злого мещанина Епишки, витийствующего перед толпой, готовый увидеть в нем и своего вождя, и нового чудотворца, и самого Бога, самого Спасителя?

И все же публикуемый текст — не простое продолжение старой темы: есть в нем нечто принципиально новое. Хотя и прежде герои лосевской прозы совершали невероятные поступки, но все их действия были словно запрограммированы, всегда была внешняя, существующая вовне причина, постепенно порабощающая их слабое человеческое «я» и толкающая то на преступление, то к безумию. В новонайденном фрагменте все иначе. Тут на первый взгляд все действие развивается в соответствии с юнговским архетипом «тени» — недаром внутренние предпосылки и извечная склонность человеческого сознания к раздвоенности, к порождению некоей тени своего внутреннего «я» прослежены с младенческих лет героя. Его исповедь с безжалостностью психоанализа подводит читателя к выводу, что такого рода безумие приходит не извне, оно не навязывается насильно — оно живет внутри «я», оно его часть, его тень, искаженная и нелепая, его двойник, его враг. И это внутреннее, второе, низменное, животное «я» страшнее ведьм, чертей, вампиров и привидений, ибо оно готово осквернить все то, что дорого подлинному, чистому «я» человека, оно готово надругаться над святыней, над могилой матери, как делает это мерзкий Епишка, готово осмеять таинство смерти и превратить саму жизнь в «ад всемерхливый»: в Епишкином «хохоте до упаду» так и слышатся отзвуки самого этого слова — «ад».

Мысль убить, уничтожить негодяя Епишку все четче и четче вырисовывается в сознании безымянного лосевского героя. Когда-то у него было оружие, пусть детское, — его праща, но он ее потерял. В библейские времена именно праща стала в руках безвестного юноши-пастуха тем смертоносным оружием, которым он уничтожил мощного и жестокого врага. Но как уничтожить врага, если он — не кто-то другой, а твое собственное второе «я»? Не обернется ли такое уничтожение самоубийством или окончательным помешательством?

Одно несомненно, что мерзкий Епишка кажется герою рассказа страшнее гоголевского Вия вполне справедливо. В Епишке, по словам автора, заложена «тьма разных образов и положений». Так что он не просто двойник героя наподобие «двойника» Достоевского, хотя в русской литературе у него есть корни, — я имею в виду «Три разговора» Вл. Соловьева и возникающий в них образ Антихриста. Епишка, этот провинциальный мерзкий мещанин, — Антихрист? Возможно ли это? Да, Епишка — Антихрист, ибо он не только олицетворяет собою все мировое мещанство, которое само по себе уже суть анти-христианство.

Он — Антихрист, в первую очередь потому, что берет на себя миссию Христа — миссию победителя смерти. Он — Антихрист, и потому народные толпы готовы поклоняться ему как Богу, молиться на него и признать его новым Спасителем. Но обещанная им победа над человеческим страхом смерти — лишь карикатура на победу Того, Кто подлинно мог низложить «смерти державу» и, «смертию смерть поправ», как поется в Пасхальном каноне Иоанна Дамаскина, дал всем людям возможность «возрадоваться и возвеселиться». Это пасхальное веселье, эту духовную радость и пытается подменить своим «хохотом до упаду», своей неведомой «машиной» Епишка. Пусть этот омещанившийся Антихрист не похож на «канонические» изображения, но, может быть, тем он и страшнее. Он приходит в мир не из пламенеющих бездн, он вырастает из души человеческой, из тишины, тьмы, одиночества человеческого «я», он растет вместе с обыкновенным человеком — не около, не ввне, а вместе с ним, вместе со всем человечеством, чтобы однажды подчинить его себе целиком и окончательно. Достаточно малейшей зацепки — как, например, некоторого излишнего преклонения безымянного лосевского героя перед наукой в ущерб вере: как красноречива его реплика о том, что с точки зрения науки гроб матери есть не что иное, как ящик с костями,— и тут же мир для него окончательно превращается в настоящий ад. И этот ад тем и страшен, что он обычен, невзрачен и всегда где-то рядом — в родном доме, на бульваре, на университетской кафедре, среди толпы. В любую минуту и повсюду готов воцариться Епишка, который страшнее мелких ведьм и прочей нечести, ибо он безликое лицо ада, от которого не спасает наивно поданное героем заявление в полицейский участок. Спасает только страдание, только страстной путь веры — другими словами, та самая отвергаемая мировым мещанством Пасха, когда, как говорит Иоанн Златоуст, Бог, «держимый смертию угаси смерть» — «воскресе Христос, и падоша демони».

Как и когда сможет, да и сможет ли вообще лосевский герой победить своего двойника-демона — нам, увы, не узнать: перед нами только ФРАГМЕНТ.

Епишка*

Мне было пять лет. Рос я — довольно обычно. Ничего со мной особенного не случилось. Родители жили не бедно и не богато. И все было нормально.

Мама и няня рассказывали мне всякие небылицы, которые часто пугали мое воображение. Но и в этом не было ничего неестественного. Что ж тут особенного, если пятилетний ребенок боится Бабы Яги и не хочет оставаться в темноте?

Однако почему-то один раз я испугался как-то особенно.

Дело было летом, вечером. Мы играли с соседними ребятами в небольшом саду около нашего дома. Часов около 7 все они разошлись, а я вернулся в дом и игрался около родителей и каких-то гостей, сидевших на небольшом крылечке перед садом.

Уже няня стала меня звать спать, как вдруг я вспомнил, что в саду остался мой пращ, который недавно мне подарили и который доставлял мне великую радость последние дни. Я не хотел расставаться с любимой игрушкой и побежал в сад, так как, по моему мнению, он остался на скамейке в глубине сада.

Я знал, что идти туда было жутко, так как уже порядочно стемнело. Но удовольствие от одного держания этого праща в своих руках было настолько велико, что я все же решил пойти на поиски. Я клал этот пращ себе под подушку, когда ложился спать, и вообще с ним не расставался.

Особенно сильной темноты не было. Были сумерки, стоявшие почти всю ночь.

С некоторой дрожью подошел я к скамейке, где предполагал найти пращ, и стал нервно шарить рукой и по скамейке и под нею на земле.

Никакого праща не было и в помине.

Что было делать? Идти спать без праща мне не хотелось. Темнота, однако, начинала пугать меня не в шутку.

* Название публикатора.

Обшаривши все кругом, я все еще не мог примириться с мыслью идти спать без праща и, дрожа от страха и досады, сел на скамейку или, кажется, к ней прислонился.

В то самое мгновение, как я прислонился к скамейке, я бросился что есть силы бежать в дом и, по-видимому, с неистовым криком и воплем, потому что взрослые успели уже спуститься с крыльца, когда я еще только подбежал к дому.

Черт знает что! Я даже не знаю, чего я испугался.

Обыкновенно пугаются ведьм, чертей, вампиров, покойников, всяких привидений. Я же испугался... прямо смешно и сказать чего.

Привиделся мне какой-то мальчишка, такого же возраста, как и я, с такими же белокурыми волосами. И даже не привиделся. Что значит — «привиделся»? Можно подумать, что это какое-то «явление», «видение». Ничего подобного! Просто мелькнул в голове образ какого-то мальчика, — такого, правда, не было среди моих товарищей, — но самого обыкновенного, самого нормального, в котором не было ни капли чего-нибудь странного, чудовищного, сказочного.

Это было обыкновенное ребячье лицо, которое всплыло на одно мгновение и тут же исчезло, как мало ли вообще чего у нас всплывает днем или ночью в сознании, а потом тут же и затухает на целую вечность?!

Лицо, однако, это я прекрасно запомнил. И вот сейчас мне уже за 50, а я помню его во всех деталях, как фотографию вижу.

Что о нем сказать? Да, по правде, и сказать-то о нем нечего. Ну, мальчуган как мальчуган. Ну, моего возраста. Ну, белокурый. Ну, смеется. Что еще? Правда, смеется как-то не того... Смешок какой-то... То есть скорей бы оно взрослому подходило... Но только не подумайте, что тут было как-нибудь особенно. Ничего особенного не было. Все было нормально. Смешок эдакий хитроватый: «Хе-хе!.. Ты, мол, хотел от меня спрятаться, а я вот тут как тут».

Вот и все незатейливое «явление».

Но чего же я так испугался?

На этот вопрос трудно ответить, но стоит ли особенно убиваться отвечать? Не на всякий вопрос стоит отвечать. Да и толку-то, если мы ответим. Ну, там, врач, конечно, как-нибудь объяснит. «Наследственность», «ассоциация идей», «эмоциональное мышление», вообще детская психика, два-три латинских термина... Ведь все, что совершается, имеет свои причины. Но это в конце концов просто скучно — вечно разыскивать причины. И потому я даже и сейчас, собственно говоря, этим не интересуюсь.

А дело было все-таки серьезное.

Меня, дрожащего, бьющегося в истерике, издающего вопли на весь дом, не могли успокоить целую ночь. Я болел долго, не меньше месяца. А после этого еще с год был истеричным, капризным, полусумасшедшим ребенком, так что психическое равновесие стало восстанавливаться только к началу школьного периода.

Меня долго спрашивали, чего я испугался, так как всем с самого начала было ясно, что я именно испугался. Но я решил никому ничего не говорить и не говорил потом целую жизнь.

Мне уже боялись рассказывать страшные сказки, не оставляли одного в темноте и вообще принимали всякие меры.

Заботливость родителей, нормальные условия жизни, учеба, здоровый от природы организм взяли свое, и года через два-три весь тот беспокойный случай прошел бесследно.

Я кончил гимназию и поступил в университет.

Судьба была ко мне благосклонна. Я мог учиться частью на средства родителей, частью на свои уроки, не терпел особенной нужды, неплохо сдавал экзамены, и мне уже оставался до окончания всего только один год, как произошло событие, уже гораздо более неприятное, чем детский испуг в потемках.

Была весна, и я после целого дня зубрежки к экзамену вышел на Тверской бульвар (я учился в Москве) погулять, посидеть и подышать чистым воздухом.

Был опять вечер и опять сумерки.

На бульваре было много народу. Москвичи разного возраста, занятия и звания гуляли, жуировали, совершали сделки и просто отдыхали. Девушки легкого поведения были тоже в большом количестве. Было жужжание, стрекотня и почти гвалт.

Мне надоело шататься в центре, да и сесть было негде. Я вышел из толпы и, наконец, нашел свободную скамью ближе к Никитским воротам и с наслаждением сел, дыша всем телом на свежем весеннем воздухе и отдыхая от экзаменационной гонки.

И что же вы думаете? Тут уж вам и не пятилетний ребенок, а двадцатилетний молодой человек с усиками и даже с бородкой (я завел себе небольшую бородку, и она мне казалась изящной, мягкой и в то же время мужественной). Тут вам и не мама со своими русалками и нимфами, не родня со своими лешими, домовыми и водяными. Тут уж вам толстые томы университетских курсов по несколько сот страниц каждый... А вот поди ж ты!

Представьте вы себе — опять «явление» и «видение». Не правда ли, многовато это для одного человека? И не правда ли, опять так бывает в старых романах и бездарных потугах на чудесное и фантастическое?

Однако самое-то интересное заключается в том, что ничего же тут чудесного не было и в помине. Опять мелькнуло и опять на одно мгновение нечто до такой степени обыкновенное: нечто настолько неинтересное и несказочное, что я прямо-таки боюсь разочаровать того, кому попадут эти записки в руки.

Ну, пусть бы что-нибудь эдакое чудовищное или волшебное, пусть бы какой-нибудь Вий или хотя бы гоголевская свинья, показавшаяся кому-то там в окно.

Ни тебе Вия, ни тебе свиньи, а уж о домовых и леших и разговору не могло быть.

Это был какой-то молодой человек, моих тогдашних лет, с такими же усиками и бородкой, но только очень глупый. У него был вздернутый носик и высоко поднятые брови, придававшие ему глупо-удивленный вид. Но, кроме того, он по-видимому хотел передразнить, что ли, меня: голова у него была вытянута несколько вперед, ноги немного расставлены; а главное, эта глупая рожица как будто ухмылялась и как будто даже несколько высывала язык, хотя этого я в точности не помню. Ну, точь-в-точь как мы, желая передразнить кого-нибудь, высываем язык и производим звук, слегка напоминающий бляение овцы.

Совершенно не могу сказать, чего тут страшного. Все это пустяки, о которых и разговаривать нечего, если бы только не одна подробность.

Вот уж что действительно странно, так это то, что я узнал в том стервеце *того самого* мальчишку, который привиделся мне в пятилетнем возрасте.

Что? Это существо, значит, где-то живет, становится из ребенка взрослым, появляется, когда ему бывает угодно, и т. д.?

Вот это действительно странно.

Да, да, это он сам. Я прекрасно помню оба эти портрета. Те же белокурые волосы, та же глуповатая улыбка. У ребенка носик, правда, был не очень вздернут, но у взрослого его вздернутый нос, вне всякого сомнения, есть тот же самый нос. Да, да, пятнадцать лет назад она только еще намечалась, эта форма, а сейчас она закончена и получила надлежащее развитие. Тогда этот субъект тоже пытался в чем-то меня поймать, как-то обмануть, вернее, как-то разоблачить,— да, да, не обмануть, а именно разоблачить,— и вот то же самое сейчас. Но только сейчас он значительно нахальнее, злее, глупее и бездарнее.

Итак, что же? Этот господин, значит, где-то живет и имеет свою судьбу? Где же он живет и что он делает, и какая его судьба? Какая цель его существования, а главное, где же, где он живет и зачем он ко мне является?

Впрочем, все эти вопросы я задаю сейчас скорее в порядке последовательного изложения и ради необходимой в таких случаях риторики. По настоящему, если хотите знать, то все эти вопросы и все ответы на эти

вопросы были поставлены и даны, все, все целиком — в одно то мгновение, когда он мне привиделся.

Ответ был резкий, решительный, суровый и окончательный: этот господин целую жизнь живет *около меня*, со мною, может быть, даже во мне. Его цель — надоедать мне своими ужимками и гримасами, своими издевательствами надо мной и своим вечным сарказмом. Он — бездарен, глуп, он даже по виду — какой-то забитый провинциальный мещанин. И вот он вечно трется около меня, шмыгает у меня под носом, перебегает дорогу или шелестит мелкими шажками сзади.

В то дурацкое мгновение я вдруг вспомнил, что в течение целой жизни он был со мною, что он копировал, обезьянничал с меня все мои поступки и даже тайные мысли, что он скрыто владел мною, направлял меня то в ту, то в другую сторону.

Я вспомнил, что еще гимназистом, ложась спать, я чувствовал какое-то шевеление у меня под одеялом, какое-то скрипение кровати, несмотря на мою полную неподвижность. И тогда я не придавал этому значения, приписывая все своей фантазии. Но теперь я вдруг вспомнил, — да, да, именно вспомнил! — что это был он, он, этот глупый и злой мещанин, не отстававший от меня целую жизнь. Я был здоровым нормальным человеком, с хорошим организмом и правильно воспитанной психикой, — какое такое воображение и какая такая болезненная фантазия могла быть у меня тогда, у десятилетнего, у двенадцатилетнего, у пятнадцатилетнего здоровяка? Нет, это, конечно, была не фантазия.

В то идиотское мгновение на Тверском бульваре я вспомнил, что, когда я ездил на лето в деревню к родственникам, этот субъект первый становился на подножки железнодорожного вагона, семенил около меня в вагоне во время приискания места, путался в моих ногах при выходе из вагона, целовался с моими родственниками после моего прибытия к ним, опять завтракал и обедал со мною, ложился со мною спать, вставал и умывался.

В то пустое и бесплодное мгновение на Тверском бульваре я ощутил, что это существо уже давно проникло в меня, соединилось с каждой каплей моей крови, что оно копошится и млеет во всех тайных закоулках моей души. В каждом биении сердца, в каждом вздохе и выдохе, в каждом тайном и явном жизненном процессе моего тела живет, действует, ухмыляется, издевается, высовывает язык эта пошлая дрянь, эта бездарная карикатура, которая хоть бы обликом-то своим была похожа на сказку и фантазию, а то ведь и сказать-то о ней нечего, до того она бесцветна и бессодержательна.

Что? И из-за этого кретина мне страдать? Из-за этого скучнейшего мещанина нарушать мне мой нормальный образ жизни и выбиваться на несколько лет из колеи?

Да! Хочешь, не хочешь, а очнулся я после той минуты только через двое суток, увидевши, что я уже доставлен к себе на квартиру, что около меня заботится моя квартирная хозяйка и что было уже несколько врачей.

Я пришел в себя, но в груди, в голове, в глазах стояло что-то тяжелое, свинцовое; и я с трудом двигал своими членами.

Я вполне отдавал себе отчет, что со мной случилось, но я старался не вспоминать этого паршивого образа, уложившего меня на Тверском бульваре.

Малейшее воспоминание о нем повергало меня в океан досады, злобы, ненависти, мести, и — я начинал задыхаться от страстного, слепого, животного аффекта уничтожить, убить, изуродовать этого негодяя.

Как он смеет, думал я, врваться в мою жизнь? Кто ему дал право ухмыляться, высовывать язык? Чувство бешеной, но — сознаюсь — почти бессильной досады овладевало мною, клочотало в груди и в горле, и я начинал терять едва наметившееся, весьма неустойчивое равновесие.

Самое главное то, что малейшее припоминание этого образа неизменно рождало во мне все новые и новые черты и события из моего всегдашнего интимного общения с ним; и мне казалось, что в его виде на Тверском бульваре

заложена целая тьма разных других образов и положений, рассматривать и расписывать которые не хватит и целой жизни.

Вот — не угодно ли? Проснувшись после скверной ночи через 3—4 дня после события на Тверском бульваре, я вдруг *вспомнил* и — что же, по-вашему, вспомнил? Я вспомнил, что на бульваре я его видел вовсе не так. Я его видел, оказывается, сидящим на скамейке, но уже не на бульваре, а где-то на дворе, сидящим и выщипывающим волосики у нескольких котят, которые около него ползали.

«Ведь этакая дрянь!» — подумал я. Но тут я еще сдержался. К вечеру этого дня, однако, я уже не мог сдержаться.

Целый день я ничего не *вспоминал*. Он стоял тут же, здесь же, около меня, во мне самом, но стоял недвижно, без лица, как бы кроясь во тьме, как бы мертвая глыба. Но только к вечеру этого дня я опять его вспомнил.

Вспомнил, и — мне стало ясно, что он вовсе не язык высовывает и не котят щиплет, а занимается совсем другим делом.

Стыдно, смешно и глупо сказать, каким именно другим делом.

Весь недостаток, весь дурной стиль этой фантазии вообще заключался в том, что тут не было ничего ни фантастического, ни сказочного, ни просто даже страшного. Но то, что я увидел в конце упомянутого дня, превосходило все по своей, я бы сказал, намеренной, нарочитой естественности.

Мой дурак, оказывается, просто испражняется. Правда, кое-что мне все-таки показалось при этом необычным. Почему он занимается этим делом прямо на земле, в каком-то даже саду или роще, что ли?

Вижу: какие-то кучи земли, какие-то белые камни, кресты... Э, да ведь это кладбище. Ха-ха, на кладбище испражняется! Почему? Что за выходки?

Я подождал, пока он застегнулся и ушел, и потом приблизился к тому месту, где он занимался столь прозаическим делом.

Я увидел очень много следов его занятий этим делом. Очевидно, он сюда постоянно за этим ходил; и, очевидно, у него не было для этого никакого другого места.

Вот и все!

Правда, я заметил еще одну мелочь. На этой могиле, которая вся была превращена в отхожее место, на стертой и облупленной пластинке, не то каменной, не то металлической, я прочитал имя его матери. Но это такой пустяк, что о нем и говорить нечего.

В конце концов совершенно неважно, где испражняться. Единственный вопрос, который может нас здесь беспокоить, — это вопрос только гигиенический и санитарный. Но вопрос этот все же имел в данном случае второстепенное значение, потому что дело было за городом, да при том еще где-то в глухой провинции, так что самые яркие санитары оставляли тогда эти места почти вне всякого внимания.

Да при том что такое «мать»? Разве это мать, если там только сундук с истлевшим хламом? Родителей, конечно, нужно уважать, если они того стоят. Но для меня самое важное — наука. А с научной точки зрения истлевший хлам есть истлевший хлам и больше ничего.

Дело, конечно, не в этом. А дело в том, почему он, мерзавец, выбрал именно это место, а не другое, и почему он, мерзавец, *мне* это показывает? Зачем это мне нужно? Какое мне до этого дело? Почему он врывается в мою нормальную жизнь и хочет ее нарушить и даже окончательно уничтожить?

Этого неуважения к себе я уже никак не мог выдержать; и если утром того дня я еще сохранил некоторое равновесие, то здесь я решил обратиться в полицию, чтобы она раз навсегда избавила меня от посещений этого нахала и от его назойливых информаций. Ведь это же в конце концов обязанность полиции — сохранять общественный порядок и препятствовать всякому его нарушению. Тут же вечером я побежал в свой полицейский участок и написал там подробное донесение. Начальник участка обещал принять меры, и я ушел успокоенным.

Прошло еще несколько дней. Я постепенно и довольно медленно

оправлялся от всех неприятных чувств, доставленных мне моим субъектом. И я даже стал к нему относиться несколько юмористически, стал его называть Епишкой.

Я понемногу брался за учебники, узнавал о пропущенных экзаменационных сроках и о возможности отсрочки для себя двух оставшихся экзаменов, понемногу приходил в себя, как вдруг, уже получивши отсрочку экзаменов от университетского начальства, я опять вспомнил этого мошенника, вспомнил эдак часов в 12 дня, когда полез в чемодан за носовым платком, да так и остался на корточках перед чемоданом.

Вы не можете себе представить, до какого нахальства дошел Епишка.

Ха-ха! Епишка — ученый, Епишка — профессор. Епишка стоит на кафедре перед многочисленной аудиторией и читает лекцию. А я-то думал, что он на бульваре с прохожими балуется или чистит себе желудок! Ничего подобного! Это была только видимость. А вот, вот в каком виде представился он мне тогда на бульваре. Вот он читает свою лекцию — нет, не лекцию; вот он произносит речь и даже не речь, а какую-то проповедь. Да, да, он не профессор, он — проповедник, агитатор, основатель какой-то религии, секты или чего-то вроде этого.

— Господа! — с неподдельным волнением и дрожью в голосе выкрикивал Епишка, имея тот же самый глупейший вид с вздернутым носом, удивленно поднятыми бровями, с маленькими темными усиками и мягкой бородкой, с выкатившимися мелкими серыми глазенками, одновременно пугающими и испуганными. — Господа! Мы пока еще не можем преодолеть смерть, но мы уже можем ее обезвредить. Хотите обезвредить свою смерть?

— Хотим, хотим! — загудела толпа.

Я подумал: «Что значит обезвредить?» Но ничего не сказал и стал прислушиваться.

— Господа! — продолжал Епишка, и в его голосе мне послышалось что-то деланное, театральное. — Господа! Как бы вы сами хотели обезвредить свою смерть?

— Хотим умирать без болезней! Хотим, чтобы приятно было! Хотим, чтобы не помнить ничего!..

Толпа гудела и волновалась. Слышались отдельные выкрики:

— Умереть как заснуть! Не замечать смерти! Чтобы родные тоже не плакали! Хотим светлой кончины! Хотим, чтобы дела все закончить! Хотим... хотим...

И слышалось еще много всяких пожеланий. Их я и не вспомню.

— Господа! — перекричал вдруг всех Епишка. — Дайте мне сказать!

И, когда толпа несколько поутихла, он продолжал:

— Во всех ваших пожеланиях я не нахожу ничего нового, ничего принципиального. А я вот избрал новое...

— Что, что? — слышались нетерпеливые вопросы. — Что такое, говорите! В чем дело? Что вы изобрели?

— Позвольте, позвольте, — резонерствовал оратор. — Вы вот хотели не иметь болезней. Это — вздор! Врачи могут вам сделать это и без меня. Что уж вам больно, что ли, перед смертью? Ну хватил какого-нибудь наркотика и — крышка! Ничего и не заметите.

В толпе почувствовалась некоторая озадаченность. Действительно, мало ли средств, которые анестезируют любую боль и даже лишают временно сознания?

— Мне больше понравилось, — продолжал с таинственным тоном Епишка, — когда кто-то из вас хотел, чтобы приятно было вам это дело! Надо, чтобы приятно было! Но, господа, и одной приятности мало. Что же мы, в самом деле, целую жизнь страдаем, страдаем, целую жизнь корпим, корпим, трудимся, трудимся, а потом умирать пришло, и вот тебе награда — приятность какая-то. Господа, этого мало! Слышите? Этого мало!

Толпа вновь оживилась, заинтересовалась. Послышались снова замечания и вопросы:

— Мало! Конечно, мало! Что это за приятность такая? Хотим больше! Да чего вы мучите нас? Говорите, что вы изобрели такое. Говорите скорее! Слушаем!

Епишка сознательно медлил, желая вызвать к себе более оживленный интерес и интригуя толпу, которая и без того была готова соглашаться на что угодно.

— Господа, надо смеяться! Да, надо смеяться перед смертью! — крикнул Епишка.

По толпе прошла новая волна недоумения.

— Надо смеяться! Надо хохотать!

Толпе это сразу понравилось. Хохотать перед смертью, видимо, ей больше хотелось, чем просто смеяться.

— Да! — вдруг закричал во весь голос Епишка. — Надо хохотать до упаду. Слышите ли: *до упаду!* Вот это и будет смерть. Надо лопнуть со смеху. Когда лопнете со смеху, это и будет смерть.

Толпа взбесилась.

Уже и во время предыдущих слов Епишки аудитория галдела как огромный рынок. Но сейчас все повскакивали с мест, и Епишка тоже сбежал с кафедры. Все бросились к нему, окружили его и наперерыв стали выражать свой восторг по поводу его идеи. Одни восхваляли его как какого-то нового чудотворца и спасителя от всех бед; другие били себя в грудь, желая показать полноту своих благодарных чувств; третьи ловили его руки и края одежды, чтобы их поцеловать; четвертые падали на колени, и кое-кто даже замирал в своей молитвенной, коленопреклонной позе.

— Где, где это средство? Скажи, и — мы умрем, мы лопнем со смеху. Спаситель наш, бог наш, веди нас куда хочешь! Надежда наша! Вождь наш! Возьми нас, прими нас! Мы твои! Мы твои!

Епишка махал руками направо и налево, как бы отмахиваясь от объятий, и лицо его покраснелось от удовольствия.

— Да позвольте, позвольте! — кричал он. — Дайте сказать. Подождите. Еще же я вам не сказал, в чем дело... Позвольте! Ведь вся суть не просто в голой идее... Надо уметь выполнить... Позвольте! Остановитесь! Подождите! Дайте сказать!

Я думал, что толпа его разорвет на части от своего восторга. Но он каким-то чудом вырвался из толпы, взбежал опять на кафедру и заорал во всю глотку:

— Машина! Слышите? Машина такая есть...

Многие при слове «машина» стали вести себя менее бурно. И через несколько мгновений наступило относительное затишье, все еще прерываемое возгласами и вопросами. Кто-то даже рыдал, прислонивши голову к правой руке, а правой рукой опершись на сцену.

— Господа! Ведь вы же еще не знаете самого важного. Ведь одной идее мало. Надо ее осуществить! Да!

Вступление Елены ТАХО-ГОДИ.

Подготовка текста А. А. ТАХО-ГОДИ и В. П. ТРОИЦКОГО.

Публикация А. А. ТАХО-ГОДИ.



Валерий ПИСИГИН

Письма с Чукотки

ЧАСТЬ III. ЛАВРЕНТИЯ

...Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый рок настиг —
И мы в борьбе с природой целой
Покинуты на нас самих.

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали...
Федор Тютчев.

21 декабря. Лаврентия

Дорогой Иверий!
Страшно представить, но я сейчас — на самом конце света. Дальше некуда. Остается только выйти за пределы поселка и направиться к Берингову проливу. В сравнении с Анадырем здесь тепло (о Билибино и говорить нечего) и совсем нет снега...

Я уже писал о наших пространствах, которые не перестают поражать. Восемь часов я летел вдоль наших северных границ, затем пересек Чукотку с севера на юг и, казалось, очутился на краю Земли. Но нет. От Анадыря на восток можно лететь еще полтора часа. Там, оказывается, находится целая страна! И это после того, как страна вроде бы закончилась. От Анадыря до Лаврентия расстояние, как от Москвы до Санкт-Петербурга, только надо умножить каждый километр на десять или даже на двадцать: таково соотношение трудностей по их преодолению. А может, каждый километр следует умножить на сто? Никто ведь не сопоставлял.

Вылетели днем, и я мог наблюдать Чукотку с высоты. Внизу — все та же белая безжизненная пустыня. С правой стороны — неестественно большое красное солнце, с левой — такая же огромная бледно-желтая луна. Но и солнце, и луна находились внизу, под крыльями самолета. Между сопками виднелись разной величины плоские черные пятна. Это замерзшие озера. Пролетали над заливом Креста. Он покрылся прозрачными ледяными пластинами, словно чешуей. В конце этого залива находятся бухта Этэлькуйым и поселок Эгвекино. Проплывая над безмолвной пустыней, невольно размышляешь о странностях человеческой мысли и воли, которые иначе, чем безумием, не назовешь.

...Наши несостоявшиеся завоеватели, те же Наполеон и Гитлер, слыли хоть и бесноватыми, но все же не лишенными признаков ума. Чего они хотели? Во что вязались? На завоевание чего бросились? Да не одни. Притащили с собой бесчисленные орды, а перед тем убедили их, уговорили, соблазнили. Куда сунулись, если только на объезд этих территорий уйдет жизнь? А ведь их великие армии погибли, как говорится, «на подступах к Москве». Пали в тех местах, где и зимы-то настоя-

шей нет, где умеренный климат, где жить русскому — одно удовольствие и куда стремятся уехать наши северяне. Что случилось бы с этими ордами, попади они в те места, над которыми я сейчас пролетаю? Представим, что они нас завоевали, покорили, подчинили. Что дальше? Что делать со всем этим добром на следующий день... нет, нет, на следующее утро? Как этим бесконечием управлять, как властвовать над ним? Как на этих архаичных пространствах организовать жизнь или хотя бы ее видимость? Где отыскать силы на то, чтобы только вбить колышки да пометить: «Моё»? Не говоря о том, чтобы эти колышки охранять. Ведь спустя полчаса половину их разворуют, часть снегом припорошит, остальные исчезнут сами... Как не поймут наши «завоеватели», что крест, который несет Россия, неподъемный больше ни для кого? Этот крест — в удержании немислимых, чудовищных, катастрофических пространств. Взвалить его на себя — значит раствориться, размыться, бесследно исчезнуть, как исчезает к полудню лесная дымка. И самое большое чудо в том, что мы до сих пор не исчезли. Ладно, если бы удерживать приходилось только пространства. Что делать с их обитателями? Ведь не только персонажи Достоевского живут в наших городах и весях, одно упоминание о которых должно отвратить от нас всякого завоевателя. Есть еще и герои Салтыкова-Щедрина, Лескова, Чехова... Да за семьдесят советских лет мы украсили эту бессмертную галерею новыми персонажами, которые классикам и не снились. А за последнее десятилетие вывели еще более новых... При том, что и старые никуда не делись. Но что я пекусь о завоевателях? А каково нашим собственным начальникам? Алчущие и страждущие, стоящие на пороге власти или только делающие в ее сторону первые шаги, прибывают они в столицу и, затаив дыхание, глядят на кремлевские башни, с вожделием, завистью, потаенной страстью и умопомрачительными мечтами взирают на неприступные стены, на увенчанные крестами храмы и колокольни, на роскошные белокаменные строения, пытаюсь в своем воображении проникнуть за стены, войти в палаты и во дворцы. А надо бы начать с тихого дворика на Никитском бульваре, подойти там к старому памятнику Николаю Васильевичу, к тому, где Гоголь сидит, тщетно закрываясь плащом и куда-то пристально вглядываясь. Но, прежде чем всмотреться в печальный образ писателя, надо осмотреть пьедестал и тот непостижимый хоровод персонажей, опоясавших, опутавших своего создателя. И, обойдя памятник, нужно остановиться, взглянуть на прохожих, на тех, кто рядом: как они ходят, о чем говорят, какие у них лица... И тотчас бежать к зеркалу, к ближайшему окну, ко всему, что только способно отражать, и посмотреть еще и на себя... Что делать с нами? Как нами управлять? Возможно ли это? Ведь в той северной стране, пролетая над которой за полсуток не встретишь огонька, в действительности проистекает жизнь. Только все живое, способное к движению, разбежалось и схоронилось: кто в норы, кто в берлоги, кто в гнезда, а кто в яранги, юрты, палатки, хрущевки, в прочие жилища, и там, пригревшись у очага, свернувшись калачиком, посапывая и похрапывая, разомлев и расслабившись, пребывая в бесконечной неге, прячутся персонажи моей страны. Как не пожалеть тех, кто силится разбудить их и вытащить наружу? Как не сострадать тому, кто пытается убедить их в своей правоте, хочет подчинить своей идее и своей цели?..

Наконец самолет пошел на снижение. Сопки здесь пологие, снега на них почти нет. И вот передо мной черта Евразийского континента и Берингов пролив. Самолет делает вираж в сторону залива Святого Лаврентия и заходит на посадку. Я увидел коричневатую тундру, разбросанные черные бочки и серый вытянутый поселок с несколькими пятиэтажными домами и дымящимися трубами.

Дорогой Иверий! Мои впечатления о Билибино и Анадыре я тебе уже отослал. Готов выслать и впечатления о Лаврентия. Только сделать это будет непросто. Скорее всего я сам привезу их в Москву и только потом переправлю в Питер. Пока же я с тобой прощаюсь.

Первые впечатления

Мои анадырские приятели с большим сомнением отнеслись к затее отправиться в Лаврентия: «Куда? Там такая дыра!» Они бы удивились, увидев моих

московских друзей, крививших губу при упоминании Анадыря. Поразительно, но когда уже в Лаврентия я заикнулся, что хочу попать в Уэлен, реакция была такой же: «В Уэлен? В такую дыру?» У каждого свои представления о «дырах», и предела этим представлениям нет, как, впрочем, нет предела и самим «дырам».

Северо-восточное окончание Евразийского континента, которое уместнее назвать его началом, находится на Чукотском полуострове. Но, если приглядеться, на этом полуострове есть еще один полуостров — Дауркина. Вот он и есть Чукотский район с административным центром в Лаврентия. В Чукотском районе все самое чукотское, и если задаться вопросом: где все-таки настоящая Чукотка? — ответ очевиден: здесь!

С севера и юга район омывается Чукотским и Беринговым морями; на западе граничит с Провиденским и Иультинским районами, а на востоке мимо проносятся воды Берингова пролива. На другой стороне пролива, всего в восьмидесяти километрах, — Аляска. Между континентами, точно посередине, находятся острова Диомиды, состоящие из островов Ратманова, Крузенштерна и скалы Фэруэй.

Если посмотреть на полуостров Дауркина из космоса, то он живо напомнит голову хищного доисторического ящера. На кончике носа этого тиранозавра находится мыс Семена Дежнёва — крайняя точка континента, а чуть выше — легендарный Уэлен. С тех пор как исчез эскимосский поселок Наукан, Уэлену принадлежит честь называться самым восточным населенным пунктом.

Немного ниже носа воображаемого хищника, примерно в восьмидесяти километрах к югу, начинается огромная пасть. Это залив Святого Лаврентия. На северном берегу залива еще недавно существовал поселок Нунымо, а на южном — находится поселок Лаврентия.

Своим звучным и благообразным названием залив обязан знаменитому Джеймсу Куку. Хотя еще за тридцать лет до него землепроходец Тимофей Перевалов нанес залив на карту. Кук оказался более расторопным. Направляясь к Ледовитому океану, он 10 августа 1778 года заметил слева по борту залив, уходящий на северо-запад. И это несмотря на пасмурную погоду, дождь и сильный ветер! Поскольку событие произошло в день святого Лаврентия — покровителя странствующих, Кук присвоил заливу имя этого святого.

Несмотря на обидное для нас обстоятельство, Кука в этих местах есть не стали, хотя он почти месяц тыкался носами своих кораблей в чукотские берега, тщетно пытаясь попать в Европу, минуя наши северные границы. То ли аборигены были патриотами и ублажать желудки иноплеменными белками не желали, то ли, наоборот, миролюбивый характер не позволял есть иностранца, а может, они были заняты кем-то другим и им было не до Кука. Возможно, и сам путешественник еще веса не нагулял, известно только, что он целым и невредимым отправился зимовать на Гаваи, где спустя полгода был вроде бы съеден местными жителями. Не с тех ли пор Гавайские острова стали называть еще и Сандвичевыми?

Говоря о географических открытиях, надо признать их некоторую условность и иногда добавлять, что данное открытие совершено нами и для нас. Ведь на всех этих «открываемых» землях испокон веков жили, развивались и умирали цивилизации, которым мы не можем отказать в праве считать себя центром мироздания. Это значит, что на бескрайних просторах Чукотского полуострова, и особенно вдоль его берегов, жизнь кипела и была полна событиями независимо от того, знали о том наши просвещенные предки или нет. До Джеймса Кука побережье залива Святого Лаврентия посещали русские первопроходцы, в том числе ученый-чукча Н. И. Дауркин-Тангитан, именем которого назван полуостров. И все наши первопроходцы свидетельствовали о жизни народов в этих местах. О том же напоминают археологические находки, которым нет числа.

Что касается поселка Лаврентия, то его история берет начало с появления так называемой культбазы.

Непросто сейчас определить, кому именно пришла идея соединить слово «культура» со словом «база», но, родившись в эпоху самых неожиданных и смелых нововведений, это словосочетание возражений ни у кого не вызывало. Культбаза должна была соединить различные административно-хозяйственные учреждения региона. Поскольку идея создания культбаз восходит к 1925 году, то есть ко времени расцвета нэпа, их возникновение едва ли можно отнести к началу установления колхозно-совхозного строя. Дело в другом: советская власть надеялась распростра-

нить влияние на территориях, где хозяйничали американцы. Поскольку в центральных советских органах служили не только идеалисты, карьеристы и проходимцы, в состав новообразованного Комитета содействия Северу были включены специалисты, в частности В. Г. Тан-Богораз, вернувшийся к тому времени из США.

К началу функционирования, осенью 1928 года, культбаза состояла из ветеринарного пункта, мастерской по ремонту руль-моторов и бытовой техники, больницы, цинкового склада, дома фактории, школы-интерната и трех жилых домов. Чуть в стороне стояло с десяток яранг. В одной из них жил косторез Онно, запечатлевший культбазу на моржовом клыке. Вся эта инфраструктура, расположенная на берегу залива, стала впоследствии поселком Лаврентия.

Вот какой нашел культбазу писатель Т. З. Семушкин:

«...На левом берегу залива в десяти километрах от входа в бухту, возле склона горы приютились одиннадцать европейских домиков Чукотской культбазы. С горы бежал ручей, по улицам ходили люди в европейских костюмах, дамы на французских каблуках, и по улице до самого моря протянулась железная дорога — «узкоколейка». Казалось, что Чукотку мы прошли и попали в другое место...»

Наталья Павловна Отке — директор окружного краеведческого музея — родилась в Лаврентия. К семидесятилетию культбазы она подготовила очерк, в котором пишет:

«...Инструктора по советскому и кооперативно-колхозному строительству, женорганизаторы, политпросветчики, врачи, ветеринары, учителя, охотоведы, ихтиологи, зоотехники-оленьеводы, краеведы — вели работу коллективно, по единому плану, под руководством заведующего культбазой. Сотрудники культбазы работали не только в кабинетах, но и в стойбищах, в период перекочевок оленеводов на далекие расстояния.

Ни полярная ночь, ни суровая стужа, сопровождаемая арктической пургой, ни порожистые реки — не являлись препятствием для выполнения порученной работы. Многие из работников культбазы изучили эскимосский и чукотский языки и вели разъяснительную работу исключительно на них».

В истории Лаврентия навсегда останутся и челюскинцы. Их пароход был зажат во льдах, затонул, а сами герои экспедиции оказались на льдине в Чукотском море. Спасали челюскинцев всеми возможными для того времени способами и доставляли в Уэлен. Часть спасенных оказалась в Лаврентия, поскольку здесь была больница, довольно убогая, единственная на полуострове, а также аэродром. В своих воспоминаниях челюскинцы именуют культбазу бухтой Лаврентия. Следовательно, поселком они ее не воспринимали.

Челюскинцы отремонтировали больницу, починили кровати, пошили постельное белье, привели в порядок хирургические инструменты, печи, раздобыли уголь. Можно представить состояние больницы до их прибытия! Сергей Семенов, секретарь экспедиции, пишет:

«Наладили отлично общую столовую. Нашли достаточное количество посуды. Повара собственные, пекаря — тоже... Была даже вытоплена баня. Баня имелась на культбазе, но ее уже не топили целых полгода. Для того чтобы вытопить ее, понадобилась тонна угля. Зато в бане, кроме челюскинцев, вымылось все население культбазы. На складах культбазы челюскинцы разыскали неисправную динамо, испорченный киноаппарат и запас изорванных фильмов. Все это починили и организовали для всего населения культбазы периодические сеансы...»

В середине мая 1934 года подлечившиеся челюскинцы покинули Лаврентия, оставив после себя, кроме отремонтированных домов, больницы, бани, теплые воспоминания.

Следующий этап в жизни поселка начался с переноса сюда в 1942 году районного центра из Уэлена. Связано это было прежде всего со строительством нового аэродрома, как говорят, лучшего из всех грунтовых аэродромов Чукотки. Во время войны Лаврентия выполнял важнейшую стратегическую функцию. Здесь осуществляли промежуточную посадку самолеты, доставлявшие из Америки грузы по так называемому ленд-лизу. Конечно, для обслуживания аэродрома были необходимы квалифицированный персонал и условия для его работы.

Кроме Уэлена, в Чукотском районе есть еще несколько поселков, самый

далекий из которых — Нешкан. С эскимосского переводится, как «Голова». Находится Нешкан на побережье Чукотского моря, в трехстах километрах от Лаврентия. Десятки поселков исчезли с карты района. Жители их переместились в основном в Лаврентия или в Лорино. Сейчас население Чукотского района насчитывает немногим больше пяти тысяч.

Расцвет Лаврентия приходился на семидесятые и восьмидесятые годы. Аэропорт принимал по несколько самолетов в день. Вертолетам и вовсе не было счета. По свидетельству лаврентьевцев, пилоты, слетавшиеся сюда со всех концов страны, называли поселок маленьким Парижем за обилие красивых женщин, к тому же одиноких. Кто-то разлюбил, кому-то изменили, кого-то обманули — мало ли чего в нашей жизни происходит такого, когда нет сил пребывать в прежнем состоянии и хочется бежать куда глаза глядят. Женщины предпочитали край света. Они бежали сюда от неудач, горя и разочарований, бежали в надежде обрести покой, а при случае — новое счастье. Нередко приезжали беременные, чтобы здесь родить и уже вместе с ребенком возвратиться на материк. Приезжали, рожали да так и оставались.

Но кого жизнь чаще всего гонит? Кого преследует и наказывает? Самых-самых. Красивых, горделивых, знающих себе цену, не желающих мириться с обстоятельствами. Так происходил естественный отбор. К тому же здесь было совсем неплохо: зарплата высокая, снабжение продуктами под стать Москве, одевались по последней моде. От благополучия и манеры становились изысканными, и голос мягче, и формы утонченнее. Приехавшие красавицы работали в основном в торговле и медицине. Они были прекрасными хозяйками, умели вести быт и отлично готовили.

Конечно же, летчики, особенно военные, не оставляли такое добро без внимания и стремились сюда во что бы то ни стало. Отдав себя в руки лаврентьевским женщинам, они обволакивались заботой и вниманием, лаской и теплотой. Парижским мужчинам такое не снилось! О Лаврентия ходили легенды... Сейчас от этого не осталось и следа, если не считать нескольких красавиц бальзаковского возраста и их не менее красивых дочерей. Это немало, но недостаточно, чтобы сюда рвались избалованные летчики.

Что такое Лаврентия сейчас: поселок? село? населенный пункт? Официально считается селом, но так Лаврентия называть нельзя из-за отсутствия церкви. Для деревни — слишком велико и цивилизовано. Поселок? Кажется, подходит больше, но Лаврентия все-таки районный центр. Город? Но всякий, кто здесь был, признает, что это не город. Так что я не знаю, к чему относить Лаврентия.

Как зовутся тысяча четыреста его жителей? Себя они именуют лаврентьевцами, что было бы верно, если бы поселок назывался Лаврентьево. Жителей здешних правильнее называть лаврентийцами, подобно тому как живущих во Флоренции называют флорентийцами.

Если сияющее желтыми огнями Билибино напоминает курорт, а в архитектуре заметен здравый смысл, если в архитектуре Анадыря смысла нет, как нет его в архитектуре всех советских городов, то Лаврентия по сравнению с ними выглядит и вовсе недоразумением.

Большинство домов здесь двухэтажные, но есть несколько пятиэтажек, более комфортабельных и надежных. Кроме них, имеются трехэтажное административное здание, Дом культуры, несколько корпусов больницы и прочие строения. Все эти здания развернуты в одном направлении и почти все расположены вдоль одной улицы, вытянутой километра на полтора. Параллельно этой улице проложена взлетная полоса аэродрома, и летчики иногда путаются в выборе места посадки. Только одно здание стоит наискось, словно назло остальным. Это школа. Видимо, в тот день, когда дошла очередь до ее постройки, строители хватили лишнего, а протрезвев, возобновили строительство. Поэтому следующие за школой дома вновь соответствуют общему направлению. По другой версии, школу построили наискось, чтобы ее обходила пурга. Но тогда что мешало расположить таким же образом остальные здания?

Без снега Лаврентия предстает мрачным и серым. Вынесенные наружу коммуникации добавляют еще и элемент неухоженности. Черные трубы коптят небо, а сами котельные, увенчанные этими трубами, издают непрестанный шум, в точности напоминающий рев самолета, отчего жителям близлежащих домов должно чудиться, будто они пребывают в постоянном полете. За зданием администрации

черно от угля. Его куча возвышается у котельной и с течением времени расплзается. Впервые за время пребывания на Чукотке мои ботинки покрылись пылью. Это было непредставимо в Анадыре, тем более в Билибино. В центре поселка, если Лаврентия вообще имеет центр, разбросаны кучи мусора, в которых можно опознать развалины бывших строений. В развалинах шныряют несчастные собаки, которые до того трусливы, что пугаются взять корм. Прохожие, в большинстве своем коренные жители, одеты неопрятно и очень бедно. Чукчанки — в изношенных драповых пальтишках и шапочках из искусственного меха. Несколько чукчей, проходя мимо, здороваются первыми, и это пока единственное светлое пятно на фоне первых впечатлений. Рядом с домами стоят железные контейнеры, судя по всему давно брошенные, и сколоченные кое-как деревянные сарайчики. По улице ездят редкие и диковинные агрегаты — симбиоз трехколесного велосипеда и трактора. В этих тарантасах на огромных колесах сидят такие же странные существа. Иногда проезжают со страшным шумом снегоходы «Буран», волоча сани, груженные разным хламом. Ездят эти снегоходы по гравию, потому что снега здесь нет, а дороги Лаврентия не знают асфальта. Мой провожатый, работник администрации, показывал магазины, где мне предстоит покупать продукты, и рассказывал о поселке, но я его не слышал... Никогда не видел столь откровенной дыры и с ужасом думал, что мне предстоит пробыть здесь целую неделю. Я всегда волен в передвижениях и, если меня удручают угрюмость местности или неприятные физиономии, тотчас уезжаю. Неприязнь гасится возможностью беспрепятственного отъезда. Но из Лаврентия уехать невозможно...

После того как меня представили главе администрации района, я первым делом, но весьма деликатно поинтересовался насчет рейса в Анадырь. Меня обнадежили и проводили к месту обитания. Мне предоставили лучшее, чем располагают: огромную четырехкомнатную квартиру, в которой коридоры, ванная и кухня были еще больше, чем сами комнаты. Здесь есть телефон, отдельный вход и даже автономные коммуникации. Это не случайно: в квартире еще недавно проживал прежний глава администрации. Лучшего жилища здесь нет, и, если бы в Лаврентия прибыли президенты России, США или даже сам Римский Папа, их бы тоже разместили в этих апартаментах.

Придя в ужас от увиденного, я невероятно устал. Осмотрев квартиру, выбрал одну из комнат и приспособил все для временного проживания и работы...

Как важно, чтобы все было разложено, расставлено, чтобы рядом находились мои безмолвные спутники и надежные помощники, чтобы они были под рукой, в одном месте: коротковолновый радиоприемник, фотоаппарат, диктофон, часы, бумаги с записями и чистые листы, авторучки и книги, которые я приобрел уже на Чукотке, но главное, чтобы рядом был мой спальный мешок, в котором я мог бы укрыться. В квартире холодно. Батареи едва теплые. Но для меня заботливые лаврентьевцы принесли обогреватель. Что еще? Еще нужна настольная лампа. Без нее нет уюта, нет ощущения тепла, нет замкнутости и нет тишины. Яркий свет создает шум и вызывает тревогу. За квартирой следит пенсионерка Евгения Ивановна. Она принесла спасительную настольную лампу, и теперь я работоспособен. Мое лаврентьевское гнездо готово! Здесь я буду жить, и на какое-то время центр моего мира будет находиться на краю Земли, у Берингова пролива. Отныне эта самая удаленная точка — часть моей биографии...

22 декабря. Лаврентия

Дорогая Валентина Федоровна!

Конечно, Вы слышали о Лаврентия. Ведь поколение Ваше — все же романтики. Помимо прочего, этот романтизм находил выражение в необозримых далах, где царствуют ночь, мгла, пурга, где светят огни полярного города, и, конечно, он отражался в звучных названиях: Провидения, Диксон, мыс Шмидта, Таймыр, остров Врангеля, Ванкарем... И среди наиболее манящих — Лаврентия.

Никто не мог соперничать с бородачом, вроде Хемингуэя, только более крепким и мужественным, потому что не юг и не пальмы с кипарисами, а льды и торосы, метели и вьюги манили, влекли, притягивали; не сандалии и береты, не маечки и трусики, а толстые свитера, меховые куртки и унты — вот что особо красит мужчину. Разве не отдали бы Вы всё на свете за то, чтобы быть рядом

со щетинистым полярником? Кто он: геолог, летчик, моряк, золотодобытчик, — какая разница? Главное, он центральная и наиболее вожденная часть великого и прекрасного мифа, в который верили и который любили. И, между прочим, не такой уж это был миф...

Сегодня ознакомился с поселком и набрел на краеведческий музей. Он расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Хотя это лишь филиал, в нем имеются достойные экспонаты. Здесь и чучела полярных животных, морских и сухопутных; и орудия труда, которыми пользовался древний человек; и одежда охотников на морского зверя; и средства охоты. Есть в музее кости, камни и многое другое из прошлой жизни. Нет только ничего из жизни настоящей...

Был также в районной библиотеке. Она занимает старое одноэтажное здание и носит имя Т. З. Семушкина. Тихон Захарович родился ровно сто лет назад в Пензенской губернии, в селе Старая Кутля Мокшанского уезда, в семье крестьянина-столяра. В молодости начитался сочинений Тана-Богораза и стал подвижником Севера. С 1924 года Семушкин был связан с Чукоткой, а с 1928 года — непосредственно с Лаврентия. Здесь в то время построили культбазу, и Семушкин открыл первую школу-интернат. Не знаю, сколько времени он пробыл на Чукотке, но с 1937 года Тихон Захарович сосредоточился на литературной деятельности. Его самая известная книга — «Алитет уходит в горы». Умер писатель в 1970 году.

Фонды библиотеки богатые, но ветхие. Новых поступлений нет. Уж если в Москве и Санкт-Петербурге библиотекари жалуются, что же говорить о Лаврентия! Отопления тоже нет, хотя котельная рядом. Библиотекарша — молоденькая чукчанка Юля — сидит в пальто и листает журнал. На меня внимания не обращает. Пытался завести с нею разговор. Вытягивал каждое слово:

— Почему не топят?

— Ребята загуляли. (Имеются в виду кочегары.)

— Отчего загуляли?

— Выплатили деньги к выборам, и она запили.

У озябшей Юли претензий к кочегарам нет. Им полгода не платили, и они решили не выходить на работу. Теперь вот, наконец, заплатили, и кочегары на радостях запили. Их бы выгнать да набрать других, хороших, непьющих, но где таких возьмешь? Где еще отыщешь кочегаров, которые будут полгода работать за просто так? Только у нас. А где найдешь таких библиотечкарей? А врачей где найдешь? А учителей? Нет, нет — таких, как мы, нигде не отыщешь.

Говорили мы с Юлей и о ней самой, но прежде вот о чем.

Когда мы узнаем об очередном повышении цен на авиабилеты, то, конечно, не радуемся. Мы даже огорчаемся, как огорчаются неприятной новости, непосредственно нас не касающейся. «Не касающейся», потому что жителям торжков, новоржевов и вышних волочков нет дела до того, почем авиабилет. Они давно перестали летать, ездить, и слава Богу, что еще ходят. Но для жителей Севера стоимость авиабилета имеет значение не меньше, чем цена на хлеб. В условиях, когда самолет — единственное средство доставки продуктов, лекарств, писем, всего на свете, когда ничем иным не доберешься до материка, подорожание авиабилета — настоящая катастрофа.

Судите сами: билет из Лаврентия в Анадырь стоит две с половиной тысячи рублей. (А из Билибино в Анадырь — четыре с половиной!) Можно, конечно, провести отпуск в славном Анадыре, но почему-то все стремятся дальше. А попасть «дальше» можно только через Москву, билет до которой стоит девять тысяч! Да из Москвы к месту отдыха — еще тысяч пять. Итого, стоимость одного билета — семнадцать тысяч рублей! В один конец!

А обратно? А пребывание в аэропортах, где надо и поесть, и в случае чего переночевать? А сам отпуск тоже не под открытым небом: здесь и стоимость путевки, и экскурсии, и побаловать себя хочется. К тому же северяне едут не только отдыхать. Они стараются приобрести самое необходимое себе и детям. Одежду, например. А если ехать в отпуск семьей? Посчитайте, какие деньги нужны для этой невинной затеи. Раньше государство компенсировало затраты на авиабилеты. Но это было раньше...

Библиотекарша Юля получает в месяц семьсот рублей, и проблемы отпуска для нее попросту не существует. Но девушка учится в Анадыре, в колледже. Учеба и обретение профессии дают шанс уберечь себя в жестоком мире, а при случае —

возможность выбраться, хотя бы в тот же Анадырь. Раз в год Юле нужны деньги на авиабилет и на двухмесячное проживание в общежитии (60 рублей в сутки). На еду Юля тратит немного, но и «немногое» тоже надо иметь. По закону половину расходов должна оплачивать библиотека, а половину сама Юля. Но чем же она будет оплачивать, если уже год не получает зарплату?! Отдел культуры выдал ей три тысячи рублей — в долг. Замечательно. Но чем его отдавать? Я пытался выяснить у Юли сложившуюся ситуацию, но она уже запуталась и считает дело безвыходным. Бросить колледж означает конец надеждам, в то же время долг растет, стоимость авиабилетов увеличивается, и что будет — неизвестно.

У Юли мало интереса к библиотеке, к книгам, вообще к жизни, и винить ее за отчаяние не отважусь. Одно знаю: ей помогут и не дадут пропасть лаврентьевские женщины, которые прибирают к рукам все, в чем еще теплится жизнь. Прежде всего это образование, медицина, культура и управление поселком.

Я давно убедился, что в России всё держится на женщинах. Люди сведущие дополняют: и всегда держалось. И то, что мы еще не пропали, — их заслуга. В Лаврентия вообще, кроме женщин, кажется, никого нет. Есть дети и еще... какие-то типы, в которых при большом воображении можно опознать мужчин.

То, что Чукотка — самый бедный край в России, — можно оспорить. Но то, что Чукотский район — беднейший на Чукотке, сомнению не подлежит. Экономисты и политики такие районы нарекли словом «депрессивный». Здесь нет ничего, что могло бы приносить доход. Развивается, точнее, сохраняется лишь так называемая «социальная сфера». В Лаврентия один из главных очагов жизни — школа.

Я много езжу по городам и всяям, но нигде не встречал школы, подобной лаврентьевской. Здесь учителя в такой степени живут профессией, словно школа не главный, а единственный их дом. Ни в одной из провинциальных школ я не видел таких оборудованных классов и столь бережного отношения ко всякому предмету: к книге, к карте, к линейке... Здесь кабинет химии — настоящий сад! Я насчитал в нем 72 растения! От деревьев до крохотных растений в горшочках. Поскольку я мало смыслю во флоре, хозяйка кабинета — Татьяна Михайловна — перечисляла названия, а я с трудом поспевал записывать. Больше всего бегоний. Самое большое растение — древовидная лиана «фатсия японская». Ей двадцать лет! Есть китайские розы, мексиканские кактусы, герани, папоротник, лилия амазонская... Нет только эдельвейса. Невзирая на температуру (плюс одиннадцать), плодоносят лимоны.

Кабинет химии — самый зеленый, но не единственный. Почти в каждом классе стараются выращивать цветы, столь недостающие на Чукотке. И не только растениями богаты классные аудитории. Они оснащены шкафами, стеллажами, на полках много книг и прочего, что прежде называлось «материальной базой». Имеются даже телевизоры и видеомагнитофоны. Директриса, Тамара Валентиновна, говорит, что все это осталось от прежних времен. Стены в классах и коридорах расписаны русскими пейзажами и сценами из жизни литературных героев. Рисуют учителя и наиболее способные из учеников. Проходя мимо серого и невзрачного здания школы, ни за что не подумаешь, что внутри так тепло и уютно.

...Я вспомнил школу в селе Завидово, находящемся в двух часах езды от Кремля. Там, кроме старых парт, нет вообще ничего. Даже отопления. Поэтому зимой занятия проводят в соседнем детском саду в три смены. Директор школы из последних сил старается организовать учебу детей и всеми правдами и неправдами удерживает оставшихся учителей. Ставка уборщицы в завидовской школе — меньше двухсот рублей в месяц, а у сторожа — полторы сотни. Поэтому школа не охраняется. Тем временем мимо школы, чтобы отдохнуть и поохотиться в благодатных завидовских угодьях, проезжают большие начальники. Да не просто большие. Первые лица страны! И никому нет дела до этой несчастной школы, где учителя мечтают не о компьютерах и видеомагнитофонах, а о пишущей машинке...

К лаврентьевской школе примыкает четырехэтажное здание, в котором размещены всевозможные кружки, секции, детский театр, школьный этнографический музей, а на четвертом этаже находится отдел народного образования с методическим кабинетом и библиотекой. Перед тем как окантаться в этом отделе, я зашел в детский театр «Фея». Разодетые в карнавальные одежды, дети репетировали предновогоднюю пьесу. Ко мне подошла восьмилетняя Баба Яга и пригласила на репетицию. Я не ценитель театра, но здесь всё выглядело забав-

но, особенно цитата из В. Г. Белинского, выведенная на одной из стен: «О, ступайте, ступайте в театр! Живите и умирайте в нем!» Я хочу жить и при всем уважении к неистовому Виссариону театров стараюсь избегать...

Теперь о том, как организована учеба на территории огромного и безлюдного района.

Школы есть во всех шести поселках. В них учатся 1135 учеников, из которых 990 — коренной национальности. В основном — чукчи. Эскимосов значительно меньше. В поселках относительно больших — в Уэлене, Лорине, Нешкане и Лаврентия — школы с полным средним образованием. Там, где жителей менее пяти сот — в Энурмине и Инчоуне, — организованы начальные классы. Во всех селах, за исключением Лаврентия, есть пришкольные интернаты, а в Уэлене с 1992 года введена учеба с художественным уклоном. Это связано с развитием косторезного промысла в этом поселке. Что касается дошкольных учреждений, то в них преобладает 446 детей, из которых 414 — коренных национальностей.

Большинство преподавателей района окончили Анадырское педучилище, Магаданский пединститут или Университет им. Герцена в Санкт-Петербурге. Сейчас в районе 176 учителей, из них 108 — коренных национальностей. Все они, как правило, выпускники школ Чукотского района.

Раньше для повышения квалификации учителей возили в Анадырь и даже в Москву. Теперь об этом и не мечтают. Работники отдела народного образования, как могут, помогают школам. Методисты по национальным программам, по учебно-библиотечному фонду, по воспитательной работе и по дошкольным учреждениям в течение года обязаны побывать в каждом поселке. Но если раньше в каждое село раз в неделю летал вертолет, то сейчас инспектора могут попасть в далекий поселок лишь на вездеходе.

Как происходит такая «экспедиция», скажем, в Энурмино, до которого 260 километров? Не по шоссе, не по проселочной дороге, даже не по грунтовой, а между сопок, по замерзшим рекам, по тундре. В селах обеспечение продуктами и промтоварами более чем скудное, поэтому стараются туда ехать не с пустыми руками. Загружают вездеход продуктами, учебниками, книгами, тетрадами, канцтоварами. Оставшееся место заполняют учителя. Вездеход — нечто среднее между боевой машиной десанта и автомобилем. Скорость передвижения не больше двадцати пяти километров в час. Как умудряются учителя впятером и даже вшестером выдерживать многочасовые, а то и суточные переезды — загадка. В таком транспорте непросто даже шевельнуться. К тому же гусеничный агрегат тащится по долинам и по взгорьям так, что вытрясти может душу. А шум какой! А копоты сколько! Слава Богу, пока ничего страшного за время командировок не случилось. Но, по рассказам учителей, когда они едут по тундре, да еще ночью, — напряжение большое. Техника старая, часто ломается. Ездят в основном зимой или ранней весной. Снег, мороз... Если поломка, часами выжидают, пока починят вездеход. В поездку надевают все что только можно. Приятного в этом мало. Но все же для работников отдела каждая такая поездка — особенная. О них любят вспоминать и в новую командировку готовы выехать в любое время.

Едут, как правило, на восемь — десять дней. Суточные — 60 рублей. На проживание добавляют еще по 4 рубля 50 копеек. Живут обычно прямо в школе, в одном из классов. Ставят раскладушки — и ночлег готов. Командировочные складывают и покупают продукты: сахар, масло, куриные окорочка, крупы... Кое-что готовят сами — выпечку, например. Берут с собой, что у кого есть. Все неизбалованные и к суровому быту привыкшие. Подобный визит — не казенная проверка, не галочка. Без такой помощи не смогут работать школы.

Ну а как обстоят дела в самих школах?

По словам начальника отдела образования, Жанетты Азизовны, одаренных детей сейчас мало. Но все равно из района каждый год выпускники поступают в вузы. Учиться здесь непросто. И учить — тоже. Сейчас начались каникулы, и детей из интернатов надо каким-то образом доставить домой. Это можно сделать только снегоходами или на собачьих упряжках, и то, если за ними приедут родители. В Инчоуне — четырехлетка, и в пятый класс детей уже надо переводить в Уэлен, где есть средняя школа. А на каникулы им надо домой.

Пока мы разговаривали с Жанеттой Азизовной, в ее кабинет зашла молодая учительница-чукчанка. С нею десять лет назад произошел страшный случай. Если удастся с нею познакомиться и поговорить, то я разужу и напишу...

Сейчас уже глубокая ночь. А в Торжке еще только три часа дня...

23 декабря. Лаврентия

Привет, Веро!

Билибино — Чукотка, и Анадырь — тоже, но Лаврентия — это Чукотка концентрированная. Как Техас у американцев. Только там все самое богатое, а здесь все самое бедное.

От увиденного пришел в ужас, но подморозило, выпал снег (здесь его не было!) и прикрыл серость. Погода отличная. Днем солнце, ночью звезды, луна. Возможно, я увижу наконец северное сияние. Сразу за моим окном начинается тундра. Даже жутко: не зайвится ли ночью медведь? Ведь у меня первый этаж, а белые медведи на задних лапах запросто достают до третьего... К Новому году надеюсь отсюда выбраться.

Я живу в доме, мало отличающемся от советских пятиэтажек. И вот мне понадобилось вынести мусор. Обычно, если мусоропровода в доме нет, мусор выносят во двор и высыпают в специальные контейнеры, которые затем вывозятся. Полагая, что и в Лаврентия дело обстоит именно так, я вышел во двор, обошел дом, но контейнера не нашел. Впервые вернулся с мусором. Стал выяснять. Оказалось, система здесь такая: около семи вечера к домам подъезжает огромный грузовик-мусоровоз. Надо выйти к нему, подать ведро мусорщику, и тот вывалит мусор прямо в кузов, где находится и сам. Чтобы народ в ожидании мусоровоза не стоял на морозе, мусорщики при подъезде к дому подают сигнал. Теперь мне ясно, чем вызваны душераздирающие sireны, раздающиеся из разных концов поселка примерно в одно время.

Я уже воспользовался услугой мусоровоза и признаюсь, что данный способ весьма эффективен. Когда под окнами раздается сирена, наподобие той, услышав которую нужно бежать к бомбоубежищу, невольно хватаешь мусор. Поскольку я обитаю в квартире, где еще недавно жил главный лаврентьевский начальник, к моей двери мусоровоз подъезжает особенно близко, причем каждый вечер, независимо от того, накопился ли мусор. А сигналит так усердно, что можно сойти с ума. Поэтому я заранее готовлю какой-нибудь хлам, чтобы, услышав сирену, тотчас бежать к мусоровозу. Иначе не смолкнет.

Теперь о главном.

Я тебе уже сообщил, что Младенец-2000 вряд ли родится на Чукотке. Но раз уж я попал в Лаврентия, то стараюсь выяснить, каково состояние с роженицами здесь.

Родильное отделение расположено на втором этаже районной больницы. Это крайнее здание в поселке в километре от моего жилища. Я не стал скрывать цели приезда от главы администрации, тем более что это молодая женщина и, конечно, она не могла остаться безучастной. Она позвонила в роддом, и, когда я туда пришел, меня уже ждала заведующая отделением.

Маргарита Родионовна — самая опытная акушерка в районе. Она попала в Лаврентия около тридцати лет назад, после окончания института. Именно благодаря таким, как Маргарита Родионовна, поселок сравнивали с Парижем.

Я рассказал о своей затее, о том, как искал рожениц в Билибино и Анадыре. Маргарита Родионовна, конечно, знает о приказе строго следить за рождением Младенца-2000, только помочь едва ли сможет. Кандидатки среди рожениц есть, но чтобы одна из них родила в первый час после Нового года — маловероятно. Могут родить Ира Боярских и Лена Шевченко из Лаврентия, а также двадцатилетняя Инна Петушкова из Нешкана. Но когда они разродятся — неизвестно. Десять дней назад привезли Эльвиру из Энурмино. Но она должна родить только в первой декаде января.

Чукотский район — самый «плодовитый» на Чукотке. В 1998 году здесь приняли сто десять родов. (У окружного акушера почему-то отмечены девянью восемь.) Последний ребенок 1998 года родился 14 декабря, а первый 1999-го — 4 января. В ночь на Новый год еще никто не рождался, а самые предновогодние роды были 31 декабря 1996 года в семь часов вечера.

Приезжее население в этом году рождает больше: тринадцать детей. В прошлом родили лишь пятерых. Почти все роженицы — первородки. А вот в тундре сейчас не рожают. Маргарита Родионова обзванивает акушеров, работающих в поселках, чтобы те следили за оленеводческими бригадами и точно знали о всех беременных. В 1996 году было много родов в участковых больницах. Там оборудованы родильные залы на всякий пожарный случай: если роды начнутся раньше времени или если за роженицей не сможет вылететь вертолет. Но вообще рожать должны в районной больнице. В 1998 году в поселках были приняты двенадцать родов, а в текущем году — всего у троих. Остальных рожениц удавалось своевременно вывезти в Лаврентия. Вот и сейчас вывезли почти всех. Только в Лорине (сорок километров от Лаврентия) остается беременная, которая должна родить в первых числах января. Она наотрез отказалась ехать в роддом: у нее шестеро детей, и она хочет встречать Новый год с ними. Акушеры боятся, что у нее роды могут начаться внезапно, так как каждого последующего ребенка рожают чуть раньше намеченного срока.

Итак, помимо принятия родов, главное для акушеров — выявлять рожениц и вывезать их в Лаврентия. Последнее осуществить непросто. Еще из Лорина это можно сделать наземным транспортом. Из остальных поселков — только вертолетом. Расстояния здесь такие... До Энурмино полтора часа лета, до Нешкана и того больше. В Лаврентия стационарного вертолета нет. Приходится его заказывать из соседнего района. Это лучше, чем ничего, но пока вертолет прилетит в далекий поселок, пока заберет роженицу и долетит до Лаврентия... А счет иной раз идет на минуты. Поэтому особые надежды здесь связывают с новой начальницей района, которая, помимо прочего, обещает раздобыть для Лаврентия собственный вертолет.

Вывозить рожениц стараются по прошествии 36 недель беременности. К сожалению, все они изможденные и истощенные. В Инчоуне, Энурмине, Нешкане ситуация — хуже некуда. Люди недоедают. У всех авитаминоз. Беременность требует большого количества витаминов, нужны овощи, фрукты, соки, но какие здесь соки? какие фрукты? Люди хлеба досыта не едят, а масла сливочного не видят вовсе. Конечно же, это сказывается на детях, которые рождаются с дефицитом веса и гипотрофичные. Много родов с патологией, с врожденными уродствами — что у нас называют «заячьей губой», или «волчьей пастью». Когда дети подрастают, им вынуждены делать операции.

Чукчанки и эскимоски резко отличаются от всех рожениц, которых повидала Маргарита Родионова. Она, как и все акушерки, с которыми я встречался, отмечает их поразительное терпение. При родах они как будто не испытывают боли. Особенно если роды не первые. И рожают быстро.

По обычаям этих народов, роженицы при родах не должны даже стонать, не то что кричать. Считается, что этим они могут вызвать злых духов (kelet) и тогда ребенок окажется больным, а то и погибнет.

Ну а как ведут себя чукотские мужчины?

Маргарита Родионова говорит, что звонят и приходят только лаврентьевские и лоринские. Из других поселков сюда добраться непросто, а на вертолете доставляют лишь роженицу. Тут не до сантиментов. Муж подождет в поселке. К тому же покидать надолго дом и работу он не может. Конечно, мужчины больше радуются сыновьям. Женщина из Лорина, которая уже родила шестерых, тоже надеется родить мальчика. Все шестеро у нее — девочки!

В тундре рожают много, потому что от этого зависит будущее семьи. Нужны мужчины — завтрашние охотники и оленеводы, без которых семья не выживет. Один сын — уже надежда. Двое — надежда плюс уверенность. Трое сыновей — счастье для чукотской семьи. Это гарантия будущего. Вот почему от женщины ждут сыновей, и они рожают до тех пор, пока не появится на свет долгожданный наследник.

Женщина — хозяйка яранги. Она ставит полог — святая святых семейного очага, шьет ярангу, зажигает жирник, дающий тепло и свет, поддерживает огонь. Если пурга, она укладывает детей раньше обычного: ничего нельзя делать, только лежать, чтобы не злить духов. Женщина тушит жирник и засыпает последней. Но мужчина уходит на охоту в четыре или даже в три утра. Значит, хозяйка встает еще раньше. Она должна накормить, напоить мужа чаем, проследить за одеждой и проводить в дорогу. Потом она готовит для детей, будит их, кормит, после чего

наводит порядок и занимается хозяйством. Женщина кормит щенков, воспитывает в них будущих верных помощников. Кроме этого, много дел накапливается... Быстро течет время, и вот уже охотник возвращается. Хорошо если с добычей. Женщина встречает его, кормит. Потом уставший после трудной и опасной охоты мужчина ложится отдохнуть, а женщина приступает к разделке добычи: нерпы, птицы или рыбы. Ее надо расфасовать, подготовить к сохранности, затем предстоит выделывать шкуру, топить жир; летом нужно заготовить съедобные травы и растения, сушить мясо на вешалах, вялить рыбу; к зиме надо шить торбаса, шапки, водонепроницаемые нерпичьи штаны, куртки из моржовых кишок; надо чинить байдары, ремонтировать полог, и еще столько должна успеть сделать женщина, что времени не хватит, чтобы только описать ее каторжный труд. Добавим, что именно женщина наиболее искусна в косторезном ремесле, несравненная мастерица вышивки бисером, хранительница преданий и сказок, традиций и обычаев, но сверх того, сверх всего она должна приносить потомство...

Можно ли при такой жизни рожать медленно и болезненно, позволять себе слабости и нежности?

Поэтому женщины тундры рожают тихо. Они кажутся безропотными перед своей участью. Безропотными, но небезучастными. Как могут, они помогают акушерам, строго выполняя их указания, и во многом благодаря этому рожают быстро и безболезненно. Природа наградила их способностью быстро рожать за то, что они пребывают в постоянном холоде и ежечасной борьбе за жизнь. В их организме, кажется, все подчинено ускоренному деторождению. Спустя два-три дня после родов чукчанка или эскимоска выполняют работу в полном объеме. Но если жена не принесит сыновей, муж уйдет к другой, и уже та рождает ему наследника. А оставленная не ропщет, не возмущается. Она понимает, что не исполнила для мужа главного. Однако если мужчина способен прокормить двух жен, он их кормит, и они рожают ему детей без претензий к сопернице.

Что еще можно добавить?

Только то, что не мужчина, а женщина действительно глава семьи и очага. Парадоксально, но, смирясь с главенством мужчины, безоговорочно признав его властителем и господином, женщина не задумывается о своей роли. Молчаливо рожая одну за другой дочерей и мечтая обрадовать мужчину сыном, она именно девочками — будущими хозяйками яранги — продлевает жизнь не только отдельной семьи, но и всего северного народа. Где еще женщина играет такую всеохватывающую, всеобъемлющую роль, да еще столь смиренно и горделиво-послушно? И уж точно, если эти маленькие и тщедушные народы еще не исчезли, то лишь благодаря своим женщинам...

И в России все держится на них. И мы тем, что еще не исчезли, обязаны своим женщинам, которые тащат на себе наш захудалый быт. Но у нас это происходит вынужденно, от того, что неустроенность и безысходность подавили мужчину, который сник, спился и пропал. Женщина потому не может позволить себе пропасть, что на ней дети. Хочешь не хочешь, приходится тащить. А в тундре роль женщины такова изначально. Там по-другому быть не может.

Вернусь к разговору с Маргаритой Родионовной, которая свою жизнь посвятила чукотским женщинам.

Она приехала на Север из Новосибирска, где закончила медицинский институт. О Чукотке была наслышана от родственников: тетя жила в Магадане, а дядя — в Анадыре. Приезжая в отпуск, они рассказывали о насыщенной событиями жизни, воспевали северные красоты, сами отличались необычностью и, кроме того, были обеспечены. Они-то и заманили племянницу. Маргарита попала сначала в Магадан, а затем в Анадырь, в распоряжение окружного акушера. Там спросили: «В Чукотский район поедешь?» А какая разница, где работать, если все одинаково неизвестно. Тем более что Анадырь начала семидесятых энтузиазма у молодого врача не вызывал. Больница располагалась в старом здании барачного типа. В одном помещении хирургия, родильное отделение, терапевты. К тому же погода в те дни стояла прескверная — дождь, ветер, слякоть, холод. Еда была: сухое молоко, сухая картошка и рыба, рыба, рыба... Словом, Маргарита предпочла Лаврентия. В октябре 1970 года она прибыла в «чистенький, тихий, теплый и уютный поселок», в который сразу влюбилась.

Потом она влюбилась в мужчину, вышла замуж и в 1972 году уехала в Провидения, куда перевели мужа. Провидения, по словам Маргариты Родионовны,

в сравнении с Лаврентия проигрывает. Здесь тундра красивее, залив чудесный, море рядом, а в Провидения сплошные черные сопки да холодное море. Зимой поселок в дыму и саже. Наверное, были и какие-то личные мотивы, от которых даже самые прекрасные пейзажи тускнеют. Я не спрашивал. Прожив в Провидения два года, Маргарита Родионова вернулась в Лаврентия.

Серым и неприветливым поселок был не всегда. Главная акушерка с болью говорит о сегодняшнем Лаврентия. Старые, барачного типа дома рушатся. Их бы снести, а людей переселить, но новые дома не строят. Жители уезжают при первой возможности. Русских осталось мало. В Нешкане — две или три семьи; в Энурминне — одна; в Инчоуне, кажется, никого; в Уэлене — две или три; в Лорине — чуть больше. Местное население старается переехать в Лорино или в Лаврентия. Здесь и снабжение получше, и работу можно найти. В поселках работы нет. Даже санитаркой не устроиться. В Лаврентия хоть летают самолеты, привозят кое-какие продукты, лекарства, а в отдаленные поселки ничего не доходит. Сейчас Уэлен остался без продуктов. Туда на вездеходах, на собачьих упряжках, как угодно доставляют продукты из Инчоуна. А некоторые из уэленцев приезжают даже в Лаврентия, за сто сорок километров! С лекарствами проблема. Из районной больницы их стараются отправлять спецрейсами, но полеты здесь могут не выполняться по месяцу, а то и по два. Погода не позволяет.

Не только Маргарита Родионова, в Лаврентия все знают, как обстоят дела в поселке, в районе, вообще на Чукотке. Здесь нет того отчуждения, которое царит на материке. Так ли уж беспокоит жителя Костромы то, что творится в Вологде? А челябинца сильно ли волнуют заботы соседнего Екатеринбурга? Постольку-поскольку. Здесь же — волнуют. Жители Крайнего Севера ощущают себя единой, отличной от остальных кастой. Не лучшей и не худшей, а другой, особенной. Такое же единение чувствует команда боевого корабля, где морякам разных должностей и званий небезразлично самочувствие каждого члена команды, состояние всякой, даже незначительной, детали.

Каким видит Маргарита Родионова будущее Лаврентия?

Самый бедный и запущенный район обещают возродить, и все надежды связывают с Валентиной Васильевной — новой главой района. Она из Лаврентия и знает о здешних бедах не понаслышке. В 1998 году персонал больницы сократили вдвое. Терапевтическое отделение перевели в хирургическое. В результате рядом с прооперированными находятся инфекционные, бронхиальные больные и там же — беременные. Сейчас собираются все восстанавливать. Нужен также свой вертолет.

Маргарита Родионова работает в Лаврентия три десятилетия. Случается, она принимает роды у тех, кто сам появился на свет благодаря ей. Бывает, роженица говорит: «А моя мама у вас рожала!»

Привет Парижу!

Защитительные заклинания

(Из книги В. Г. Тана-Богораза «Чукчи»)

Если первый ребенок умирает вскоре после рождения, то считается, что и второй последует за ним. Чтобы предотвратить это, нужно как можно скорее совершить заклинание охраны. Это лежит на обязанности отца ребенка. Считают, что заклинание будет иметь гораздо большую силу, если отец ребенка сам произнесет его...

...Самым лучшим временем для «заклинания защиты ребенка» считаются первые три дня после новолуния. Заклинание совершают днем. Перед входом в шатер зажигают небольшой огонь, и с обеих сторон его ставят много блюд с вареным или сушеным мясом. Исполнитель дает каждому из присутствующих по маленькому красному камню, вокруг которого, как ожерелье, обвязана полоска кожи. Затем он произносит заклинание:

«Ты не на этой Земле! Ты находишься внутри этого камня! Ветер не коснется тебя, и ледяная гора не раздавит тебя, так как разобьется о края камня. Ты находишься не на берегу. В открытом океане живет большой морской зверь. Он был рожден вместе с Землей и Вселенной. Это — морской лев. Его спина словно остров, она покрыта землей и камнями, и ты находишься на его спине!»

Во время произнесения заклинания на шею ребенку надевают кожаное ожерелье. Исполнитель берет ребенка на руки и три раза обходит вокруг блюд с мясом, переступая через них взад и вперед, стараясь наступить на свои же следы, чтобы сделать их более отчетливыми и глубокими. Затем мясом, взятым из блюд, кормят огонь и главные «направления». Оставшееся мясо съедают присутствующие. Потом протыкают мочки в ушах ребенка и вставляют серьги. Каждая серьга сделана из трех маленьких цветных бусин. К одежде ребенка пришивают несколько дополнительных фигурок, сделанных из кожи. Затем меняют имя ребенку».

24 декабря. Лаврентия

Дорогой Б. З.!

Я нахожусь в Лаврентия и, по-видимому, уже никуда отсюда не двинусь. Условия жизни — почти европейские. Если бы еще грели батареи...

Внутриквартирный холод загнал меня в одну из комнат, где я обитаю в обнимку с обогревателем. Есть теплая вода, но иногда что-то случается, и она становится горячей. То ли кочегары просыпаются и подбрасывают угля, то ли они, напротив, засыпают и не следят за приборами, которые зашкаливают. Объяснить трудно, потому что циклы погорячения происходят спонтанно, или, как сейчас принято говорить, непредсказуемо. Еще одна особенность лаврентьевской воды в том, что холодная и горячая — совершенно одинаковая по химическому составу, цвету, запаху и вкусу. То ли горячая доведена до качества холодной, считающейся питьевой, то ли, наоборот, качество холодной понижено до уровня горячей. Во всяком случае, в чайник я набираю горячую воду, чтобы она скорее закипала.

Есть у меня и телевизор, но в Лаврентия показывает только один канал. Иногда смотрю новости. Вовсю идет война в Чечне. Здесь на эту тему не говорят. Кавказ настолько далек, что кажется, будто эта беда происходит не с нами и не у нас. Вот сообщили об очередных боевых вылетах... Сто самолетов ракетами и бомбами утюжат землю, а здесь глава района (бывшая учительница!), стоя на коленях, выпрашивает один борт, чтобы завезти в голодающие поселки муку, крупу и картошку, а оттуда вывезти больного. И не видно конца этой войне. Гибнут наши, гибнут чеченцы, которых мы тоже считаем «нашими». Те и другие воюют за родину. Мы — за сохранение «целостности», чеченцы — за «свободу и независимость».

Четыреста лет Россия ведет войну с чеченцами. Что нам от них нужно? Территорию, которую мы считаем своей и так любим, что жить без нее не можем? Но здесь, на Чукотке, столько этих территорий — брошенных, оставленных, списанных со счетов! Да если бы вложить в освоение этих безжизненных пространств те деньги, которые мы тратим, чтобы обезжизнить крохотную Чечню, тут был бы рай. Порядок наш хотим на Кавказе установить? Но мы у себя навести порядок не можем, а если наведем, то такой, что сами потом стонем. Действительно, остается воевать с нами или не обращать на нас внимания. Только как же не обращать внимания на то, что «растянулось от Берингова пролива до Одера», и уж тем более как с этим воевать?

Сегодня открыл для себя еще одну неведомую и печальную страницу, перекликающуюся с тем, что происходит сейчас на Северном Кавказе...

Пересылаю Вам очерк об исчезнувшем эскимосском городе.

Открытая книга о закрытом городе

Считается, что самый крайний населенный пункт Евразии — знаменитый Уэлен. Но мало кто знает, что еще недавно честь называться самым восточным поселком континента принадлежала эскимосскому Наукану. Это поселение издревна располагалось на мысе Семена Дежнёва. В топонимическом словаре В. В. Леонтьева и К. А. Новиковой сообщается, что Наукан «был одним из самых древних и многолюдных на побережье». Еще сказано, что «в 1958 году науканцы переселились в чукотский поселок Нунямо».

В действительности науканцы не «переселились». Их выселили. Насильно. Бесцеремонно. В приказном порядке. А на месте тысячелетнего поселка оста-

лось лишь пепелище, на которое изредка, преодолевая мыслимые и немыслимые преграды, приезжают рассеянные по Чукотке науканские эскимосы. И подобно иудеям, оплакивающим свой Храм, смотрят они с отвесной скалы вниз, с печалью и тоской оглядывают побережье, на котором еще недавно находилась их родина. Смотрят, вспоминают и плачут. Все меньше науканцев остается, и надежды на возвращение, кажется, уже растаяли...

На Чукотке больше ждешь чуда от природы, но здесь чудо творят и люди. И среди таковых — книга «Память о Наукане». Ее написала учительница русского языка и литературы Валентина Григорьевна Леонова. Книгу издали в отделе образования, размножив листы, а затем аккуратно их сшив. Тираж — полсотни, и едва ли эту книгу увидят вне Чукотки. К тому же самиздат не имеет регистрационного номера. С формальной стороны — этой книги нет вовсе.

Валентина Леонова родилась в 1961 году в поселке Нунямо. Туда переселили часть науканских эскимосов и среди них ее маму, бабушку, дедушку и многих из ее рода. Наукан отзывался в ней еще в материнском чреве, потому что боль и горечь не покидали переселенцев с тех пор, как они вынужденно оставили свой поселок. Эскимосская девочка росла в среде, которая с каждым годом таяла: одни покидали этот мир навсегда, другие растворялись в нем. Единственной возможностью сохранить память о Наукане оставалось, пока не поздно, распросить родных, близких, знакомых, записать с их слов предания и легенды, песни и танцы, обычаи и нравы. Валентина решила собрать по крохам историю своего рода и через него — воссоздать историю Наукана. Родные, друзья и знакомые стали ей помогать. Не только науканцы. И, знакомясь с этой книгой, понимаешь: не «населенный пункт» исчез с политической карты. Уничтожена и стерта с лица Земли древняя цивилизация, растоптана самобытная культура, унижена душа мужественного и трудолюбивого народа.

«Наукан — древнейшее поселение эскимосов. Возраст его — несколько тысяч лет. Здесь переплелись древнеберингоморская, оквинская и пунукская культуры. Поселение удачно располагалось на трех возвышенностях, разделенных оврагами и горными речками. Здесь более трехсот лет назад, потерпев крушение, высадились Семен Дежнёв, которму на солке, рядом с Науканом, сооружен памятник.

С Наукана виден берег Аляски (чуть больше восьмидесяти километров) и мыс Принца Уэльского.

С конца XIX века здесь существовало 62 яранги, 21 деревянный дом и 14 землянок. До переселения в Нунямо в Наукане проживали около четырехсот человек. В селении насчитывалось тринадцать родов...»

Впечатление, будто писали книгу все науканцы — живые и ушедшие. Валентине надо было лишь собрать их мысли, воспоминания, запечатлеть уходящие образы. Но это самое «лишь» часто оказывается главным. Именно его-то и не хватает. Ведь на то, что кажется незначительным, не находится ни времени, ни сил. Если же найдется среди нас тот, кто отнесется к этому «лишь» как к чему-то важному, вложит в него душу — получится такое, что не даст исчезнуть нам всем.

Вот воспоминания старшей из ныне живущих науканских эскимосов — бабушки Етн'эун из рода Ситкунагмит («Что танцевали, сидя с перьями на голове»). Она не помнит дату своего рождения, знает только, что ей восемьдесят пять.

«...мы всегда много работали. Весной начиналась самая настоящая охотничья страда. Несколько вельботов и байдар выходили в море на охоту. Нас — молодежь и подростков — поднимали спозаранку. Попив чай, мы спускались к кромке. Оттуда волоком перетаскивали добытое мясо на берег, взвешивали его... В Наукане, на склоне горы, есть место с глубоким снегом. Там старики выкапывали ямы, примерно три метра глубиной. Мы складывали в эти ямы моржовую кожу с жиром и возвращались к кромке за мясом. Эту работу мы выполняли по несколько суток подряд, так как охотники беспрестанно выгружали все новые и новые туши морзверя. Сами охотники мало ели и почти не спали, отчего у них слезились глаза. Но нельзя было упустить благоприятную для охоты погоду и сезонное прохождение моржей с юга на север...»

Наукан находился в живописном месте, у самой горловины Берингова пролива. В книге Валентины Леоновой приводится подробный план селения. Отмечены каждая яранга, каждый дом, расписано, какому роду они принадлежали,

указаны даже места стоянки вельботов и имена владельцев. Помечено, где находились спортивные сооружения. На западном возвышении под номером «один» отмечена школа.

У эскимосов есть любопытный обычай: если долго не был на родине, то, вернувшись, надо обязательно лечь на землю и совершить три кувырка. Иначе родина не примет. Поэтому даже старики первым делом совершают кувырки. Теперь на месте Наукана остались лишь следы от каменных кладок да ребра гренландского кита, на которые зимой вешали вельботы...

Елизавета Алихановна Добриева, родившаяся в Наукане в 1942 году, вспоминает, что покидавшие Наукан еще долго кружили у берега, не решаясь отплыть, и даже старики плакали. Она говорит: «Как хорошо, что мой дед и брат умерли к этому времени». А в газетах тогда писали, что науканцы высокомерны, ставят себя выше других, не хотят охотиться, в колхозе работать не могут и вообще отказываются жить в Нуныамо вместе с чукчами.

Особенность небольшого оседлого народа состоит в том, что он неотделим от местности, на которой испокон веку живет, к которой приспособился и за которую держится всем существом. Оторвать науканцев от своего берега и переселить в другое место, пусть в соседнее, — значит разорвать их связь с природой, а по сути — уничтожить. Если с молоком матери эскимос впитал образ жизни охотника, причем именно там, где он родился и где жили его предки, то приспособиться к иной жизни, к другой местности он не сможет. Несмотря на внешнюю схожесть, на кажущееся однообразие уклада, северные народы очень разные. Конечно, тундра соединяет и выравнивает многое в их жизни, роднит быт. Но она же и разделяет, делает народы непохожими, отличными друг от друга. Функции каждого рода, семьи и даже отдельного жителя северного поселка — уникальны и незаменимы. Каждый — носитель особых традиций, родовых тайн и присущих только ему навыков, будь то охота, рыболовство, окарауливание оленей или ведение домашнего хозяйства. Так, все наши хозяйки варят борщ, рассольник, гороховый суп, жарят котлеты и пекут пирожки. Но у каждой эти блюда неповторимы и непохожи. Да что там! Даже жареная картошка получается у всех разная. Только полуфабрикат, купленный в универсаме и приготовленный в микроволновой печи, дает одинаковый вкус и потому не почитаем гурманами. Что же говорить о жизни на Севере, где всякий труд — ручной?

В каждом деле, охота ли это на морского зверя или приготовление пищи, пошив одежды или разделка туши, присутствует нечто исконно свое. Так же отличны и селения одно от другого и тем более народы, живущие, кажется, рядом. Даже если язык один, могут быть разные понятия об одном и том же слове, разные представления о поступках, о событиях, и в том, в чем одни признают норму, другие увидят нечто из ряда вон выходящее. И упаси Господь навязывать свое, вмешиваться, осуждать и учить.

Взять хотя бы воспоминания Анкауна, охотника, родившегося в Наукане в 1937 году.

«Нам запрещали спать с вытянутыми ногами. Мама или бабушка ударяли по ногам, чтобы я их согнул. Говорили: «Так надо, чтобы не растянуть сухожилия».

В Наукане добывали крабов. Для этого изготовляли специальное аг'нелгыт (удилище), которое представляло собой камень, обвязанный веревками, с наживкой из хвостиков сайки и кусочков рыбы. Делали по 10—15 лунок, в них опускали аг'нелгыт, потихоньку дергали и осторожно вытаскивали. Краб обхватывал камень клешнями, иногда срывался. Тогда рыбак руками подхватывал добычу...

Многие охотники сдавали нерпичий жир в магазин, взамен получали деньги или продукты. Чтобы получить жир, нерпу не обязательно разделявать. Существует и такой способ: нерпу обезглавливали, подвешивали за лапы, затем отбивали ее, не снимая шкуру, до тех пор, пока весь жир не стечет в подставленный сосуд...»

Страшно и жестоко обходились с нерпой. Было бы гораздо гуманнее поразить ее сначала током, а затем чтобы интеллигентный работник в белоснежном фартуке эту нерпу аккуратно разделал. Только не у нас на глазах и не при нашем участии. (Кстати, не подобным ли образом обращался с лисицей один просвещенный и смешной барон? Только ему нужна была шкура, а не жир.)

А ноги? Как не вытянуть их? Но так учили науканских мальчиков, потому что ноги их — вовсе не те розовенькие и пухленькие ножки, которыми детки ступают по травке. Ноги — главное в жизни охотника. Это достояние семьи, рода, всего племени. Но могу ли я представить, чтобы моя бабушка ударила по ножкам, которые вытягивал, растворившись в пуховой перине, ее обожаемый внук? Поверьте, для бабушки не было большего наказания, чем потревоженный сон ее внука. Не говоря о том, чтобы меня ударили... Да у бабушки сердце разорвалось бы на части!

Дед Елизаветы Алихановны родился еще в прошлом веке. Он оказался третьим мальчиком в семье. Иметь даже двух сыновей было великим счастьем. Из них вырастут охотники, а значит, будут мясо и жир, а это тепло, свет, еда. Но рождение третьего сына было событием, влияющим на расстановку сил в поселке... Отец радовался недолго. Он надел новые нерпичьи штаны, кухлянку и пошел к друзьям отмечать рождение мальчика. По дороге в него стреляли. Услыхав крик, жена схватила ружье и поспешила на выручку. Кыльгын (прабабка Елизаветы Алихановны) увидела стрелявшего в ее мужа и пыталась его застрелить, но оружие дало осечку. Вот как! Рождение третьего сына могло стать причиной расправы над главой семейства. Прямо как на Сицилии, а то и суровее. Оставшись одна, Кыльгын воспитывала сыновей. Довольно сурово. Под стать среде, в которой они жили. Посадит их вокруг деревянного блюда (кайук'ак') и каждому даст по куску мерзлого мяса: оленины, китятины или моржатины. Старшему — большой кусище, среднему — поменьше, а младшему — небольшой: «Грызите!» И они грызли.

Если бы эту трапезу увидели наши миссионеры, они бы ужаснулись и, вернувшись в Европу, написали бы нечто ошеломляющее. Это, в свою очередь, сподвигло бы сердобольных граждан отправиться на помощь эскимосским детям, прихватив конфеты.

Науканских детей выселение мало тревожило. Им было даже интересно: куда это взрослые так спешно собираются и к тому же берут их с собой? Они не обращали внимания на слезы стариков, на потухшие глаза родителей. Им виделось лишь новое путешествие, которому дети всегда рады. Много позже они поймут, что лучшее время закончилось, что детство их осталось там, в Наукане. Тогда они начнут восстанавливать память, вести записи, дневники, и каждое упоминание о родном поселке будет греть им душу.

Галина Иргуляновна Иргулян вспоминает о детстве:

«Наша мама, видимо в воспитательных целях, рассказывала, что у человека, страдающего клептоманией, появляется незримый руководитель — Тыгиса. Он управляет человеком, будит его среди ночи: «Просыпайся, вставай, иди воровать!» Даже если человек не хочет, по указанию Тыгисы он встает и идет красть. У него появляется зуд к воровству. Про таких говорят: «тыгисанук».

Чтобы этого не случилось, нас учили: «Не пейте воду тайком: появится тяга к питью. Не ешьте в одиночку: появятся дурные привычки, наклонности. Только вместе можно садиться за еду».

У меня и моих сверстников были мелкие игрушки — юага'ат: камешки, стекляшки, костяные птички, собачки. Во время переезда все это осталось в Наукане...»

В 1994 году умерла Изабелла Васильевна Автонова, учительница по трудовому обучению в лоринской средней школе. Она также вела записи о Наукане.

«Культура науканцев была с особым национальным колоритом. Существовало много праздников, обрядов, игр. Например, праздники кита — «Полъя» или «Первая нерпа мальчика». Часто проводились разнообразные игры и состязания, в том числе с эскимосским мячом. Но праздники и игры имели свое время. Законы жизни строго соблюдались.

Народ был выносливый, мужественный. Работали без отпусков и выходных. Особенно трудились в короткое летнее время. Все, кроме грудных детей. Даже старики не сидели без дела. Они мастерили ремни из лахтачей икуры, наблюдали за погодой на море, натягивали икуры нерп, лахтаков и моржей на специальные деревянные сушилки. Старушки нанчили внуков, заготавливали растения на зиму, изготавливали прочные нити из оленьих жил, шили одежду, выдмывали икуры...»

О том, что швейное мастерство науканцев было на высоте, свидетельствуют работы Маргариты Сергеевны Глухих, знаменитой рукодельницы, чье имя

можно отыскать в энциклопедии, посвященной народам России. Она побывала в Канаде, Дании, Норвегии, Гренландии... Аляска — не в счет. И повсюду ее работы признавались лучшими. Маргарита Сергеевна считает, что жизнь в других странах по сравнению с Чукоткой настоящий рай: у каждого машина, катер, а какие дома! Говорит, нигде так плохо не живут, как на Чукотке. Но с декоративно-прикладным искусством там хуже. Изделия из кости или камня еще куда ни шло, а по выделке меха и шитью им до чукотских мастеров далеко.

Маргарита Сергеевна могла бы стать в Канаде или на той же Аляске миллионершей и жить припеваючи, потому что владеет тайнами мастерства, за которое готовы платить огромные деньги. И ей предлагали остаться. Но Маргарита Сергеевна больше десяти дней в чужих странах не выдерживает. Возвращается из зарубежного рая, как с каторги, и уже дома, рядом с детьми и внуками, чувствует себя как в раю. Почему же, спрашиваю, мы так устроены, что у нас, в России, и плохо, и холодно, и голодно, а за границей — хорошо, сытно, тепло, и мы это признаем, с этим соглашаемся, но жить там не можем? «Не знаю», — отвечает и смеется. И я не знаю.

Так вот, Маргарита Сергеевна считает действия властей, насильно выселивших науканцев, — «самым большим преступлением». А сам Наукан называется не селом, не поселком, а большим и красивым городом. Глаза науканской эскимоски загораются, она улыбается, голос становится нежным, лишь только заходит разговор о Наукане. В Лаврентия осталось не больше пятидесяти науканцев. Они часто собираются в Доме культуры, где уже двадцать пять лет существует клуб «Етти!», с эскимосского — «Здравствуй!».

Как и все эскимоски, Маргарита Сергеевна — невысокая, коренастая, очень приветлива, притягательна и невероятно энергична. Вокруг нее всегда люди, Маргарита Сергеевна проводит какие-то занятия, сборы, репетиции, к ней идут старики, молодежь, дети. Ответы ясные, четкие, русский язык прекрасный. Маргарита Сергеевна вспоминает, что в Наукане двери всегда выходили на восток и дети спрашивали у старших: почему дома поставлены так, что в дверь постоянно дует ветер? И старшие отвечали: «Потому что с этой стороны восходит солнце». По утрам науканские дети поднимались на скалу. Они видели перед собой пролив, остров Ратманова и берег Аляски, но главное — они встречали солнце. Первыми на Земле!

В Наукане были в почете физкультура и спорт. Этого требовали условия. Поселок располагался на берегу самой узкой части Берингова пролива, и, чтобы преодолеть быстрое течение, охотники должны обладать незаурядной физической силой. Не только мужчины, но и женщины, и девочки занимались бегом, прыжками в высоту, борьбой и стрельбой. Это нужно было уметь не хуже, чем шить или готовить. Неподалеку от Наукана, прямо на скале, был приспособлен грот для занятий спортом. Старшие учили молодежь толкать тяжести, метать камни из пращи, стрелять из рогатки, жонглировать. Играли и в эскимосский хоккей. Формировались две команды. У игроков имелись клюшки из оленьих рогов (уфсутаки). Вместо шайбы — костяной шар. Уфсутаком гнали шарик в сторону соперника и забивали его в некое подобие ворот. Были в Наукане и настоящие виртуозы этой игры. Я спрашивал, когда возник такой хоккей, но на этот вопрос никто ответить не мог. Может, пятьсот лет назад, может, тысячу, может, две. Тогда еще и Канады не было... Кроме этого, молодых обучали плавать и ходить в тумане и в темноте, вести календарь, определять местонахождение по солнцу, а если не было солнца, учили ориентироваться без него. Умели науканцы предсказывать погоду. Этому учили особенно, и даже теперь науканская эскимоска может не хуже метеоцентра определять погоду. Впрочем, в Лаврентия — все метеорологи.

Вернусь к книге о Наукане, к этому печальному и доброму повествованию о дорогих, близких людях и прежде всего о матери Валентины Леоновой — Ирине Андреевне (Эн'эрын), учительнице, хранительнице эскимосской культуры. Она умерла в 1988 году, когда дочери было 27 лет.

«Моей маме, наверное, передался оптимизм деда, его вера в людей, в добро. Помню, когда в детстве у меня болела голова, я брала мамину руку и прикладывала ко лбу. Удивительно, но боль проходила! У нее была легкая рука. За что ни возьмется — приготовление различных блюд, выделка и обработка шкур, шитье — все выходило на славу. С малых лет, как и каждого в Наукане, ее приучали к труду. Это воспитание происходило само собой, потому что без помощи детей взрослые не обходились. Подружки становились добытчицами, охотились на мелкую дичь, рыбачили, вместе со старшими выходили в море и обучались искусству охоты.

У девочек были свои обязанности: приготовление пищи, обеспечение водой или льдом, шитье, уход за младшими братьями и сестрами, сборание растений, ягод. Некоторые девочки росли сильными, как моя мама. Эн'эрын таскала тяжелые кожаные мешки с мясом — с берега по крутому склону вверх, в село.

Нет, эта книга даже не о матери. О матери написать невозможно. В этом, мне кажется, и состояла главная дилемма: как написать книгу о любимом и дорогом человеке? Ведь слов не найдешь, а те, что выводишь рукой, — кажутся недостаточными. Валентина — молчаливая, редко вступающая в разговор и оттого кажущаяся замкнутой — сотворила чудо: написала книгу для матери. И это лучшее, что она могла сделать в память об Эн'эрын.

Я спросил: отчего в книге нет гнева, даже упрека тем, кто уничтожил ее родину?

Валентина тихо ответила: «Гнев и упрек предполагают борьбу и противостояние. Но кто с кем будет бороться и кому противостоять?»

А ведь, казалось, спустя сорок лет можно высказаться об этом зле и пусть вдогонку назвать виновных в произволе. Но Валентина отвечает, что этим уже ничего не добьешься, а наука — не вернешь.

И действительно, книга, лишённая гнева, пусть и праведного, только выигрывает. Валентина надеется сохранить и передать потомкам не гнев и ненависть, а любовь и память. Они будут понятны и близки. К тому же восстанавливать справедливость, если уж об этом речь, необходимо нам, русским, народу, который должен нести ответственность за все, что сотворено нами (или от нашего имени) на огромном пространстве, именуемом Россией.

О том, сколь далеки мы от этого, сколь неподъемен для нас груз покаяния, можно судить, просмотрев очередной выпуск теленовостей...

Итак, жили люди. Трудились, отмечали праздники, влюблялись, женились, рожали детей, растили их... Все это происходило в продолжение тысячелетий, на исконно своей земле, без посягательств на земли чужие, без угрозы нарушить миропорядок, находясь к тому же в стороне от этого самого мира.

Затем к ним пришла цивилизация. Сначала американская, потом российская, которую вскоре сменила советская. Прибывшие были немало шокированы увиденным. Началась работа по «улучшению жизни» и прежде всего борьба с шаманами. Ритуальные принадлежности и реликвии, передаваемые из поколения в поколение, были сожжены, а сами шаманы уничтожены. Вместо них заботу о духовном воспитании эскимосов взяла на себя наша интеллигенция, которая день и ночь внедряла свой образ жизни и свои представления о мироздании. Прodelьвали это с тем неистовством, старанием и энтузиазмом, который был свойственен поколению идеалистов и мечтателей и о котором была сложена не одна песня. В эскимосах, как, впрочем, и в чукчах, видели не равных себе людей, а некую биосистему, не самостоятельный народ, проживший в прибрежной тундре несколько тысячелетий, а необразованный, грязный и некультурный сброд, живущий не так, как надо жить при социализме.

Новая власть, преследуя шаманов, представляла их ворами и жуликами. Но шаманы были самыми почитаемыми, уважаемыми и мудрыми в тундре. Они предсказывали погоду, знали, каким будет море завтра и послезавтра, предупреждали о приближении пурги, сообщали, с какой стороны ждать ветра. Они лечили, и зачастую только их вмешательство спасало жизнь. Шаманство было важнейшей составной частью образа жизни и быта северных народов. Именно поэтому шаманов вылавливали, заключали в тюрьмы, топили. На мысе Верховского, на пограничной заставе, их расстреливали, а трупы даже не подбирали, и их смывало в море...

Быть может, не такая уж большая разница между тем, что происходило в далеком Наукане, и тем, что творилось в тверских, пензенских и нижегородских селах. И там старожилы могут рассказать такое, что волосы встанут дыбом. Различие в том, что в тундре жизненный уклад не менялся. Он оставался первобытным. Этот быт можно с легкостью разложить и уничтожить, но изменить, приспособить под себя, подчинить своим представлениям — нельзя. Уклад народов Севера — неменяем, и понимание этой истины было бы величайшим актом гуманизма по отношению к маленьким и мужественным народам, населяющим тундру.

Вот документ, который не представлен в книге о Наукане. Среди множества оттенков на лукавом лице совдепии — есть и такой.

СЛУШАЛИ ВОПРОС: О ликвидации Науканского сельского Совета депутатов трудящихся Чукотского района.

РЕШЕНИЕ № 165

Принято 20 ноября 1958 г.

В связи с объединением колхозов «Ленинский путь» и «Красная Заря» в один укрупненный колхоз «Ленинский путь» с центральной усадьбой в с. Нунямо произошло переселение жителей из с. Наукан в с. Нунямо, в результате чего в Науканском сельсовете в настоящее время осталось лишь 5 человек жителей.

Исполнительный комитет Чукотского районного Совета депутатов трудящихся

РЕШИЛ:

- 1. Упразднить Науканский сельский Совет в связи с выездом населения из с. Наукан в с. Нунямо.*
- 2. Территорию Науканского сельского Совета присоединить к административной территории Уэленского сельского Совета.*
- 3. Просить Чукотский окрисполком утвердить настоящее решение.*

Прочтите внимательно. Что ни слово — подлый и циничный обман. Что ни фраза — наш российский позор и наша вина. Сначала (еще в 1954 году) было распоряжение, скорее всего секретное, о том, что надо людей отсюда убирать, что нехорошо им здесь, в стратегически важном месте, на виду у американцев, в то время как усиливается противостояние двух сверхдержав. Необходимо устранить опасные связи с Аляской. Не эскимосы, а ракеты должны находиться здесь и целиться на проклятый Запад. Вот в чем дело! А жителям, этим необразованным и некультурным существам, надо объяснить, что поселок их расположен в сейсмически опасном месте, что скалы, у подножия которых находится Наукан, вот-вот упадут; что сопки, которые высятся над поселком, вскоре начнут извергаться, и тогда произойдет то же, что и с Помпеями... Приезжали ученые-агитаторы и с пеной у рта доказывали науканцам, что жить здесь больше нельзя. Указывая на гору Ингэгрук, на которой установлен бюст Семену Дежнёву, искали трещины и разломы, из-за которых поселок не сегодня-завтра смоем. И люди, тщедушные, наивные, но далеко не глупые, слушали этот вздор, прекрасно понимая, в чем дело. Затем им долго и нудно растолковывали про «укрупнение», про реформирование и неперемное улучшение — словом, несли бред, в который и сами не верили. Наконец, была дана команда срочно покинуть поселок.

Уезжали семьями, но не все сразу. Вельботов не хватало. Каждый род мог выбирать, куда ехать: в Уэлен, в Лаврентия или в Инчоун. Начальство стремилось всех переселить в Нунямо. Но в этом поселке испокон веков жили чукчи, и там переселенцам предоставлялась лишь вспомогательная работа, к их прежней жизни отношения не имеющая. А что значит для охотника стать кочегаром или мусорщиком? Впрочем, уже и Нунямо давно нет...

Когда всех выселили и по оставленному поселку загулял холодный осенний ветер, загоняя волны на пустой берег, «подоспело» постановление Совета депутатов трудящихся с мертвецки казенным: «СЛУШАЛИ. ПОСТАНОВИЛИ». Мол, что же нам, депутатам, делать, если люди снялись с мест, сели в лодки и отплыли в «Ленинский путь»? Как быть, если в Наукане остались всего «5 человек жителей»? Только и остается его упразднить своим авторитетным решением. Председатель колхоза Е. Ф. Зеленская была награждена орденом Ленина. Как после этого сказать, что ордена давались напрасно?

И я не иронизирую. Что мы знаем о том времени? Ведь не председатель самого крайнего на свете колхоза вершил дела. Быть может, если бы не Зеленская, переселенцы из Наукана и вовсе бы погибли. Кто сейчас разберет?

Елизавета Алихановна Добриева говорит, что у нее тетя была шаманкой и повитухой, и она помнит тетин голос буквально с рождения: приняв роды, та по-

ложила только что родившуюся девочку в мешок из шкур, стала ее качать и при этом напевала очень нежную и грустную песню.

Когда Елизавета подросла, она услышала эту песню и тотчас узнала голос тети. Это была старинная песня, слова и мелодию которой передают из поколения в поколение. Песню эту знают все науканские эскимосы. Это гимн Наукана — неумирающая гармония, соединяющая людей, по злой воле лишившихся родины. Вот парадокс: крохотного селения давно нет, а гимн его живет, и есть огромная, на полмира растянувшаяся держава, но имеет ли она свой гимн?

Мне так захотелось услышать эту песню, что я попросил Елизавету Алихановну и Валентину спеть. Они недолго готовились, посмотрели друг на друга, как бы договариваясь, а затем тихо на два голоса запели.

Нани тук атуг'лаку?
Мани ка Нувуками!
Аия-йя-аа-на,
Аия-йя-аа-на-ия...

Где же мне петь эту песню?
Здесь, в Наукане!
Аия-йя-аа-на,
Аия-йя-аа-на-ия.

На вершине горы Ингэргрук,
Там, где начинается Земля,
Там, где люди встречают Солнце!
Аия-йя-аа-на,
Аия-йя-аа-на-ия.

В 1996 году учащиеся лаврентьевской средней школы — Ю. Платов, В. Григоренко и Д. Малевский — составили проект возрождения Наукана. Проект предлагает строительство нового города с жилыми домами, детским садом, школой, больницей. В Новом Наукане предполагается открыть производство по переработке морского зверя, фабрику по пошиву меховой одежды, жиротопный цех и косторезную мастерскую. В Наукане должны быть открыты магазины, почта, радио и телеузел — словом, все необходимое для полноценной жизни. Авторы разработали детальный проект, просчитали количество средств, подробно изложили идею коммунального обеспечения, спроектировали дорогу до Уэлена и рассчитали затраты на ее строительство. Они предлагают планы и расчеты по использованию дежневских горячих источников. В проекте утверждается: «При наличии дороги в Уэлен источники могут служить оздоровлению населения. Впоследствии источники станут туристической базой, где будут принимать отечественных и зарубежных туристов. Там же можно создать теплицы для выращивания овощей». И еще много в проекте написано такого, при чтении чего вспоминается лозунг студентов Сорбонны бурных шестидесятых: «Будьте реалистами, требуйте невозможного!»

С того времени, как ученики написали проект, прошло четыре года. Увы, документ находится не в институте развития Чукотки, не в плановом отделе окружной администрации, а в методическом кабинете отдела образования, рядом со школой, из стен которой вышел. Дай Бог этому проекту оказаться хотя бы в местном краеведческом музее.

25 декабря. Лаврентия

Дорогая Валентина Федоровна!

В предыдущем письме я упоминал об учительнице из лаврентьевской школы, которая несколько лет назад, еще будучи школьницей, едва не погибла. Так вот, мы с ней сегодня встречались. Ее зовут Светлана Михайловна. Она чукчанка, невысокая, коротко пострижена и, мне показалось, немного кудрявая. Она удивилась моему вниманию. Стоило заикнуться о той давней истории, как она заволновалась, хриплый голос стал тихим, и мне приходилось постоянно переспрашивать. Ее смутила моя осведомленность. По всему видно, что происшествие обошлось ей дорого и возвращаться к нему Светлане Михайловне не хотелось. Какое-то время она молчала, решая, продолжать ли разговор. Потом все же решилась.

Если помните, в Инчоуне есть начальная школа. Прочувшись четыре года, ученики затем переводятся в Уэлен, где и доучиваются. Живут они в пришкольном интернате, а на каникулы родители стараются забрать их домой. Но дети здесь отважные, мороза не боятся и иногда решаются на самостоятельные «путешествия» к своему дому.

В самом конце 1990 года Светлана, ее одноклассники Андрей и Надя, младший брат Нади Славик, а также старшекласники Олег и Иван отправились в Инчоун. Это в тридцати пяти километрах от Уэлена, на побережье Чукотского моря. Там живут в основном охотники на морского зверя, а это значит, что инчоунские дети — закаленные и выносливые. Они сызмальства помогают старшим, учатся опасному охотничьему промыслу, и то, что шестеро учеников пошли домой пешком, не так уж необычно. Тем более, по словам Светланы, погода была солнечная.

Вышли в обед, но, когда прошли половину пути, погода стала портиться. Замело. Пришлось идти медленнее. Вскоре стемнело, и Олег с Андреем отправились за помощью. Остальные потихоньку пошли следом. Впереди шел Ваня: он был постарше. Возможно, надо было оставаться на месте и, экономя силы, ожидать помощи. Но, опять-таки но... Только в Лаврентия я увидел настоящую тундру. В Билибино — лесотундра. Там есть деревца, кусты, крутые склоны и овражки, где можно если не спрятаться, то укрыться. Здесь же на сотни километров ни деревца, ни даже кустика. Лишь голые заснеженные сопки, по которым беспрепятственно гуляет ветер да голодные волки. Говорят, когда пурга, дальше десяти шагов ничего не видно. Это днем. А ночью и без пурги ни зги не видать. Дети тундры — не мы с вами, но, застигнутые пургой, они растерялись и попросту заблудились. Тогда решили возвратиться к тому месту, где их покинули ребята, ушедшие за помощью. Логично. Вот только вернуться на прежнее место им не удалось. Они едва различали друг друга. Растратив силы и поняв, что окончательно заблудились, дети решили окапываться и ждать помощи...

Светлана говорила все медленнее, ее голос становился все глуше. Глядя на ее напряженное лицо, я чувствовал: она вернулась в тот страшный день. Судя по всему, давно никто не тревожил ее память. Светлана тяжело вздыхает, но продолжает рассказ...

Школьники решили окопаться, что было единственно верным решением. Надо ждать помощи, улучшения погоды, но главное — экономить силы. Меньше движений, суеты и паники — так учили старшие. Дети разгребли в снегу яму. Света, Надя и Славик легли в ряд, а Ваня — поперек, закрывая собой их головы от ветра. Поначалу дремали, но в конце концов заснули...

Когда Светлана открыла глаза, то первое, что увидела, — «свет из-под снега». Она попыталась подняться, но не хватило сил. Тогда она стала звать остальных. Отозвался только Слава. Светлана вновь сделала попытку встать, мешала одежда, которая превратилась в ледяной панцирь. Если бы на детях были кухлянки, им бы холод не грозил, но они были в обыкновенной зимней одежде, от которой в подобных ситуациях толку мало. Все же Светлана нашла силы встать. Она сразу же увидела лежавшую чуть в стороне подругу. Надя не двигалась. Ваня так же неподвижно лежал в стороне. Она машинально потормошила Надю, однако подруга была неподвижна. Светлана попробовала надеть на нее шапку, но шапка слетала с Надиной головы. Тогда она подняла Славу. Вдвоем они решили идти за помощью, чтобы спасти Надю и Ивана. Все их движения были автоматическими, а намерения — результатом отчаяния. Это обрекало на верную гибель. Светлана помнит, как пыталась надеть Славе варежку, но варежка никак не надевалась и соскальзывала с руки, как с Нади шапка. Он сказал: «Не надо, я все равно не чувствую». Только тут Светлана заметила, что его рука превратилась в кусок льда. Но у нее самой руки и ноги почти не двигались. Все же кое-как побрели...

Им повезло необыкновенно: они вышли на участок дороги, который не замело. Но чукотские дороги — совсем не такие, к которым мы привыкли. Здесь если за сутки проедет вездеход — и то хорошо. А так это пустыня, почти условная линия. Между Уэленом и Инчоуном какое может быть движение? Только серьезные обстоятельства заставят выехать из поселка зимой.

Дети были уверены, что их ищут. Несколько раз мерещились вездеходы, огни поселка, доносились какие-то звуки, чудились знакомые голоса. Дети бросались

навстречу, но оказывалось, что это галлюцинации. И когда показался вездеход с учителями и директором школы, дети даже не отреагировали. Слава Богу, это был не мираж. Светлана и Слава, обессиленные, обмороженные, едва живые, просили своих спасателей ехать за Иваном и Надей. Но их повезли в Инчоун, до которого школьники не дошли всего... три километра. Только потом учителя поехали искать оставшихся. Разумеется, без Светланы и Славы, которые нуждались в срочной помощи. Отыскали Ваню и Надю лишь к ночи. Они замерзли...

Подобное в районе случается. С тундрой шутки плохи. Самонадеянность жестоко наказывается. Так тундра учит остальных, и оттого смертельных исходов немного. Среди чукотских учителей и воспитателей тундра не на последнем месте, а для Светланы Михайловны — на первом.

Валентина Федоровна, продолжаю письмо.

У меня сегодня была еще одна встреча...

Стихиям противостоять хоть сложно, но можно, и в этом северные народы — впереди всех. Но как противостоять стихии под названием «человек»? Тут уж все одинаково бессильны.

Я здесь купил гравированный клык моржа. Вы не представляете, какая это красота! Вряд ли в Торжке у кого-нибудь такой имеется. Особенно ценно, что клык — из Уэлена, признанного центра косторезного искусства. Так вот, прежде чем любоваться гравировкой, я решил этот клык помыть: мало ли где он лежал и кто его трогал!.. И что же? Вся краска смылась! Откуда я мог знать, что раскрашивают гравировку обыкновенным карандашом?

Придя в неописуемый транс, я стал искать помощи. Меня успокоили, заверив, что дело небезнадежно, и пообещали найти мастера, который бы вновь раскрасил этот клык. И сегодня ко мне пришла невысокая, слегка прихрамывающая чукчанка, принесла карандаши и специальный инструмент, завернутый в тряпочку, разложила все это и принялась за работу.

Я внимательно за всем наблюдал, тем более что Валентина, раскрашивая клык, рассказывала, как все это делается.

Раскрашивание — последний этап в этом хрупком и нежном искусстве. Перед тем клык тщательно полируют, пока он не станет гладким, как зеркало. Это отдельная работа, которой занимается специальный мастер. Затем за дело берется гравер. Простым карандашом он рисует на клыке придуманный сюжет, после чего специальным резцом («коготком») выполняет гравировку. Это самая главная, самая продолжительная и наиболее сложная работа. И только потом идет раскраска. Сначала в микроскопическое углубление втирается черный карандаш. Им наводят контур. Невидимые до сих пор сопки, кусты, море, фигуры охотников и зверей обретают очертания. Затем обычными цветными карандашами, в соответствии с художественными представлениями и вкусами мастера, раскрашивается весь рисунок. Он даже не раскрашивается, а «затирается». (Чукчанка говорила: «Надо втереть краску».) Сначала раскрашивают (втирают) темные тона — холодное море, темные собаки, коричневые моржи или синий кит. Затем наносят цвета посветлее — яранги, олени, кухлянки, торбаса, камни. В самом конце наносят светлые тона: солнце, его лучи и розовые отблески на вершинах сопки. После «затирки» по клыку несколько раз проводят влажной тряпочкой, смывая лишнюю краску.

Чем филиграннее техника мастера, тем мельче канавки и тоньше контуры. В этом случае гравировка окажется ненавязчивой, неброской, даже немного бледной, в чем особенный изыск. Заимев такой шедевр, уже ни за что с ним не расстанешься. К нему привыкаешь. Нежные тона гравировки успокаивают: начнешь рассматривать простенькие сюжеты, а сам невольно остановишься, затихнешь, забудешь, что куда-то бежал или спешил... И наблюдать за работой мастера — тоже удовольствие.

Вале тридцать лет. Она начала заниматься гравировкой в 1985 году в Уэлене, где проживала с родителями. Там же вышла замуж. Несколько лет назад Вале приехала в Лаврентия, шла с подругой, и на них наехал грузовик. Водитель — пьян. Подруга погибла, а Валу спасли. Она долго лечилась в больнице, но так и осталась хромой.

Узнав, что Вале в больнице, да еще без сознания, ее мама добралась до Лаврентия, пришла в больницу и молча сидела в коридоре, дожидаясь, пока дочь придет в сознание. Через несколько дней врачи пригласили ее в палату убедить-

ся, что Валя поправляется. Мать вошла, обняла дочь, затем вышла, присела на тот же стул и... умерла. Валин отец умер спустя год.

А что муж?

Он находился в Уэлене и к попавшей в беду жене не спешил. Когда Валя вернулась, то сообщила, что уже не сможет иметь детей. Муж тут же предложил развестись. Валя говорила, что ребенка можно усыновить — такие случаи известны. Но муж был непреклонен и ушел к другой.

И что же?

Новая жена его бросила, и он какое-то время мотался по поселку. Пьянствовал, бездельничал, в конце концов залез в магазин, был схвачен, судим и сейчас в тюрьме. А мог спяну забраться в грузовик и на кого-нибудь наехать...

Клык Валя подновила так, что выглядит он теперь лучше, чем прежде. К тому же и меня научила этому приятному занятию. Она даже выгравировала «коготком» небольшой кустик, по ее мнению, недостающий.

Заклинание, приводящее обратно умирающего

(Из книги В. Г. Тана-Богораза «Чукчи»)

«Если я хочу задержать уходящего в страну мертвых, я превращаю свой мизинец в умирающего и крепко держу его. Когда он хочет уйти, я держу его, будто перехватываю на дороге. Я лаю, как собака, и заставляю его вернуться. Я превращаю его душу в плавучее дерево. Я дую изо всех сил, как большой ветер, и подгоняю его к берегу. Я гоню его своим дыханием по направлению к земле: «Qato, qato, qato!» Я схвачу дерево за корни и вытащу на берег!»

*Сообщил Kamenvat, олений чукча
в Колымском округе. 1897 год.*

Заклинание, употребляемое ревнующей женщиной против своей соперницы

(Из книги В. Г. Тана-Богораза «Чукчи»)

«Так ты эта женщина! Мой муж отдает тебе так много любви, что совсем перестает любить меня. Но ты не человек! Я превращаю тебя в падаль, лежащую на каменистом берегу, в старую падаль, распухшую от гниения. Я превращаю моего мужа в большого медведя. Этот медведь приходит из далекой страны. Он очень голоден. Он долго ничего не ел. Увидав падаль, он ест ее. Немного спустя его тошнит и рвет. Я превращаю тебя в массу, извергнутую его желудком. Мой муж видит тебя и говорит: «Я не хочу ее!» Мой муж начинает ненавидеть и презирать тебя.

В то же время я превращаю собственное тело в молодого бобра, который только что сбросил шерсть. Я делаю мягкими и гладкими свои волосы. Мой муж оставит свою прежнюю любовь и снова вернется ко мне, потому что на нее противно смотреть. (Она плюет и слюной обмазывает все свое тело с головы до ног. И действительно, ее муж снова почувствовал любовь к ней.)

Я, которой пренебрегали до этого времени, поворачиваюсь к нему. Я делаюсь мучительной болью для него. Пусть он почувствует запах гнили оттуда, и в нем появится желание ко мне. Если я даже оттолкну его, пусть он будет настойчив». (И действительно, ее муж совершенно бросил свою любовницу.)

*Сообщила женщина
из поселка Сесип. 1900 год.*

26 декабря, Лаврентия

Привет, Иверий!

Я по-прежнему в Лаврентия. Здесь уже не так страшно. То ли потому, что выпал снег, то ли привык и смирился, а может, на меня благотворно подействовало знакомство с лаврентьевцами. Они резко отличаются от билибинцев и анадырцев. Что-то влияет на их характер и поведение. Сами они счита-

ют, что пурга. Но пока пурги нет, чему все удивляются. Жители здесь (я имею в виду материковых) более эмоциональные, чувствительные и нервные. В их поведении много крайностей: от полного неприятия до безграничной любви. Зато нет равнодушия, что особенно заметно на фоне спокойствия и безучастия коренных жителей. Те и другие живут в одном поселке, но очевидно, что это два разных типа жителей. Есть, конечно, и коренные, интегрированные в нашу жизнь, в том числе бюрократическую. Вот они мало отличаются от материковых.

На этот раз я оформил наблюдения в виде небольших очерков. Ты их сохрани. Возможно, они мне понадобятся.

...Многое бы отдал за то, чтобы прогуляться по Санкт-Петербургу.

О нелюбви к москвичам

В Лаврентия я впервые столкнулся с неприязнью к себе, как к москвичу. Конечно, это были единичные проявления, по которым не следует делать умозаключений, но все же. Если бы я представлялся свердловчанином или челябинцем, отношение было бы иным. Отчего-то не любят москвичей. Честно говоря, я и сам их недолюбливал до тех пор, пока не переехал в Москву. Главным образом за то, что в столице колбаса была, а в магазинах остальной России — нет. Теперь колбаса есть повсюду, а неприязнь к москвичам сохраняется.

Сам я до сих пор с проявлением этой неприязни не сталкивался. Во-первых, меня с трудом можно отнести к москвичам: я не живу в столице и десяти лет. Во-вторых, я ощущаю себя гражданином если не мира, то России и одинаково чувствую себя в Смоленске, Пскове, в глухой тверской деревне и даже в Лаврентия...

«Отчего же вы так не любите москвичей?» — спрашиваю. «Оттого, что вы слишком высокого о себе мнения», — отвечают.

...В Москву, «на ловлю счастья и чинов», во все времена прибывали отовсюду. Приезжали покорять, удивлять, заявлять о себе. Соперничать с этим честолюбивым потоком рафинированная московская публика не могла. Наиболее удачливые и предприимчивые облюбовали иные столицы, а прочие москвичи, если и сохранились, тихо сидят в своих клетушках. Они перебрались туда из некогда тихих московских дворишков, из уютных особнячков, нынче занятых под офисы и конторы. Так что самые высокомерные из нынешних москвичей — это вырвавшиеся из захолустий вчерашние москвоненавистники. В каком-то смысле презрение к москвичам — это презрение к себе завтрашнему, а надменность «новых москвичей» — высокомерие к себе вчерашнему.

Впрочем, недолюбливать Москву есть за что. Достаточно посмотреть телевизор, чтобы не считать упреки к столице обоснованными. Можно, конечно, терпеть рекламу кошачьей еды, полгода не получая зарплату, но как относиться к идиотскому телевизионному юмору, в то время как дети воюют в Чечне? Как относиться к сочетанию на экране роскошных презентаций с похоронами солдат?

Отсюда и отношение к Москве и москвичам, которое принимает самые разнообразные формы.

Например, жители Чукотки, особенно прибрежных районов, внимательно следят за прогнозом погоды, который венчает телевизионные новости. На это время прекращаются хождения и разговоры. Все смотрят на экран, где на фоне карты северо-востока сотрудник Гидрометцентра рассказывает о погоде «на завтра». И этот сотрудник постоянно закрывает спиной (в Лаврентия убеждены, что задницей) их любимый Анадырь! И пока жители других регионов слушают сводку, в Лаврентия обсуждают поведение теленаглецов. Кого клянут? Москвичей. А когда губернатор Чукотки приезжал в Лаврентия, ему высказывали претензии на этот счет, и губернатор обещал разобраться.

Прогноз погоды

Тяга к познанию погоды на завтра, свойственная жителям нашей страны, на Чукотке достигает немислимой силы.

Так, в Лаврентия узнают о грядущей погоде по поведению собак или детей. Если лайки сворачиваются в клубок и остаются неподвижными — быть пурге.

Напротив, если школьники ведут себя шумно, дерутся на переменах больше положенного — также жди пургу. Причем если они при этом сшибают друг с друга шапки — будет пурга со снегом; если пинаются ботинками и торбасами — ожидается низовая пурга с северо-западным ветром; если же ученики пускают в ход ранцы и тузят ими друг друга по голове — давление будет особенно низкое и пурга надвинется особенно страшная. В этом смысле лучших метеорологов, чем лаврентьевские учителя, быть не может. Нередко в школу звонят из аэропорта и интересуются: как там дети? не пинаются ли? не сшибают ли шапки? не шарахают ли друг друга по голове? «Нет, — отвечает завуч, — сегодня такого не заметили, разве что пару стульев сломали да унитаз разнесли...» «Ну, тогда ладно», — вздыхают с облегчением и идут чистить взлетную полосу.

Есть приметы более тонкие, хрупкие и чувствительные, которым доверяют не меньше, чем лаврентьевским школьникам. Если, например, у начальника отдела образования Жанетты Азизовны колет в левом боку и краснеет лицо — жди низовую пургу с северо-запада. Это все равно как если бы школьники пинали друг друга. Если колет в правом боку — пурга будет юго-восточной и с таким снегом, что не будет видно вытянутую руку. Еще хуже, если у заведующей отделом культуры Ларисы Олеговны заломит коленку. Это признак того, что надвигается северная пурга с непредсказуемыми последствиями.

Есть и другие приметы, не менее авторитетные и бесспорные. Мне рассказывали, как в одном чукотском поселке народ узнавал погоду «по Клаве», то есть по поведению продавщицы в одном из магазинов. Если Клава отпускала товар спокойно и улыбалась — погода обещала оставаться тихой, даже солнечной: жители собирались кто на охоту, кто на рыбалку, работники аэропорта готовились принимать самолеты, а детям разрешили кататься на санках. Если продавщица с утра была хмурой, фыркала на покупателей и небрежно подавала товар — погода обещала испортиться, ожидался ветер и осадки. Но если Клава (а она была женщиной красивой, огромных размеров и эклектических форм) не здоровалась, орала на покупателей, недоवेशивала, недодавала сдачу и вместо макарон насыпала крупу — на завтра или даже к вечеру ждали пургу. Это означало, что дети должны сидеть дома, рыбалка и охота отменялись, чемоданы распаковывались, и все планы менялись. Все равно ничто не будет ни ездить, ни летать, ни даже ползать.

И жители поселка на Клаву не в обиде. Напротив, она пользуется уважением и авторитетом. Сам начальник аэропорта, прослушав сводку и получив радиограмму из Анадыря, прежде чем дать «добро» на посадку или взлет, спешит в магазин: «свериться с Клавой». И если Клава, не приведи Господь, шумит, то начальник скорее за телефон и дает отбой полетам. «Почему? У нас же сводка!» — недоумевают на другом конце провода. «А у меня — Клава!» — аргументирует начальник аэропорта и командует закрыть полосу, убрать маяк, тушить фонари... И в Анадыре не возражают: сводки, бывает, ошибаются, а вот Клава — никогда.

Приходят даже пограничники. Они охраняют границу, чтобы народ наш не убежал в Америку. Проволоки колючей и вспаханной полосы здесь нет, и потому заблудившийся честный гражданин иной раз и сам не заметит, что стал перебежчиком. Тогда его настигнут и вернут. Надолго. Так вот, начальник заставы нередко посылает кого-нибудь из своих подчиненных в магазин: посмотреть, под видом покупки сигарет, не шумит ли Клава. Если шумит, командир с облегчением вздыхает и дает команду всем отдыхать: только идиот пойдет через границу.

Однажды к Клаве пристал с какими-то непонятными просьбами подвыпивший мужичишка. И что же? Она в тот день была особенно неприветлива и на глазах у застывшей в ужасе очереди дала ему в ухо. Весть моментально разнеслась по поселку. Все живое, включая собак, волков и медведей, схоронилось и затаилось в ожидании грядущих катаклизмов. Пессимисты предрекали конец света... И действительно, к вечеру началось светопреставление. Но своевременно предупрежденный поселок перенес двухнедельную стихию практически без потерь. Так одним ударом в ухо можно спасти многих.

Сама Клава о своих сверхъестественных способностях не догадывалась, а сказать ей никто не решился: это могло лишить поселок барометра. Клава жила одна и, мучимая бессонницей, по ночам крутила ручку радиоприемника. Как и всякий, она особенно прислушивалась к сводкам погоды и, если обещали пургу, нервничала, всю ночь не спала, а с утра отыгрывалась на покупателях.

Магазины и продавщицы

В отличие от Анадыря и Билибино в Лаврентия магазинов мало. Два промтоварных и три продуктовых. В один из промтоварных я попал лишь раз. Магазин этот постоянно закрыт, и побывать в нем — все равно что выиграть в лотерею. Мне повезло. Я случайно заметил, как в магазин вошла продавщица, и проник вслед за ней. Однако, побыв немного внутри, продавщица заторопилась домой: торговать невозможно, потому что помещение не отапливается.

А в администрации объяснили, что отапливать магазин толку нет, так как он все время закрыт.

Этот магазин, впрочем, собираются передать бизнесменам, которые намереваются поставлять в Лаврентия продукты. Жаль, потому что товары в этом магазине — уникальны. Это скорее экспонаты.

Например, я заметил на прилавке диафильмы, о существовании которых уже забыл. Увы, я не успел спросить, есть ли фильмоскоп, через который эти фильмы смотрят. Кто знает, сколько еще придется пролететь, проехать и прошагать по стране, чтобы его обнаружить. Видел такие заколки и булавки, тапочки и шапочки, резиночки и тесемочки, рубашки и плащи, каких встретить уже невозможно. И цены, кажется, тоже были из тех, советских, времен. Я видел целую кучу пластинок вокально-инструментальных ансамблей, первые пластинки Аллы Пугачевой, «Песняров», «Самоцветов», а также диски джазового трио «Ганелин, Чекасин и Тарасов», которые достать было невозможно. В углу одного из прилавков одиноко лежал компакт-диск исполнителя кантри Джеймса Тэйлора. Откуда он в Лаврентия? Я спросил, нет ли еще чего-нибудь, на что продавщица ответила, что магазин закрыт. Так что «нет» и всего этого...

Все продавцы в Лаврентия — женщины. В магазинах чистота и порядок, пол и окна вымыты, витрины стараются украсить к Новому году, но главное — не пахнет селедкой, как это бывает в наших провинциальных магазинах, где на прилавках в соседстве с колбасой, молоком и халвой обязательно лежат две-три селедки. Причем я единственный, кого это беспокоит.

Сами продавщицы — румяные, крупные, аккуратные и самодостаточные, на лицах запечатлена уверенность в завтрашнем дне, что для этих мест большая редкость. На их фоне покупатели выглядят маленькими, беспомощными и даже лишними. Это не столичный супермаркет, где впечатления обратные: миниатюрные девочки-продавщицы и здоровенные, важные, капризные покупатели. Судя по всему, продавец в Лаврентия — персона уважаемая. Здесь товар не продают, а отпускают. Не спеша, без лишнего усилий и напряжения. Продавец может, не поворачиваясь, протянуть руку и отыскать нужный вам товар, а может пойти за ним в д-а-аль-ний угол магазина или вовсе выйти в складское помещение и уже оттуда вернуться... ни с чем! И очередь ждет, никто не ропщет, не выражает даже тени недовольства, и когда какой-то приезжий предъявил продавщице претензию — на защиту тотчас встала справедливая очередь и призвала наглеца к порядку. И тому стало совестно, что он так нехорошо себя ведет...

Лаврентьевские продавщицы, жалея меня, подбирали и кусочек мяса попостнее, и пряники помягче и несколько раз уберегли от опрометчивой покупки. Более того, улучив момент, они отпустили мне десяток яиц, которых не было на витрине. А вчера вынесли откуда-то издалека, из самых-самых потаенных магазинных закоулков, баночку клубничного варенья, которое теперь скрашивает мое одинокое существование.

В магазине, находящемся на каком-то складе, замечательные и жизнерадостные продавщицы, торгующие прямо посреди коробок и ящиков, отпускали мне лишь самый высококачественный товар. Например, они рекомендовали атлантическую кильку в томате. А вот шпроты брать не советовали. И такие советы — вовсе не мелочь в этих широтах! Покупал я и американскую картошку, и какую-то острую закуску, и окорочка Буша, которые специально для меня подбирались из огромного лотка.

Все же один мужчина в лаврентьевской торговле имеется. Он продает хлеб. Впрочем, назвать его продавцом нельзя, потому что хлеб он не продает, не отпускает, а выдает. Правильнее называть его хлебобаздатчиком.

Покупка хлеба

Хлеб — одна из самых больших головных болей для местного начальства. Вроде бы раньше хлеб выпекали сразу в двух местах. Затем что-то случилось, и теперь его пекут лишь в кафе «Северянка» и там же в назначенный час продают. Поскольку оборудования для расфасовки теста нет, «на выходе» буханки только выглядят одинаковыми. Ничего не остается, как продавать их на вес. Продавец работает один, и можно представить, чего стоит приобрести буханку.

По вкусу лаврентьевский хлеб совсем неплох. Он лучше анадырского, но хуже билибинского. Правда, только в день выпечки, отчего его желательно съедать сразу после покупки. На следующий день лаврентьевский хлеб сравнивается по качеству с анадырским, а еще через сутки становится хуже его ровно в десять раз.

Как же покупают хлеб?

Сначала хлебопекам дают списки: от бани, от гостиницы, от склада, от котельной, от библиотеки... от прочих учреждений, где не получают зарплату. Там заранее списки составляют, заверяют подписями директора и главного бухгалтера, а также гербовой печатью. По этим спискам разрешается брать хлеб на сумму в двести, триста или четыреста рублей. В другом магазине по такому же списку и на такую же сумму можно приобретать сахар, муку или крупу. Таким образом, невыданная зарплата «расфасована» по трем лаврентьевским магазинам.

Итак, подходит очередь «покупать» хлеб. Единственный продавец-мужчина начинает искать в ворохе списков тот, в который занесена фамилия покупателя. Затем идет поиск уже конкретной фамилии. Вскоре находится и она. Процедура не такая уж долгая: все ведь друг друга знают. Потом Леонид (так зовут продавца) берет буханку и кладет на весы, разумеется, не на электронные. С помощью нескольких гирек довольно скоро определяется вес, после чего вычисляется сумма. Обычно буханка тянет рублей на четырнадцать-пятнадцать. Затем Леня берет шариковую ручку и отмечает напротив фамилии: когда, сколько и на какую сумму приобретено хлеба. И эта процедура тоже недолгая, потому что все уже приобновились. Потом Леонид передает ручку покупателю, и тот в специальной графе расписывается в получении продукта, чтобы финансовый документ получил законченное оформление и у правоохранительных органов не было повода обвинить хлебопеков в жульничестве и коррупции.

Сделка совершена, и теперь прямо в баре можно есть свой хлеб. Если по каким-то причинам не удалось истратить месячную сумму, заложенную в список, остаток (отдайте должное!) не пропадает, а переносится на следующий месяц. После «отоваривания» списки сдаются в бухгалтерию жилищно-коммунального хозяйства, где дотошный бухгалтер проверяет всю эту арифметику, совершая работу, которую иначе чем адовой не назовешь.

Понятно, что всякий раз за хлебом выстраивается очередь. У кого есть наличные, тот обходится без волокиты со списками. Но очередь для всех одна.

Я через день хожу в кафе «Северянка», но не всегда удается купить хлеб. То большая очередь, то бар по каким-то причинам закрыт, то бар открыт и очереди нет, но нет и хлеба. Я никак не пойму график. Злят меня и абсолютная безработность людей, их спокойствие и равнодушие, словно иначе быть не может. Эта покорная, дремучая очередь, состоящая из дышащих друг другу в затылок людей, в основном чукчей, страшно угнетает. Иногда стоят по часу и больше, в холодном коридоре или в самом баре, облокотившись на стойку и разглядывая сникерсы, стоймость которых запредельная.

Я клял этого Леонида, полагая, что из-за него страдают люди, и жаждал отправить его на нары. Но на Севере нельзя злиться и спешить с выводами. Даже если перед тобой очевидное безобразие, не торопись осуждать, не старайся менять и не ищи виновного. Прежде задумайся: не станет ли от твоей затеи еще хуже? Может статься, что после изменения ситуации хлеба вообще не будет. А тот, кого собираешься судить, кого готов разнести в пух и прах, быть может, достоин самой высокой похвалы. Может, Леониду впору ставить памятник. И всем остальным, от кого зависит выпечка хлеба в Лаврентия.

Для главы администрации главное — доставить в поселок дрожжи и муку. После топлива для авиации и угля для котельных это самое важное. Я видел на-

чальницу кафе «Северянка», которая едва живая, простуженная с утра до ночи занимается организацией выпечки хлеба, поскольку его ждут в каждом доме, в больнице, в детском саду, в школе. Ждут не чужие, а свои: друзья, соседи, родственники. Я встретил Леонида в десять вечера. Больной, замерзший, он спешил в бар на выдачу хлеба. Так же без передышки трудятся и трое женщин-пекарей.

И еще. Килограмм муки в магазинах Лаврентия стоит двадцать пять—тридцать рублей. Добавим дрожжи, расходы на электричество и эксплуатацию оборудования, прибавим зарплату сотрудникам (у Леонида — три тысячи) — в итоге буханка должна стоить минимум пятьдесят рублей. Почти два доллара! Но она обходится лаврентьевцам не больше пятнадцати рублей. Значит, кто-то доплачивает. Кто?

Администрация. Иначе люди помрут, и тогда что толку разбираться: рынок в стране или нет, демократия или диктатура?

То же с электричеством. Батареи в домах чуть теплые. Уголь низкого качества, котлы старые, оборудование еле дышит, зарплату кочегарам задерживают. А температура воздуха ниже тридцати. Поэтому в квартирах круглосуточно работают обогреватели. Здесь вообще все работает на электричестве. Оплачивать коммунальные услуги — никаких денег не хватит. Да их и нет ни у кого. Кто же платит за электроэнергию? Тот же, кто платит за хлеб. Иначе в одну ночь все перемерзнут, как суслики, по-чукотски — евражки.

Правда о кильке

В баре кафе «Северянка», куда я зашел за хлебом, меня увидели молодые и здоровые лаврентьевские мужики. Они уже слышали обо мне как о журналисте, зачем-то присланном из Москвы. Один из них подошел, рассказал про цены и зарплату, про невыносимую жизнь, убеждал, чтобы я обязательно написал о Лаврентия и рассказал всей стране, как здесь плохо. Впрочем, он сказал, что всю правду я все равно не напишу.

Конечно, не напишу. И никто не напишет. Потому что нет такой правды, которую нельзя опровергнуть. Особенно ту, «что хуже всякой лжи».

Какую такую «правду» я должен донести? Что цены здесь непомерные? Что эстонская килька в томате стоит двадцать пять рублей, а в Москве — всего семь?

Это ужасно, но сколько же эта килька должна стоить, если ее отловили в Атлантическом океане, приготовили консервы, а потом, минуя таможи и границы, морские и воздушные порты, базы и склады, доставили на другой конец Земли? Ведь, пока килька появится на столе жителя Чукотки, она должна накормить моряка, рыбака, таможенника, пограничника, шофера, летчика, продавца, налогового инспектора... А к ним добавим жуликов, коррупционеров, взяточников и просто честных чиновников. Да окажется, что килька еще мало стоит, что ее цена как минимум в два-три раза выше. Ведь сколько людей «постарались», чтобы эта несчастная рыбка попала в Лаврентия. Парадокс: бедная Чукотка кормит еще столько, что страшно становится! Интересно, в Лаврентия молодые и здоровые люди об этом думают? Тогда, может, они задумаются о том, во что обойдется европейцу голец, отловленный в заливе Святого Лаврентия и доставленный на сервированный стол в парижский «Максим»?

Ладно, пусть доставляется и продается сгущенка по 45 рублей за баночку или американские яйца — 50 рублей за десяток. Пусть продается рафинад — 30 рублей за пачку или подсолнечное масло. Но что здесь делают московские сосиски и низкосортные колбасы? Тут гордятся тем, что в Лаврентия впервые за много лет люди увидели сосиски. А я считаю, что они их не должны видеть вовсе. Сосисками кормились баварцы не от хорошей жизни, и я не видел, чтобы в Европе их кто-нибудь ел, если только не в дешевых хот-догах. Дешевых! Здесь же эта сосиска, доставленная «бортом» за тридевять земель, стоит дороже парной телятины на московских рынках. Что же можно еще сказать? Только то, что сосиска вообще недостойна полета на самолете. Вместо них лучше бы возили на Чукотку умные книжки. Тогда лаврентьевские мужики, быть может, станут читать, кое-что поймут и чему-нибудь научатся.

Это правда, что начальство российское крадо, крадет и будет красть. Правда и то, что власть в России врала, врет и будет врать. Правда также и то, что власть никогда не ставила ни во что народ, а народ во все времена презирал власть. И что с того?

Правда, что жизнь на Чукотке и в самом Лаврентия невыносимо убога и ужасюще беспросветна. Но где в России эта жизнь лучше? В псковских пределах, в нижегородских, в брянских, в костромских, в каких-то иных?.. И когда она была лучше?

Здесь говорят, что в семидесятых при советской власти на Севере было хо-рошо и сюда стремились всеми правдами и неправдами... Но почему стремились?

Романтика? Желание почувствовать себя настоящим мужчиной? Наверное. Стремление реализовать себя? Отчасти. Но еще и потому стремились, что здесь было вдоволь тушенки, которую в Свердловске и Тамбове, Перми и Оренбурге, Тюмени и Астрахани никто, кроме начальства, не видел. Или это неправда? А уж так, как ввали при советской власти, не ввали никогда. Само утверждение, что власть советская, было ложью.

Другое дело, что всякое время приносит нам свою беду. Разбираться, которая из бед большая, — бессмысленное занятие. Как в роскошном цветнике не выберешь, какая из роз наилучшая, так не определишь, которая из наших российских бед наигоршая.

Не эта ли?

Здоровые и сильные лаврентьевские мужики жалуются на высокие цены, кланут власть и ностальгируют по дешевой тушенке, а хрупкая учительница русского языка и литературы, став их начальницей, завозит с материка паштеты и макароны, чтобы мужики не померли с голода. Это неправда? Она месяц бьется, чтобы прислали самолет с продуктами, а когда этот борт с несчастными сосисками прилетает, не может отыскать в полторатысячном поселке полдюжины охломонов, чтобы его разгрузить. Да не за просто так. За те же продукты. Это неправда?

Поистине прав был Екклесиаст: «Смотри на действие Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?»

А это уже больше, чем правда, — это Истина!

Крупские

Я был в гостях в лаврентьевской семье.

Она — Надежда Крупская, учительница русского языка и литературы. Ее муж — Крупский, зовут Владимиром. Он невысокого роста, коренастый, подвижный, у него залысина и добрые глаза, в которых при некотором воображении можно уловить знакомые черты. Вот только он не юрист и не литератор, а врач. У Крупских двое взрослых детей. Дочь — на материке, учится в институте, а сын оканчивает школу и готовится поступать в вуз.

Владимир долгое время работал военным врачом, поэтому семья где только не проживала, прежде чем задержалась в Лаврентия. Хотя Владимир работает день и ночь, его во многом спасает пенсия, которую ему, как бывшему военному, исправно выплачивают.

Надежда, как и все учителя, трудится безостановочно, набирая часы, нагрузки, накрутки и прочее. Надежда Крупская — гордость школы. Несколько лет назад она участвовала в престижном конкурсе в Москве. Преподаватели собрались из разных концов страны, квалификация высочайшая, а тему даже произнести страшно: «Пушкинский урок». Там были учителя из исконно пушкинских мест, которые знают о Пушкине то, чего сам Александр Сергеевич и представить не мог.

Так вот, Надежда оказалась первой среди всех! Проведенный ею урок был признан лучшим, а самой Надежде присвоили звание «Заслуженный учитель России». Наверное, сыграла свою роль фамилия, сработало и то, что она с Чукотки, но это мелочи. Основного Надежда Крупская добилась сама. Она показывала видеозапись своего урока. Это невероятно! Действо происходило в великолепном дворце, в присутствии высоких особ, включая императора и императрицу, великих князей и княгинь, играл камерный оркестр, всё сияло, а ученики были разодеты в балльные платья и фраки, тонкие шейки девушек украшали немислимо величины бриллианты... Не сразу разберешь, что всё это происходило в лаврентьевской школе.

Проживают Крупские в трехкомнатной квартире, этажом выше моего жилища. Квартиру купили недавно, за пятнадцать тысяч рублей. Мебели особой нет. Ею здесь стараются не обзаводиться. Зато есть компьютер, за которым Владимир и сын Андрей проводят все свободное время. В отпуск теперь ездят не каждый год.

Времена наступили не из легких, и приходится себя ограничивать. Экономя на отпуске, можно запастись продуктами.

...Меня они позвали, чтобы угостить домашней едой, от которой я отвык. Кормили борщом, картофельным пюре, тушенкой из оленя и из кеты, угощали салатом из морской капусты и маринованными грибами, а также вареньем из морошки. Ужин сопровождался разговорами о политике, о неспособности наших начальников руководить, звучали известные фамилии, словом, это был обычный застольный разговор под фон телепередачи, не важно какой. Замолкали мы, лишь когда передавали сводку погоды. Я рассказывал о доступных только «узкому кругу» деталях высокой политики, раскрывал сокровенные, известные лишь москвичам факты, почерпнутые из газет и слухов. В ответ мне рассказывали о жизни в Лаврентия, о происшествиях, о людях. Помимо прочего, я старался разузнать о быте лаврентьевской семьи.

Жители центральных районов, Урала и даже части Сибири при всех трудностях все же могут иметь огород, скот, вести натуральное хозяйство. Здесь же, у берегов Ледовитого океана, о каком хозяйстве может идти речь? Если ты не коренной житель, не охотишься на моржа, кита или лахтака, то, кажется, обречен на голодную смерть. И я бы с этими доводами согласился, тем более после разговора с лаврентьевскими мужиками, страдающими от плохой жизни. Но встреча с семьей интеллигентов показала, что все не так, как можно представить. При разумном подходе и, главное, при трудолюбии можно жить и в Лаврентия. Жизнь заставила людей, профессии которых далеки от основ экономики, быть рачительными хозяевами и политэкономами семьи, чего в нас так не хватает.

Меня допустили в кладовую семьи с блокнотом. Вот продукты, закупленные в магазине:

Горошек зеленый (3 ящика по 45 банок в каждом). Этот запас сохраняется и время от времени пополняется.

Горошек суповой (ящик).

Рис (10 кг).

Пшено (4 кг). В этом году пшено в Лаврентия не завозили.

Гречка (2 ящика по 20 кг). Гречку тоже не завозили.

Сахар (4 кг). Пачка рафинада стоит тридцать рублей. Год назад стоила пятнадцать при той же зарплате.

Мука (важнейший продукт). Осталось немного. В магазине она по 30 рублей за кг. Купить по такой цене мешок семья не может. Ждут. Вроде должны завезти подешевле. Из муки пекут сдобу, пирожки и домашний хлеб.

Масло растительное (важнейший продукт). Хранится две канистры американского производства по 16 литров и 12 литровых бутылок отечественного, стоимостью по 85 рублей.

Майонез готовят сами из горчицы, сухого яичного и молочного порошков.

Из спиртного хранятся пять бутылок шампанского и четыре водки.

Икра баклажанная (ящик). Куплена год назад. Сейчас пол-литровая баночка стоит 60 рублей.

Макаронные изделия: разные и во множестве.

В сарае, рядом с домом, в оцинкованной бочке хранится красная рыба — штук шесть или семь, а также оленина и китятина.

Чай (важнейший продукт). Его, как и макарон, хранится много и разного.

Соль (наиважнейший продукт!). С солью беда. Ее требуется много. Но соль — тяжелая и дешевая. Завозить ее невыгодно.

Сухого молока — килограммовая банка, стоимостью 160 рублей.

Мед (важнейший продукт). На мед нельзя жалеть денег. Он необходим для поддержания здоровья.

Сухого лука — десятикилограммовый мешок.

Сухой моркови примерно килограммов пятнадцать.

У Надежды сказывается украинское происхождение и память об оккупации. На чердаке в родительском доме всегда хранились соль и спички: до войны, во время войны, после войны, всю жизнь. И уже спички были без серы, но их все равно не выбрасывали. Рачительность и бережливость родителей передалась Надежде. В Лаврентия «лишние» продукты всегда можно обменять. У одних припасено подсолнечное масло, но нет сахара, у других достаточно соли, но не осталось перца... Продукты здесь дороже денег.

Там же, в кладовой, припасены и продукты, приготовленные самостоятельно. На побережье залива ветер выбрасывает тонны морской капусты. Загребай хоть лопатой. Капусту промывают, сушат и хранят в большой картонной коробке. Она особенно хороша в китовые котлеты. Но это еще и прекрасный салат, надо только заправить подсолнечным маслом. Сушеную капусту достаточно залить кипятком. Она на глазах оживает, становится зеленой, свежей. Морская капуста, только худшего качества, пользуется спросом в московских супермаркетах и стоит дороже белокочанной.

Грибов в кладовой много и самых разных. Вообще в тундре, где на первый взгляд ничего не растет, лучшие грибы в мире. Их маринуют, солят, сушат. В Лаврентия они у многих на столе.

Варенье из морошки и из нее же самодельное домашнее вино, приятное на вкус и, главное, полезное.

Голец. Из него Владимир делает консервы. Режет рыбину на куски, добавляет специй и четыре часа кипятит. Затем закладывает в банки и закручивает. Деликатес готов. Точно так же он готовит консервы из горбуши, кеты, форели, наваги и бычков. Такими консервами меня и угощали. С вареной картошкой — оторваться невозможно!

Тушенка из оленины. Ее готовят тем же способом, что и рыбные консервы. Хранится она может сколько угодно. С жареной картошкой или макаронами тушенка из оленя — мечта материкового жителя. Какие там сосиски!

Такую же тушенку Владимир готовит из китового мяса. Только варить его надо часов шесть-семь... У Крупских также есть мороженая китятина, хранящаяся в сарае, и вяленая, по вкусу напоминающая воблу. К пиву лучшей закуски не придумаешь.

Вот какая имеется кладовка, и я уверен, что она не единственная в Лаврентия. Владимир Крупский считает, что надо быть дураком или лентяем, чтобы здесь пропасть. Организация его быта убеждает, что он прав.

Крупские понимают, что искать рай на земле, тем более в России, — занятие гиблое. Смысл лишь в том, чтобы трудиться там, где живешь, пусть даже если это край Чукотки. Трудиться, чтобы и самим достойно жить, дочери помогать и сына в будущем году отправить на учебу.

Предприниматель

Есть в Лаврентия персонажи и вовсе забавные, не поддающиеся никаким внешним веяниям. Их не беспокоят ни пурги, ни метели, ни морозы, словно живут они не в тундре, а на благодатной Кубани. Не было дня, чтобы я не слышал упоминания фамилии «Шиманский». И лишь раз мне удалось этого Шиманского увидеть, потому что он все время в разъездах. Шиманский — предприниматель и принадлежит к той беспокойной плеяде, которая никому не дает жить, служа соблазном, укором и раздражителем.

Что только не предпринимается против этих предпринимателей, но все равно они прорастают и дают о себе знать. Что движет ими? Кажется, вокруг пустыня и уныние, безнадега и погибель. Но нет, всякий раз находится некий тип, который все вокруг себя ворошит, будоражит, мутит. Глядишь, появляются магазинчик, фабричка, мастерская, кафешка, ресторанчик, один домик, другой, третий... Начинается общее шевеление и вслед за тем — брожение умов, спор и кривотолки. Потом наступает прозрение: зачем? кто дал право? Вешаются ярлыки, пишутся жалобы, вызывается общее недовольство. Ан уже и дельце заведено. А там загремел выскочка за жульничество, за спекуляцию или еще за что-нибудь. Магазины, фабрички, кафешки, ресторанчики закрываются. И что же? Сожаления по этому поводу, конечно, есть, но разве могут они сравниться с радостью от того, что нет больше возмутителя спокойствия, нет этого выскочки, бесстыдно наживающегося за счет народного бедствия. А если он и есть, то там, за решеткой, и ему, еще вчера шикававшему, сегодня хуже, чем остальным. Чем не справедливость?

В каждом селе и в каждом городке обязательно найдется хоть один шиманский. Они постоянно в движении, отираются у кабинетов начальников, ходят к ним с какими-то бумагами, предлагают прожекты, сумасбродные и несбыточные, но главное — они не подвержены всеобщему унынию и смирению с обстоятельства-

ми. Впечатление, будто они не смотрят телевизор и не знают обстановку. Вместо оханий и вздохов они заказывают спецрейсы, летят на материк, носятся с предложениями и заказами, постоянно что-то считают, а еще — ведут себя независимо, словно не подчиняясь никому, будто сами себе начальники. Глядеть на это невыносимо, и долго терпеть невозможно.

Вот и в Лаврентия отыскался такой. Он собирается открыть в этом, казалось, обреченном месте животноводческий комплекс! На полном серьезе намеревается завезти сюда свиней. Не для чучел в краеведческий музей, а чтобы их есть. Он надеется путем размножения достичь уже через пару-тройку лет десяти тысяч голов! Эскимосам и чукчам придется ввести в словарный запас слово «опорос», а в повседневный рацион — свинину. Этот Шиманский утверждает, что уже пятьдесят лаврентьевских семей готовы взять на откорм и воспитание от пяти до десяти свиней. Не дожидаясь вопросов, он застучал пальцами по калькулятору:

«Пять поросят за пять месяцев дадут прирост по 130 килограммов. Значит, всего 650 килограммов. Умножаем на 25 рублей (по такой цене он собирается продавать мясо) — получается 16 тысяч с лишним. Делим на пять (таков доход с этих поросят) — получаем 3250 рублей в месяц. Умножаем на двенадцать месяцев, получается 39 тысяч рублей. Вот такая прибавка к зарплате. Почти отпуск. А если кто-то возьмет десять свиней? А если двадцать?»

У меня глаза полезли на лоб. Я думал, он шутит, пытался переспросить, не успевая записывать, но этот невысокий, коренастый парень с добродушным южным лицом строчил как из автомата. Оказалось, он уже завез корма для двухсот свиней и скоро доставит их самих. На самолете! А чтобы свиньи не зарились на моржей — завезет специально отобранных хряков.

Как же, спрашиваю, свинья переносит полет? Оказывается, хорошо. Лежит себе в салоне и летит.

По замыслу Шиманского, за те несколько лет, пока народ, отвлеченный от оленины, будет есть свинину, чукчи воспроизведут стада оленей. Мало того, Шиманский намеривается завезти сюда еще и кур. Для начала две тысячи. Уже вскоре он собирается получать с них сорок пять тысяч яиц в месяц. Пока народ будет есть кур — в тундре воспроизведутся куропатки. Да что куры? Скоро сюда с Камчатки спецрейсом доставят десять коров. Они будут давать ежедневно тридцать литров молока для детского садика и больницы. Вроде бы Шиманский уже этих коров купил, заплатив по тридцать тысяч рублей за каждую. Одновременно закупается оборудование для переработки молока и производства сметаны, кефира и творога.

Представляя бесчисленные стада на близлежащих сопках, я хотел было спросить у предпринимателя, где будут жить эти птицы и животные, но тот, упрямая, уже отвечал, потирая руки: «Все предусмотрено. Помещения подготовлены. Тепло подведено. Люди набраны. Ждем-с коров!» Он также сказал, что здесь неподалеку есть горячие источники и там уже вовсю идет строительство теплицы для выращивания помидоров, огурцов, капусты и лука...

Лаврентьевский предприниматель родом с Кубани, из казацкого хутора в Белореченском районе. В свое время попал на Чукотку, работал на прииске «Восточный» в Иульгинском районе, был бульдозеристом, бурильщиком, сварщиком. С 1984 года обосновался в Лаврентия. Его жена, Наташа, науканская эскимоска, а это значит, что работать и вести хозяйство она умеет. У Шиманских двое детей, и из Лаврентия семья никуда уезжать не собирается.

Как бы я ни возражал, какие бы сомнения ни высказывал, Шиманский их даже не слушает: все у него просчитано, подобрано и распределено. И ни йоты сомнения, что все это когда-нибудь сбудется.

(Окончание следует.)



Домашний театр, или Полифония мира

Идея театра звука — музыкального театра **без литературы** — появилась много лет назад, в конце 70-х. Мы выхаживали ее, бродя долгими ночами по тихим улицам спящего города, и говорили, говорили... На наших глазах уходила в прошлое эпоха Великой Современной Музыки. Когда каждое сочинение становилось событием. Когда казалось, что новый музыкальный язык, новые звучания и способы игры на инструментах открывали невиданные дали Свободы — и в искусстве, и в самой Жизни. Когда каждое композиторское имя мгновенно обрастало мифами и становилось Именем. Имен было больше, чем реально звучащих сочинений. Помимо редко исполнявшихся Шнитке, Денисова, Губайдулиной, почти не исполняемые Сильвестров, Грабовский, Пярт, не исполняемые вовсе легендарный князь Волконский, Уствольская, Караманов, уехавшие Арзуманов, Рабинович... Крайней западной точкой на музыкальной карте была Польша. Как мы заслушивались Пендерецким, Лютославским, Гурецким!.. Как ловили известия о недоступных шедеврах великих — Кагеля, Штокхаузена, Булеза, Вареза, Ксенакиса!..

О, эта «музыка для избранных», услышать которую стремились толпы поклонников. Милиция не могла сдержать их натиска. И рушились стеклянные двери концертных залов. Как много избранных, как мало званных!

И совсем недавно еще был жив Шостакович... Какая книга, даже запрещенная, могла соперничать с его симфониями по силе воздействия?! Как мы разгадывали тайные смыслы его интонаций! Его музыка сталкивалась с настроениями времени. Тогда у нас не было свободы слова, зато были его сочинения. И даже провалы были значимы. Написал Тринадцатую симфонию и «Казнь Степана Разина» на стихи Е. Евтушенко:

Вы всегда плюете люди
В тех, кто хочет вам добра.

И зачем ему были нужны эти вирши? Загадка...

В последний раз я видела Шостаковича за несколько месяцев до смерти. Он пришел в зал Дома композиторов на какой-то концерт. Вернее, не пришел, его привели — беспомощного, с прижатой к телу малоподвижной правой рукой. Дмитрий Дмитриевич сидел в проходе недалеко от двери, и его присутствие явно электризовало публику. Музыка того концерта давно забылась, но в памяти остались истерические возгласы дам, возбужденных присутствием классика:

— Откройте дверь, душно!

— Закройте дверь, дует!

В антракте композиторы потянулись к выходу и, проходя мимо Шостаковича, здоровались. А он, трясясь, привставал и всем подавал свою большую руку. Я как завороченная следила за этой пыткой. И терялась, не зная, как поступить: проскочить мимо, не поздоровавшись, совершенно невозможно. А заставлять его вставать в четыреста первый раз... Так и осталась сидеть.

И вдруг все кончилось — и противостояние авангарда гражданственной музе Шостаковича, и попытка создания новой музыки вообще... Вчерашние поводыри как по команде остановились, повернули вспять. И возникла ностальгия по «золотым временам» в музыке Шнитке, «средневековью» — у Пярта, архаике — у минималистов, дебюссизм — у Булеза, штраусианству — у Пендерецкого... Нередко это была замечательная музыка, но почему же идеи воплощения современности сменились тоской по идеалам светлого прошлого? В чем тут дело?

Да и концерты переродились. Выходит на сцену народно-заслуженный лауреат. Встряивает гривой. Вытирает пот со лба. Играет заезженную, заигранную до дыр

музыку: па-па-пам-брямс,— делая вид, что обуреваем нечеловеческими страстями и лирическим экстазом. А публика, которой все это знакомо до мельчайших подробностей, делает вид, что она в это верит. И еще умильно кивает головой: «Ах, Божьей милостью пианист — скрипач — дирижер!» И довольные друг другом люди расходятся. Пустой, ничемный ритуал. Фальшивый, мертвый театр со штампованными ампула: герой-любовники, резонеры, загадочные гении не от мира сего.

Конец 70-х — это время тоски и детских вопросов: что такое жанры и формы, доставшиеся в наследство от классиков? Что такое, например, соната или трио? В чем современность, если не в языке?

История «Драмы для скрипки, виолончели и рояля» помнится очень хорошо. Это трио Александра Бакши как-то раз исполнили на концерте в милиции.

Страстный лирический призыв одинокой виолончели. Из-за сцены ей отвечает скрипка. Скрипач выходит, и диалог струнных перетекает в дуэт согласия. Внезапно врывается пианист. Подбегает к роялю и резкими бравурными пассажами в духе Листа — Шопена — Рахманинова разрушает только что родившуюся хрупкую идиллию. Скрипач уходит. Пианист, еще какое-то время побушевав, уходит тоже. На сцене остается одинокая печальная виолончель. И музыка стихает, стихает, стихает...

Под впечатлением от сочинения после концерта подполковник милиции неожиданно вспомнил, что и у них есть люди, подобные пианисту. И как много от них неприятностей: постоянные жалобы, вызовы на ковер к начальству. С этим надо решительно бороться! В конце концов в присутствии исполнителей какому-то сержанту объявили выговор.

Сама возможность такой милицейской реакции иронически воспринималась в музыкантской среде. И напрасно автор оправдывался, что в трио подвергся ревизии традиционный жанр ансамбля, объединяющего не родственные друг другу инструменты, а весь сюжет и конфликт рождались из противоречия поющих струнных и рояля, который по происхождению — ударный инструмент. Что сам ансамбль — это готовый музыкально-театральный сюжет... Напрасно. Напрасно...

В эпоху противостояния «традиционалистов» и «новаторов» эта музыка не вписывалась ни в тот, ни в другой лагерь. Традиционалисты воспринимали ее как явный авангард и по языку, и по композиторской технике, а авангардисты, в свою очередь, чувствовали чуждый им дух незлитарности, сомнительного демократизма, наглядной и вызывающей конкретности.

Когда в 70-е годы многие новаторы повернули в сторону «новой простоты», она была окружена ореолом особой утонченности и обращалась к избранным. За «новой простотой» виделась глубина, добытая ценой отказа от поиска новизны, ценой жертвы. А в этой музыке не было отказа ни отчего, в том числе и от авангардных приемов. В общем, не вписывалась она никуда. Та же реакция отторжения возникла и после Сонаты для голоса и рояля, и после других пьес. И это было естественно. Мы и сами ощущали, что этой музыке не место в концертах.

Если вдуматься, концерт — музыка, взятая в рамку сцены и ставшая сама по себе объектом поклонения. Это всегда монолог приподнятого над толпой гения. Трибуна, с которой изливаются в зал лирические откровения и пророчества боговдохновенных. Ибо прекрасное — это божественная истина, к которой можно только приобщаться, молча внимать... Прекрасное спасет мир... Гений и злодейство — несовместны... Художник — существо надмирное, он — служитель...

В самой форме заложен романтический круг идей, который можно развивать лишь до какого-то предела. Концерт — это ритуал поклонения Музыке, ее Авторам и Исполнителям. Он родился в эпоху романтизма и как любой ритуал связан с мифологией времени. Здесь форма и есть содержание.

Концерт — романтический театр звука, где вместо персонажей действуют, конфликтуют, участвуют в перипетиях сюжета музыкальные темы: Любви и Смерти, Добра и Зла, Рока и Бессмертия... Высшие достижения европейского искусства — театральные жанры: опера, балет. Но и симфония, и соната — по сути театральные пьесы без слов. (Об этом написала замечательную книгу «Театр и симфония» музыковед В. Конен.) Они возникли на гребне развития определенного исторического периода как обобщение театральной драматургии.

Конечно, слушатель ни о чем таком на концерте не думает. Да и автор тоже. Но ведь сила моделей в том, что их не осознают, что они кажутся естественными и единственно возможными, как солнце, восходящее на востоке. И все институты, возникшие в последние двести лет — консерватории, филармонии, творческие объединения и т. д., — направлены на удержание этих завоеванных романтизмом позиций.

Несостоятельность романтической мифологии в XX веке, особенно после войны, стала очевидной для всех. Но оторваться от нее оказалось не так просто. Как расстаться с идеями, что творчество — это особая миссия, а художник, самовыражаясь, служит великому делу?

Авангард не отказался от идеи самовыражения Автора и довел ее до предела, до бессмыслицы. Автор создавал свой мир, говоря на своем особом, уникальном языке.

Хватит ностальгии! Настоящее искусство может быть только в настоящем времени. Нам казалось, что только театр дает эту возможность. Так хотелось точного образа, действенной интонации, диалога с публикой! Так хотелось воздуха жизни! Живой человек в конкретных обстоятельствах — в этом, а не в другом зале, в этом времени, сегодня, сейчас, а не вообще.

Мы думали о другом музыкальном театре, о театре звука.

«Я мечтаю о театре, где действующие лица — певцы и музыканты, а не поющие бруннильды, татьяны и донжуаны. Соединить музыку и театр без посредства литературы, чтобы звук не выражал прямо слово, чтобы певцы не напрягались, натужно изображая в речитативах естественность человеческой речи.

«Так хочется правды!..» — писал Александр Бакши.

Театр не создается в одиночку — это всегда коллективное творчество. Речь, конечно, шла не о создании постоянной труппы, а о единомышленниках — музыкантах, способных изменить привычкам концертирующих исполнителей. Это и другая форма существования на сцене, и особый репетиционный процесс. И, кроме того, опасность неадекватной реакции публики: любое нарушение ритуального поведения музыканта на сцене чаще всего воспринимается как пародия и гротеск. Людей, способных на такой эксперимент, было наперечет. Соавторами были все, с кем создавались маленькие и большие работы, — Марк Пекарский и ансамбль ударных, Татьяна Гринденко и Академия старинной музыки, Гидон Кремер и «Кремерата Балтика».

Главный принцип театра звука состоит в том, что музыка не пишется для скрипки, рояля или певца. На свете не найти двух одинаковых исполнителей — они разнятся всем характером интонирования, манерой ходить, шуршать нотами, покашливать... Музыка пишется для конкретных людей.

На долгие годы я стала одним из персонажей этого театра. Поющий музыковед — явление не очень распространенное. Поэтому мой выход на сцену был встречен весьма настороженно. Но я и не пыталась заменить собой «настоящих» академических певцов. То, что я исполняла, было написано для меня — со всеми достоинствами и недостатками, — на мой тембр голоса, на мою манеру строить фразу, интонировать, на мое дыхание. И, кстати, попытки петь мой репертуар весьма известными певицами оказывались неудачными. Это примерно то же самое, что сыграть чужую роль. Можно повторить все мизансцены, но то, что составляет суть образа, создаваемого данным конкретным артистом, скопировать невозможно...

В 1992 году состоялась премьера спектакля «Сидур-мистерия» по мотивам работ гениального советского скульптора, художника и поэта Вадима Сидура (1924—1986). Спектакль на музыку Александра Бакши для сопрано и ансамбля ударных Марка Пекарского поставил Валерий Фокин*.

В составе ансамбля ударных был монтировщик Славочка, который, когда не хватало «музыкальных рук», выходил на сцену, чтобы раз-другой стукнуть по барабану. Это был человек очень маленького роста, широкоплечий, с крупной головой. В «Сидур-мистерии» у него была небольшая, но ответственная роль — он играл скульптуру. На помосте в полутьме стоял большой деревянный ящик. Из него торчал неподвижный белый шар забинтованной головы. В конце первого действия, когда все персонажи уходили со сцены, Раненый вдруг поднимался в тишине. Оказывалось, что это был человек в белом застиранном армейском белье. Он прижимал к груди скрипучий инструмент — куику, — который издавал тихие стоны. Прихрамывая, Раненый удалялся куда-то в глубь сцены, в темноту. А в конце спектакля с теми же стонами он медленно спускался с пятиметровой лестницы в глубине сцены, прихрамывая, ковылял к своему помосту и, обессилев, падал и замирал.

Во время войны Сидур был ранен в челюсть, и его голову так бинтовали в госпитале. Но эта скульптура — не автопортрет, а портрет боли. Еще один безымянный,

* Подробно этот спектакль описан в повести Юлии Сидур «Пастораль на грязной воде» («Октябрь», 1996, № 4). В повести реальные персонажи действуют под вымышленными именами.

безязыкий из длинного ряда сидуровских инвалидов — победителей, безногих, безруких, безглазых...

«Мистерию» невозможно сыграть в другом ансамбле — нечем заменить Марка с его говорящими барабанами. И Славочку тоже — с его походкой, фигурой, на которой так несуразно болталось настоящее армейское — времен войны — белье Вадима Сидура, с его умением так трогательно по-русски стонать на африканской куйке!..

«Мистерия» — не о войне, а об искусстве: о скульптурах, рисунках, стихах. Но если бы знали, из какого стона росли они...

Великий соблазн для искусствоведа — порулить творческим процессом. Время уж больно подходящее — все вокруг говорят о смерти Автора. Занять пустующее место лидера сегодня просто, как никогда. И занимают. Как много художников, писателей, композиторов стараются соответствовать любимым эстетическим концепциям теоретиков искусства! Историкам будущего еще придется разбираться с демонической ролью так называемых кураторов, взявшихся отделять зерна от плевел, актуальное от устаревшего. Недавно от французского коллеги я услышала грустную фразу: философы погубили наш театр. Трудно судить, так ли это, да и верится с трудом. Однако бесспорно, что эпоха авангарда оставила в наследство незбылемую веру в абсолютную ценность эстетических манифестов. Когда каждый новый «изм» претендует на истину в последней инстанции, пока его не сменит другой новый.

В 20-х годах Ю. Тынянов писал: «Она (литература) не поезд, который приходит на место назначения. Критик же — не начальник станции. Много заказов было сделано русской литературе. Но заказывать ей бесполезно: ей закажут Индию, а она откроет Америку». Чаще всего сегодня искусству — и не только русскому — заказывают Индию. И получают Индию...

Подобного соблазна у меня никогда не было в силу двойной профессии. Я имела возможность пройти путь изнутри — как участник процесса и как бы извне — как музыковед, музыкальный критик. Я никогда не пыталась выстроить эстетическую модель, четко сформулировать задачи. Но желание осмыслить и оценить сделанное, конечно, возникало.

В 90-е годы стали вырисовываться эстетические границы театра звука. Прежде всего определились отношения со словом и литературой.

Около двухсот лет русская музыка следовала завету А. Даргомыжского: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды!» В России и романс, и опера, и симфония — все было литературой. «Правда» искалась во всех жанрах. Если не композиторами, то их слушателями. К кому относится мысль А. Платонова: «Музыка — это запрещенная литература, когда она замычала...» — неизвестно. К музыке вообще... У Мусоргского в «Райке» есть романс «Салонный вальс» с текстом: «О, Патти, Патти. Чудная Патти, дивная Патти...», где пародируется увлечение итальянским бельканто, бессодержательной виртуозностью. Это отношение к чистому мастерству показательно не только для Мусоргского, но и для всей русской музыки. Игровая природа искусства чужда нашему менталитету. Интересно, что преобладание слова над музыкой, интонацией сохранилось и в XX веке. В 60-е годы мы, как и весь мир, заслушивались «Битлз», кстати, часто не понимая ни слова. Это была не просто музыка, а социальное явление, породившее волну подражаний и ряд новых направлений в искусстве и в жизни — молодежную культуру (рок-культуру в том числе). Это интонация, манера одеваться, образ жизни, наконец, система ценностей. Имидж, не формулируемый словами. Но и здесь мы пошли своим путем.

Наши музыканты остаются поющими поэтами, бардами. Борис Гребенщиков, отвечая на вопрос о возможности своей западной карьеры, говорил, что для западного рок-музыканта слова не имеют значения. А для него главное — поэзия.

Россия остается страной слова (не Слова, как полагают многие). Однако на нашей почве рождаются не только художники-передвижники и поэты-демократы. Но и Малевич, Кандинский, Шагал, Филонов, Стравинский... Бывают времена, когда поэт становится не больше, чем поэт. Но и не меньше. Проблема не только в том, чтобы преодолеть наследственную зависимость от слова. (Например, в вокальной музыке.) Речь идет о музыкальной драматургии. Потому что она есть продолжение драматургии литературной.

На протяжении веков в искусстве вырабатывался принцип **согласованности** литературного, зрелищного и музыкального рядов. Литературные образы всегда инициировали рождение музыкальных. Конфликт сценический подкреплялся конфликтом музыкальным. Герой получал свою музыкальную характеристику или даже целый набор уточняющих его лейтмотивов. Впрочем, и само понятие музыкальной

Трагический и наивный мальчик — бунтарь, не находящий себя в мире взрослых, сшивший одежду фата из слов — единственного материала, которого у него в избытке... Я до сих пор люблю эту работу, и мне часто хочется спеть:

У церковки сердца
Занимается клирос

Но делать спектакль по стихам в начале 90-х! «Игры в инсталляциях» стали манифестом антилитературного, антикнижного спектакля. Мы отказались от текстов.

«Игры...» начинались фразой какого-то предисловия: «Вслушиваясь в Маяковского». В начале представления ее произносил Марк Пекарский, выходя на авансцену, поправляя профессорские очки. Не дослушав его, откуда-то из-за кулис появлялся другой персонаж. Чеканя шаг, он подходил к микрофону, открывал книгу, вырывал из нее несколько страниц и, комкая, бросал на пол.

В спектакле было много книг — громадных, маленьких. Они использовались как хлопущки, страницы их шелестели под напором воздуха из пылесоса, они летали, как птицы, по всему залу. (Как и в «Сидур-мистерии», наряду с традиционными музыкальными инструментами здесь звучали и бытовые предметы.) Поэзия добывалась из звуков первой фразы, и вдруг оказывалось, что она богата и содержательна. Вслушайтесь: «В-В-В» — шум мотора, «Вслу... вслу...» — плеск камушка, падающего в воду. «Ш-Ш-Ш-Ш...» — шорох листьев на ветру. «Ива... ива...» — песня Офелии. «Шива... Шива...» — Индия. А вот спор двух персонажей: первый грозно и воинственно утверждает: «Ваясь... Ва-ясь...».

«Я... Я...» — спорит другой.

«Ва-ясь... ва-ясь...»

«Я!.. Я!..».

Призывно-революционное «Маяк... Маяков!» — и ироническое «С кого?» Драматургия создавалась из столкновения звукообразов. Мы, семеро персонажей, разыгрывали музыкальные сценки в казавшемся хаотичном порядке, пока наконец не объединял нас властный и мощный ритм в машину — паровоз, где каждый был какой-то его частью. Кто-то — поршнем, кто-то — колесами, я — гудком, а Марк — прицепным вагончиком. Он держал в руке пустой стакан, в котором бесполезно для хода этой машины болталась чайная ложечка. Длинным-длинным поездом мы проезжали через весь зал и удалялись за сцену в неведомые дали, откуда окликала нас невидимая труба.

Русские футуристы открыли эпоху игры со словом и звуком: Дыр-бул-щир... «Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер, «Бобэоби» — пелись губы... В театре звука бессмысленно иллюстрировать стихи музыкой. Естественнее играть по тем же правилам. В конце концов музыканту органичнее — без лишних слов и вопросов — подойти к водосточной трубе и сыграть на ней что-нибудь. Например, ноктюрн...

Мы играли спектакль не в зале, а в громадном корпусе бывшей электростанции. Никакой сцены — огромные машины, похожие на застывшие гигантские паровозы. Какие-то странные манекены в прозодежде начала века, трансформаторные будки и прочие «кому-таторы, а кому-ляторы». Этот зал был густком окаменевшей энергии, оставалось ее разбудить. Мы разместились на машинах, под ними, за ними. И гулкое, с долгим эхом пространство, казалось, стократно увеличивало звук наших барабанов, трещоток, голосов. Как в свое время эхо русского футуризма усиливало мощь итальянского.

Итальянцы не праздновали юбилей Маринетти, зато отмечали столетие Маяковского. В искусстве бывает иногда, что эхо — важнее источника звука. Мы так и не показали спектакль в России. Футуризм оказался не ко двору в стране, в будущем разочарованной и обращенной вспять. В стране, где зачеркивают прошлое, чтобы вернуться в позапрошлом. Может быть, нигде больше, чем в России, не ощущается относительная природа времени. Западный человек измеряет его секундами, минутами, часами, годами, веками, делит его на равные части. Наш лозунг «Время, вперед!» на Западе звучит абсолютно бессмысленно: куда же оно еще может идти?! В России время течет неравномерно — то тягуче, почти стоя на месте, «движется и не движется», то несется вскачь — вперед или назад. Оно измеряется событиями. Это роднит российское время с временем музыкальным. Ведь главная особенность музыкального времени не в том, что оно организовано ритмическими долями, а в том, что оно — драматургично.

Театр звука отличается от концерта не только формой, но и идейной установкой. Музыка в рамке сцены — не просто определенным образом организованное пространство. Это — материализация определенного взгляда на мир.

Последние несколько столетий в музыке развивался процесс превращения реального пространства в иллюзорное. Музыканты играют со сцены, из одной точки. То есть звуковое пространство — плоское, оно не имеет измерений: далеко — близко, высоко — низко. Ощущение глубины создается за счет подмены соотношений «далеко — близко» на громко — тихо (эффекты эха, приближения, удаления). Соотношение «высоко — низко» воссоздается символически. Высокие голоса, флейты, скрипки и т. д. символизируют высоту, верх, небо. Басы, контрабасы, туба и т. п. — низ, землю, подземный мир. Когда Сергею Прокофьеву понадобилось в кантате «Александр Невский» изобразить мертвое поле, он убрал из оркестра весь средний диапазон, оставив только крайние высокие и басовые звуки. Только земля и небо, а жизни — нет.

Иллюзорное пространство в музыке в чем-то похоже на перспективу в живописи. Но слушатель не в состоянии воспринять больше трех самостоятельных голосов из одной точки пространства. Уже четыре голоса сливаются в аккорд. Поэтому сколько бы музыкантов не играло на сцене, мы слышим не их отдельные голоса, а созвучия, аккорды, массу. Ведущий голос и аккомпанемент.

Плоскостное пространство — порождение идеи Гармонии мира: упорядочить разнообразие, свести разноголосицу в созвучие, в аккорд. При этом свободное течение голосов подчиняется единому ритму и иерархии соотношений «благозвучие — неблагозвучие» (консонанс — диссонанс).

Симфонический оркестр — это модель мироустройства. На протяжении последних двух веков он постоянно расширялся, включая все новые инструменты из разных стран. Но неизменно европейские скрипки оставались в центре, а на задворках — африканские и азиатские сакральные барабаны. Оркестр превратился в гигантскую палитру, на которой есть все краски. Но картину рисует Автор — композитор. Он создает систему конфликтов и противоречий, он управляет процессом и волнами движения. Он структурирует течение времени. Он, наконец, носитель высшей миссии, пророк и вершитель. За этим подходом явно угадывается безудное желание европейца объять весь мир, управлять всеми контрастами и конфликтами из единого центра и подчинить их единому закону. Но нельзя объять необъятное.

Оркестр — наиболее яркий пример европейской идеи Гармонии мира, которая в XX веке стала себя изживать.

Во всех сочинениях театра звука музыка окружает слушателя. Он погружен в нее. Так создаются пространственно-звуковая среда, реальный акустический объем. Исполнители играют разную музыку в разных темпах, ритмах, из разных точек зала, сцены и за сценой. Музыканты не уживаются в одной плоскости, потому что они — персонажи. Поэтому театр принципиально многоголосен. То есть **полифоничен**.

Речь идет не о технике письма или музыкальном складе. А о другом мышлении, которое выламывается из ценностей классического европейского периода нового времени — мифа о Гармонии мира, идеи самовыражения автора и соответственно из традиционных музыкальных жанров. Практически мы оказались на пути какой-то иной исторической системы, которая рождается на наших глазах.

Из истории музыки хорошо известно, что существует тесная связь между складом музыкального мышления и религиозной, общественной, политической организацией жизни.

Великая полифоническая эпоха средневековья предшествовала классической гомофонно-гармонической, которая началась на рубеже XVI—XVII веков. Это — многоголосная музыка в лоне церкви. Здесь не было авторов в нашем понимании этого слова, хотя многие композиторские имена хорошо известны: Палестрина, Орландо Лассо, Жоскен де Пре... Идея тогдашнего композиторского творчества — не создание своего мира, своего языка, техники, а следование канону. Канон (закон) — это свод правил организации музыки, владение которым требует больших знаний и мастерства. (Словом «канон» называется одна из основных форм полифонии.) Композитор в полифонической музыке — мастер цеха. Такой же, как каменщик или ювелир. Он носитель тайн ремесла, добытых упорной учебной и тяжелым трудом. Этаким Сальери — с точки зрения романтической эпохи.

Главная музыкальная идея полифонии — равенство всех голосов. То есть все одновременно поют одну и ту же тему (или темы). Это символизирует равенство верующих перед Богом, к которому музыка и обращена. В полифонии нет другого слушателя. Человек в пространстве церкви погружен в звук, даже если сам не поет. Звук голосов уносится вверх под своды и возвращается долгим эхом.

Мастерство композиторов-полифонистов осталось эталоном, недостижимым идеалом в искусстве.

Композиторы с конца XIX века испытывали тоску по полифонии. Исчерпанность гуманистических идей они воспринимали как исчерпанность средств гармонического языка. И в XIX, и особенно в XX веке неоднократно предпринимались попытки возродить полифоническую технику письма. Технику возродили, а полифонию — нет. Потому что невозможно возродить средневековую модель организации жизни, мировоззрение, этику и т. д. Все крупнейшие композиторы XX века обращались к полифонии в жанрах концертной музыки и соответственно романтической эстетики и этики. К концу XX века мир кардинально переменялся. Распад последней великой империи — не начальная, а конечная точка процесса распада идеи Гармонии мира. И Европа, и Америка перестали быть ареалом обитания белого человека. Дело не в полиэтничном составе населения, а в реальном сосуществовании на равных (или почти на равных) разных культурных традиций, религий, менталитета, образа жизни.

Историки говорят о двух взаимосвязанных чертах эпохи постмодерна — глобализации и локализации. И разные тенденции в искусстве отвечают этим полярным устремлениям.

Локализация — направление охранительное. И связана с суверенизацией и самоидентификацией народов и культур.

Эпоха постмодерна, в которую мы живем, на самом деле время возвращения западной культуры к идее **канона**. То есть к той идее, на которой и основывалось музыкальное искусство до XVI—XVII веков и на которой основаны все традиционные культуры Азии и Африки. Практически тот загадочный поворот композиторов-новаторов вспять — не только к средневековью, но и к романтизму — знак отказа от идеи самовыражения автора, которая нуждается в выработке самостоятельного стиля («стиль — это человек»), образной системы, языка. Опора на готовые модели и есть канон. Появился даже такой оксюморон, как «академический авангард». В разных странах продолжают существовать авангардные школы со своими крупными мастерами. Они разрабатывают идеи периода расцвета этого направления, превращая и авангард в канон.

Композиторское творчество ушло на второй план, а на авансцену культурной жизни вышел исполнитель. Это обычно для времени канонического искусства. Канон, впрочем, как любой живой миф, нуждается в пересказчике и комментаторе.

Процесс «канонизации» в западном искусстве — не кризис, а вполне нормальный этап развития. Это — охранительная тенденция. И именно в эпоху диалога культур, в которую мы вступаем, она естественна и необходима. Более того, именно это обстоятельство делает возможным равноправный диалог. Во времена искусства авторского самовыражения диалога не было и не могло быть. Мы жили в великой стране СССР, где разные народы и племена навеки сплотила великая Русь. На протяжении всего советского периода из «центра» в «окраины» двигались организованные колонны композиторов, которые приобщали «отсталых аборигенов» к европейской культуре. Писали симфонии, перекладывая напевы шаманов и акынов на симфонический оркестр и обучали этому местные таланты. Идея просвещения в конечном счете привела к унификации культуры. Голоса всех народов равны при условии, если они поют свои песни на один лад.

Утопическая идея единства народов, культур и земель, управляемых из единого центра, четко соотносилась с идеей Гармонии мира и соответственно насильственным европоцентризмом в культуре.

Повторюсь: после всего, что пережили народы в XX веке, культурная суверенизация — процесс естественный, закономерный и вполне здоровый.

Но движение мира к единству, глобализация — такой же неизбежный и закономерный процесс. Не буду повторять общеизвестного об экономике, науке, информатике и т. д.

Конечно, единому миру нужен единый универсальный язык. Такие языки создаются в разных областях, в том числе и в музыке. Джаз, рок — это языки, синтезирующие азиатские, африканские европейские музыкальные коды. Языки вполне универсальные, но слишком унифицированные. И по своей функции похожие на международный английский, который поймут и в Африке, и в Азии, и в Америке. Это язык, с помощью которого можно легко делать покупки и как-то общаться. Но невозможно выразить ни чувств, ни оттенков мысли.

Еще больше единому миру нужна общая модель культурного сосуществования. В эпоху постоянного диалога абсолютно полярных культур, когда европейский дис-

кант давно уже не прослушивается как ведущий, ищутся иные формы организации музыки, при которой равные друг другу голоса не сливаются и не унифицируются, не огрубляются до предела.

Идея полифонии мира маячит на горизонте — недостижимая и прекрасная. Ее невозможно придумать, сочинить — ни одному человеку, ни группе. Она может сложиться — или не сложиться — как отражение общемирового сознания.

Последнюю свою работу композитор так и назвал «Полифония мира». Здесь предпринята попытка собрать представителей разных музыкальных культур в одном сценическом пространстве. Само по себе это отнюдь не означает обретения полифонии. Диалог разных культур невозможен по горизонтали — один говорит по-китайски, другой — по-английски, третий — по-русски и все друг друга не понимают. Полифония возможна только через вертикаль, через то, что объединяет. Такая модель у всех перед глазами — природа. Несмотря на борьбу видов — «волки зайчика грызут» — люди приходят в лес и ощущают это слияние с миром. Звери, птицы, рыбы, насекомые, растения существуют в единых обстоятельствах: времен года, суток, погоды... Чего проще — следовать этому примеру! Но проблема в том, что культура противостоит природе. Именно она и выделяет человека из природного мира. Только крайние обстоятельства — мировые катастрофы, катаклизмы способны стереть культурные различия. В реальной жизни полифония невозможна. Но и без нее уже не обойтись. Поиск модели полифонии — это поиск тех единых обстоятельств, единого Неба, которое существует, несмотря на все глубочайшие, вернее, высочайшие различия.

В Москве в мае 2001 года на III Всемирной Театральной Олимпиаде состоится премьера музыкальной мистерии «Полифония мира». Автор идеи и композитор Александр Бакши. Спектакль для солиста — Гидона Кремера, струнного оркестра «Кремерата Балтика», ансамбля ударных «Les percussions des Strasbourg», исполнителей на традиционных и сакральных духовых из Америки, Австралии, Германии, шамана, фольклорных музыкантов из России, Тувы, Армении, Хакасии. Режиссер Кама Гинкас, художник Сергей Бархин, продюсер Валерий Шадрин.

День премьеры уже назначен. И я с трепетом ожидаю даже не его, а первый день репетиций, когда на сцену поднимутся Гидон Кремер с оркестром «Кремерата Балтика», хакасский шаман Татьяна Кобежикова, французские ударники из Страсбурга, индейский музыкант Дакота, блистательный дудукист из Армении Геворк Дабаян и американский тубист-виртуоз Джон Сасс, русская фолк-певица Елена Сергеева и Адриан Меарс из Австралии со своим диджериду — странной аборигенской трубой с утробным тембром...

И еще многие и многие другие, не знакомые друг с другом и очень разные люди. А вдруг посмотрят они друг другу в глаза и осознают, что их сосуществование в одном пространстве невозможно?

Работа над мистерией «Полифония мира» длится несколько лет. Могла бы длиться и бесконечно — слишком нереально собрать музыкантов такого уровня на длительный срок для репетиций в Москве, слишком нереально мечтать об обратном в свою театральную веру... Список нереальностей — бесконечен. Надежда, что мистерия состоится, появилась после премьеры одной из ее частей на фестивале Гидона Кремера в Локкенхаузе в 1998 году.

Громадная католическая церковь Локкенхауза вмещала в себя по крайней мере двухтысячную аудиторию. Алтарь превратили в сцену. Или — уравнили. Вполне в духе романтической традиции. На две недели мы стали прихожанами этой церкви: ходили туда утром и вечером — слушать, играть, петь, ожидая Судный день.

Наконец, появилась афиша: Александр Бакши «Умиравший Гамлет». Я сидела на премьере, в третьем ряду с автором, и молча мучилась: быть или не быть театру звука? Вот сейчас выйдет Гидон Кремер, двухтысячная толпа поклонников встретит его привычными аплодисментами. Начнется концерт для скрипки с оркестром, и все полетит к чертям — и атмосфера, и Гамлет, и театр звука... Вообще все, о чем мы мечтали.

Что-то долго не начинают. Сцена пуста.

Медленно, пошатываясь, опустив скрипку, вышел Гидон. Зал затих... Начался последний монолог умирающего Гамлета — скрипичный, которого нет у Шекспира. Из-под сводов церкви вдруг упал вниз невнятный шепот: «Treason — treason — пре-

дательство — измена». Это последние слова, которые мог слышать шекспировский персонаж перед смертью.

С кафедры призывно воззвал контрабас. А на сцене, плавно кружась, скрипачка играла любовный танец, которому эхом вторил герой. Внезапно дверь в церковь отворилась. И ворвался мощный сноп света. Выплыла процессия: три человека в черном на плечах, как гроб, несли контрабас. Они медленно пересекли зал и исчезли за алтарем.

Всхлип, хрип, вздох, последний выдох...

Шагом победителя к возвышению у алтаря подошел музыкант. Резко сбросил с него черное покрывало. Обнажилась и дрогнула белая кожа барабана. И на призывные барабанные удары оркестр отозвался долгим праздничным аккордом. Оркестранты, продолжая играть, скрыли солиста от публики, вышли в зал и застыли перед зрителями.

Гидон сыграл Гамлета! Состоялось...

Я начала разговор с эстетических границ, а пришла к тому, что границ не существует и они теряются за горизонтом. Но совершенно невольно я сформулировала задачу, которая, правда, мне вообще не принадлежит. У нее много соавторов — в разных странах и в разных жанрах искусства. Слух наш меняется, и мы начинаем иначе слышать мир.



Ольга СЛАВНИКОВА

Кто кому «добренький», или Великая Китайская стена

Мягким вечером 20 декабря 2000 года мы с Данилой Давыдовым, лауреатом премии «Дебют» (он этого еще не знал), шли приятными оснеженными улочками к клубу О. Г. И., где шорт-листеры премии должны были читать свои, отобранные из 30 000 конкурсных работ перспективные тексты. Разговор, естественно, крутился около событий «Дебюта». Уже имея на тот момент небольшой, но яркий опыт работы в жюри (до «Дебюта» был позапрошлогодний Букер, после снившийся мне в аллегорическом виде многоэтажного уравнения), я высказалась в том смысле, что, чем легче сделать шорт-лист, тем труднее потом назвать *одного* лауреата. Действительно, на предпоследнем этапе у жюри возникает нормальное стремление поставить в шорт-лист авторов хороших и разных; если корпус номинированных текстов позволяет сформировать финальный список по ассортиментному принципу, это выглядит неплохо, потому что создает приятное (хотя и ложное) ощущение полноты литературы. Однако потом за разнообразие придется расплачиваться, потому что сравнивать чемпионов литературных пород решительно невозможно.

«Представь, по каким признакам можно сравнить породистую болонку с породистым бульдогом», — сказала я Даниле. И как только эти слова были произнесены, из-за угла, куда нам предстояло свернуть, чинно появились в сопровождении неясных хозяев похожая на хризантему манерная болонка и небольшой мускулистый бульдожек, обстоятельно выбиравший, где бы сделать свой вечерний собачий батман. «Люблю такие совпадения в жизни», — заметил Давыдов, чьи рассказы действительно содержали некоторое количество убедительных мистических совпадений. У меня же возникло чувство, будто мы вдруг оказались в фильме «Матрица»: произошел непонятный сбой компьютерной программы (у собак были, кажется, перепутаны хозяйка, болонку выгуливал мужчина, гораздо менее отчетливый, нежели оставляемые им на тротуаре вафельные следы), и отзыв реальности на слова означал, казалось, некое неблагополучие, замаскированное воздушным диетическим снежком. Впечатление подтверждалось святочной красотой деревьев и архитектуры, имевшей цифровое качество изображения и выполненной в той же сладостной стилистике, что и иллюзорная среда человеческого обитания из «Матрицы»: кто видел фильм, тот понимает, о чем я говорю. Мне показалось тогда, будто эпизод иллюстрирует некую важную разницу между мышлением писателей среднего возраста, составивших жюри, и эстетикой нового поколения, уже имеющего, как показал «Дебют», некоторое количество своей литературы. Весь вопрос в том, насколько мы можем друг другу доверять.

Собственно, проблема обрисовалась передо мной задолго до того, как в моем распоряжении оказались рукописи «Дебюта». Информацией к размышлению послужила повесть Марины Вишневецкой «Вот такой гобелен». Я люблю прозу Вишневецкой, люблю прежде всего удивительный язык, позволяющий описать психологию героя при помощи индивидуальных мифологем, которые всякая душа творит из подручного материала. Новая повесть Вишневецкой показалась мне даже более насыщенной и живой, чем предыдущие ее публикации: фраза приобрела особый нервный ритм, что было связано с задачей слить голос автора с голосом главной героини, сочиняющей рэп.

Между тем сама героиня, отчаянная красотка Зимка, меня, сказать по правде, озадачила. По сюжету Зимке двадцать, а счастья у нее все еще нет, что, по понятиям двадцатилетней, ясное дело, катастрофа. Был любимый человек с характерной фамилией Крупознов, умерший при неясных для читателя повести обстоятельствах. Есть в наличии нелюбимый муж Вовчик, поманивший Зимку красивым новорусским благополучием, но немедленно разорившийся и теперь торгующий тортами; есть маленькая дочка Стишка, которую юная мама пытается воспитывать без иллюзий: мол, кричи не кричи, прыгай не прыгай в своем манеже, а в жизни каждый сам за себя. Зимку несет и крутит желание пробиться к настоящей жизни, чтобы стать как фейерверк, ее будоражит вера в какой-то необыкновенный, пусть и единственный, шанс, в черт знает какой счастливый билет, который на самом деле выпадает только персонажам рекламных роликов и мифическим избранникам «Русского лото». У Зимки есть и богатые родственники, молодая еще и бездетная пара, для которых Стишка могла бы стать любимой воспитанницей, а то и приемной дочерью — если, например, ее дурные родители попадут, как иные несговорчивые партнеры дядюшки по бизнесу, в какое-нибудь аккуратное ДТП... Словом, сюжет ладно скроен и крепко шит, круто замешан на реалиях сегодняшнего дня. Царапает одно: почему-то Зимка при всем узнаваемом антураже не кажется читателю двадцатилетней.

Характерно, что в более ранней повести Марины Вишневецкой «Архитектор запятая не мой» столь же юная героиня, мучительно выясняющая отношения между собственной духовной и телесной природой, погруженная в темноты подросткового подсознания, получилась вполне органично. Но на этот раз возникает чувство, будто писательница засылает своего представителя в другое поколение, как разведчика во вражеский лагерь. Все очень похоже: рэп, сленг, обозначенная культовыми именами «их» субкультура, само ощущение жизни как музыкального клипа и одновременно игры с колоссальным джек-потом, который достается счастливчикам под аплодисменты студии. Словом, «легенда» безупречна. Но в то же время совершенно ясно, что язык молодежной тусовки — не родной для героини. Зимка, будто водоворот, втягивает краски и образы окружающего мира — миражи городских стеклянных поверхностей, сонную одурь и хмарь окраинных пейзажей; для нее обладают ценностью — поскольку она воспринимает все с художественной открытостью всякому впечатлению — даже махровая грязь на боках свинообразного пригородного автобуса и сырая бабья плоть увядших тортов. Вообще всякий главный герой рассказа или романа содержит в себе условность: в большинстве случаев он не писатель по профессии и не должен обладать образным мышлением, однако, работая в тексте как второе авторское «я», он «говорит прозой». В этой связи родным языком Зимки становится метафорический и сложный язык Марины Вишневецкой. Здесь подмена, обычно принимаемая читателем как одно из условий художественного договора, бросается в глаза. Получается, что густая языковая проза «не берет» героя из разряда тех, кого старшие товарищи, отделенные от «новых молодых» неким возникшим в последние годы культурным барьером, иронически называют «сникерсами».

Нельзя не заметить, что старшее поколение — между прочим, очень еще далекое от пенсионного возраста — испытывает перед «сникерсами» подсознательный страх. Возможно, попытка Вишневецкой написать свою отвязанную Зимку была на самом деле попыткой разминировать образ, создать безопасную модель непризнанной королевы рэпа — потенциальной королевы роя Чужих, в котором старшие не видят ни образа своего, ни подобия; так фольклор высмеивает черта, заговаривая человеческий страх перед адской сковородкой. Мысли о смене культурного кода, где роль адской бездны отводится чреватым *чужими* текстами безднам Интернета, возникают в умах с тем большей настойчивостью, чем меньше кто-нибудь понимает, что чему идет на смену и кто на ком стоит. Возможно, Марина Вишневецкая потому и потратила на простодушную Зимку так много ценностей своего философского языка, что ей хотелось обнаружить среди «сникерсов» популяцию «добреньких» (образ взят из повести Вишневецкой «Вышел месяц из тумана», где писательница, блестяще разрабатывая сюжет жестокой городской игры, обозначила этим словом не охотников, но жертв). «Добренькие», однако, не могут не быть одновременно и мягонькими, что несовместимо с энергетикой молодежной субкультуры (не только в нынешнем, но и в любом варианте), которую Вишневецкая пыталась приручить.

Чего же боятся старшие товарищи, более или менее обжившие неуюты российских литературных пространств? Появления новых талантов, гениальных мальчишек, которые одним выстрелом убьют всю создаваемую ими литературу? На самом

деле нет. Все отлично осознают, что настоящие произведения не отменяемы другими настоящими произведениями: *свое* место они занимают все равно. Более того: сколько бы ни конкурировали писатели за моральные и материальные блага, появление нового сильного *мога* (образ взят из известного романа Александра Секацкого) ведет к приросту могущества в целом. Качественная литература, даже если она работает в малосовместимых эстетиках, транслирует себя через себя и дает резонансный эффект, чем-то подобный описанному Секацким Белому Танцу (в романе «Моги и их могущества») Белый Танец разрушает мир, и это, конечно, гипербола, но, с другой стороны, литература автономна и не имеет задачи приносить своему социуму прямую пользу; потенциал практического *вреда*, также заложенный в литературе, неизбежно будет реализован).

Если формулировать прямо, то дело не в комплексе страха перед гением. Можно сказать, что все наоборот. Со стороны кажется, что «сникерсы» могут обойтись вообще без литературы — без тех художественных ценностей, на создание которых литрами уходила драгоценная писательская кровь. И если бы «сникерсы» не читали вообще! Тогда их можно было бы просто определить как варваров, утративших навыки письменной культуры, и сокрушаться о судьбах потерянного поколения, по злой исторической случайности выпавшего из цивилизации. Но самый страх заключается в том, что у «сникерсов» возникают собственные тексты, имеющие с точки зрения нынешнего мейнстрима очень мало отношения к изящной словесности. *Плохие*, не вызывающие своими качествами ни малейшей ревности у искусственных и признанных, эти тексты неизвестно почему становятся культовыми и циркулируют в качестве таковых, сея смятение в просвещенных умах. За примерами далеко ходить не надо: вдруг возникшие на горизонте Сергей Болмат и гораздо более беспомощный Обломов-Кладо продемонстрировали, что реальные достоинства книги могут быть вызывающе несоизмеримы ее репутации. По-моему, даже сам Виктор Пелевин, чей роман «Generation “П”» послужил для упомянутых литераторов воспроизводимым образцом и чей успех развивался по большей части в среде читателей «до тридцати», ощутил опасность игры в литературу вне критериев самой литературы. Во всяком случае, в упомянутом романе прозвучало пожелание, при употреблении слова «культурный» представлять живых участников культа. Парадокс, однако, в том, что за участниками дело не станет: если даже они не являются автору в натуральном виде и не просят автографа, об их присутствии свидетельствует поедание приманки — исчезновение из магазинов книжного тиража.

Таким образом, страшна не агрессия гениального, но агрессия *никакого*, плюс эмоция, выражаемая словом «фанатеть». Казалось бы, старшие товарищи, также практикующие дробление критериев по жанрам, эстетикам и симпатиям (отчего гамбургский счет давно не работает и представление о *великой* литературе многим кажется смехотворным), должны были бы вполне нейтрально относиться к субкультурам, порождающим, как им и положено, некоторые субпродукты. Но штука в том, что понятия «что такое хорошо и что такое плохо», принятые в разных кругах, различаются не столько сутью, сколько областью применения; притом, что «персональные прибавки» иногда выходят за пределы здравого смысла, — все более или менее понимают, в чем именно заключаются достижения того или иного автора. Что же касается «поколения “П”», — здесь случайный читатель, не владеющий их китайской грамотой и не настроенный на их эмоциональную волну, становится в тупик. Читателя учили, что литература через художественную частность восходит к общечеловеческому; обнаружив, что модный автор об общечеловеческом не позаботился вообще, читатель не видит, чем расхваленная книга так уж хороша. Герои текста приближаются к нему не больше, чем реальные «дети», в непонимании которых он успел расписаться обеими руками. Таково вкратце положение на той культурной границе, что кажется неприступной, будто Великая Китайская стена.

Если бы премии «Дебют» не существовало, ее следовало бы выдумать и медленно учредить. Эта премия, вручаемая авторам, не достигшим двадцатипятилетнего возраста, представляет всем заинтересованным лицам уникальную возможность оказаться по ту сторону стены и реально погрузиться в самосознание «поколения “П”». Правда, идея и ее воплощение не всем пришлись по вкусу. Звучали даже слова «сворачивание малолетних», хотя, с моей точки зрения, и восемнадцать, и тем более двадцать лет — это взрослый, ответственный возраст, и если в этом возрасте человека призывают в армию и дают ему в руки оружие (а иногда и приказывают применить его по назначению), то почему, собственно, двадцатилетние не могут быть подвергнуты нормальным (включая медные тру-

бы) стрессам литературного быта? Понятно, что увенчание лаврами в юниорском разряде несколько условно: литература не спорт, здесь — в идеале — критерий — вечность, перед которой все равны, независимо от возраста, гендера и иных вторичных литературных признаков. Однако возрастная черта (сама по себе цифра «25» не значит ничего) была нужна, чтобы локализовать ареал текстов, где реализуется то, что «не берется» сложными и *многоопытными* типами письма.

Понятно, что задача не могла быть выполнена на абсолютном уровне. Сам принцип отбора конкурсных текстов в шорт-лист «Дебюта» предполагал потери: длинный список, куда попали из десятков тысяч порядка девяноста работ, составлялся приглашенными экспертами, так называемыми ридерами, чьи подходы могли не совпадать с подходами жюри. Последовательность оценок, таким образом, не могла быть соблюдена достаточно корректно; с другой же стороны, иного способа справиться с лавиной поступающих текстов (среди которых курьезно возникали ищущие щели рукописи вполне матерых графоманюг), по-видимому, не существовало. Опять-таки пишущая братия «до двадцати пяти» была никак не однородна: немалую часть ее составили лица модернистской или даже старой доброй реалистической ориентации. Субкультура поколения не распространяется на все поколение; возможно, что ассортиментный принцип (всякой твари по экземпляру) подсознательно повлиял и на «дебютный» шорт-лист. Однако задним числом обнаружилось (тут сработал один из таинственных литературных механизмов, благодаря которым, например, писатель, уверенный, что берет персонажа из головы, вдруг — уже в опубликованном романе — обнаруживает прототип), что между шорт-листерами, во всяком случае, между прозаиками, гораздо больше общего, чем казалось при отборочном чтении. Таким образом, феномен *поколенческого* все-таки был обнаружен и — по факту — зафиксирован.

Лично мне было очень интересно увидеть, как сами «новые молодые» отвечают на вызовы времени и как они видят себя в зеркале литературы. По ходу дела (жанр премии переплелся со старым добрым жанром совещания молодых писателей) выяснились два обстоятельства. Первое: тексты, выловленные и извлеченные «Дебютом», лишь отчасти и внешне похожи на продвигаемые издателями в качестве культовых коммерческие книги. Непреднамеренность творчества «дебютантов» выгодно отделила их работы от тех просчитанных моделей, где механизмы массового жанра декорированы интеллектуальными отсылками и при этом лишены самостоятельности высказывания. Второе: в ходе семинаров оказалось, что культурная граница, труднопреодолимая для «тридцатилетних» и «сорокалетних», также составляет проблему и для «новых молодых». Драматург Михаил Покраcss, чья пьеса «Не про говоренное» интересна сверхплотным воздухом подтекста, говорил, что среди выведенных им фигур есть одна для него непонятная: мать героини. Притом, что творческий инстинкт всегда подскажет литератору способ компенсировать незнание (часто подставные конструкции бывают интереснее прямых), оговорка драматурга характерна. Стесненные пределами собственного возраста и опыта, «новые молодые» испытывают род поэтической ненависти к тому, что лежит вонне и ощущается ими как область чуждых модальностей, территория тотального несчастья. «Маленькое зеленоватое яблоко в коричневых пятнах лежит на столе. / Мама, как можно жить на земле, рождающей такие плоды?» Это строки из стихотворения лирической поэтессы Елены Костылевой (шорт-лист в номинации «Малая поэтическая форма») передают, как мне кажется, ощущение бессилия перед *внешним*, помноженное на необходимость как-то это *внешнее* любить, — поскольку ты поэт и поскольку человек. Вообще все тексты Елены Костылевой, пронизанные высоким качеством melancholией, могут объединяться и заканчиваться ее же строкой: «хорошо, хорошо, хорошо, я больше не буду». Искусственное прерывание высказывания здесь органично: поэтом владеет чувство собственной неуместности в присутствии адресата слова. Одновременно в стихах Костылевой имеется и некое «мы», по определению безличное: «мы» — это «поля, покрытые знаками», единственно возможный очеловеченный пейзаж. Что касается личного, то оно почти кощунственно: личность не может выполнять всех моральных и эстетических обязательств, навязанных извне.

Более агрессивно и жестко оппозиция всему, что не «мы», выражена в стихах лауреата в упомянутой номинации Кирилла Решетникова. Решетников, единственный в трех поэтических ипостасях, пишет наряду с этнографическими стилизациями и лирическими стихами замечательно глумливые песни от имени персонажа, именуемого Шиш Брянский. Ненормативность этих песен не ограничивается лексикой,

но распространяется на сам способ думать важные для социума *общие* мысли. Полностью привожу текст, много раз исполнявшийся Решетниковым на «бис»:

Вставьте мне в сердечко звездочку, звездочку,
Вместо ушек вставьте ракушки, ракушки,
А вместо глазок — шарики, шарики,
Вместо брючек дайте штаники, штаники,
Положите меня в ясельки, в ясельки,
Чтобы я лежал бы в люлечке, в люлечке
И пускал из носа сопельки, сопельки,
Издавая при этом вопельки, вопельки.
А потом постройте радугу, радугу,
Чтоб по ней бежали гномики, гномики,
Чтобы в ней бы жили кошечки, кошечки,
И кормите меня с ложечки, с ложечки.
Но вы этого не можете, не можете.
Ну так что ж вы, блин, меня не уничтожите?

Между «кормлением с ложечки» и «уничтожением» монструозного пупса, в которого на глазах у читателя превращается лирический герой, нет никакого зазора возможностей. Здесь присутствие барьера обозначено с провокационной откровенностью — и барьер этот не дуэльный (что тоже было бы родом взаимодействия). Перед нами прозрачная (китайская!) стена, обладающая большой искажающей силой. Убрать стену не было бы в эпатажной эстетике Шиша Брянского художественным жестом: наоборот, преграда изучается и культивируется как самоценный объект. Примерно то же самое происходит в увенчанной «Дебютом» и «Антибукером» пьесе Василия Сигарева «Пластинин»: между героем пьесы и его мертвым приятелем меньше разницы, чем между прочим живым окружением, которое кормить с ложечки не может, но уничтожить просто обязано. Будучи потенциальным объектом для коллективного внешнего субъекта, герой заинтересован не в разрушении, но в укреплении барьера: тем самым сужается ареал обитания героя и область творческой власти пишущего. На поэтическом семинаре Бахыта Кенжеева, моего коллеги по жюри «Дебюта», разговор зашел об отсутствии у «дебютантов» чувства трагического. Возможно, это объясняется как раз теснотой и ограниченностью пространства, в котором авторы и их различными способами создаваемые персонажи чувствуют себя «как дома». Трагическое стремится занять собою весь мировой объем и держится на вертикальных связях между божественным и человеческим. Для «новых молодых» мир горизонтален: именно такая его геометрия позволяет быть за стеной.

В середине и конце семидесятых процветал и был любим жанр школьной повести, совсем не такой «ручной», как это кажется теперь, при взгляде издали; тогда герой-тинейджер интересовал читателя своими *отличиями* от ровесников. Взросление было для него не принудительной повинностью, но желанной инициацией, открывающей путь к овладению миром. Не то у сегодняшних «новых молодых». Проза «Дебюта» показывает, что идет эстетизация общепокоренческого, причем направленные на это письменные усилия как бы консервируют молодость, придают ей статус самостоятельной художественной ценности. Возможно, это имеет отношение к характерному для новейших времен культу молодости, что складывается из вульгарной нетерпимости к избыточному весу, морщинам и утрате сексуальности. Возможно также, что взросление играет в текстах «новых молодых» ту же сюжетную и философскую роль, какую в произведениях старших товарищей играет смерть.

Повесть Сергея Сакина и Павла Тетерского «Больше Бэна (Русский сюрприз для Королевы-Мамы)», получившая главный приз в номинации «Крупная проза», выделяется в качестве особой социальной группы так называемых подонков. Негативная окраска слова, с одной стороны, нейтрализует его терминологичностью, с другой же стороны, обеспечивает провокативность, характерную в целом для этого незаурядного текста. Подонкам посвящено в повести отдельное эссе (весь текст, сделанный как дневник двух соавторов, именуемых «братья по разуму», представляет собой конгломерат различных типов современного письма). Пафос подончьего мироощущения — в оппозиции «среднякам-имбецилам», за которыми подонки отказываются признавать право на собственную правду (лично для меня это оказалось живительным контрастом той русской литературной традиции, что ставила во главу угла «маленького человека») и косвенно способствовала зарождению в пробырке истории товарища Шарикова). Приведу несколько цитат из эссе: «Причиной значительного преобладания мужчин-подонков по отношению к женщинам (девушкам) является скорее всего патологическая тяга подонков ко всякой нестабильности, поч-

ти полная апатия к деньгам и отсутствие прочных связей (за исключением мужской дружбы)». «Работать подонки не любят и делают это лишь в силу необходимости иметь деньги на развлечения. (Конечно, любимым или просто заинтересовавшимся их делом подонки готовы заниматься до кровавых мозолей на всех частях тела. Фанатизм им (нам) свойствен.)». «А поскольку потребность в деньгах все-таки не отпадает, то в подонке совершенно неимоверно развит инстинкт борьбы за халяву».

Короче говоря, подонки — это люди, играющие роль вируса в той программе, по которой функционирует социум, породивший монстра политкорректности. Сюжет повести таков: двое русских раздолбаев отправляются в Лондон, не имея денег на жизнь, и обитают там, воруя в магазинах, ночуя в аэропорту Хитроу, проделывая ради некоторых сумм ряд комбинаций, противоречащих букве британского закона. Все, что они проделывают и наблюдают (повесть документальна в том же смысле, в каком документальны, например, книги Эдуарда Лимонова), становится *литературой* еще до того, как фиксируется текстом; процедура превращения самодовольной действительности в фарсовый хепенинг, простодушная ее самоманифестация в ответ на «дурацкие» действия подонков и есть первичный источник «интересности» этой неполиткорректной прозы.

Что касается самого явления «подонки», то оно, безусловно, поколенческое. Устанавливая связь субкультуры подонков с мировой культурой в ее историческом развитии, соавторы повести называют имена людей, уже «приватизированных» истеблишментом (среди них, например, Довлатов и Высоцкий). Однако подонков привлекает та ипостась предшественников, когда они еще были альтернативны общепринятому и должному. Парадокс в том, что если для культурного мейнстрима упоминаемые фигуры есть настоящее (ценности, пребывающие в активном обороте), то для подонков это бывшее, прошлое и в каком-то смысле умершее. В повести есть герой по имени Тони — хозяин небольшого заведения, где временно работал один из «братьев по разуму»; этот добрый человек не оставил подонков в некую трудную минуту и при этом принял их такими, каковы они в действительности. «Так смотришь и думаешь — взростеть тоже можно по-разному, не так уж это (взросление) и страшно», — написано в дневнике. То есть взросление видится подонкам чем-то вроде метаморфоз у насекомых: старшие — это другие, и только немногим из этих других удастся сохранить память о прошлой жизни и ее суровых ценностях.

Некая новая документальность, ставшая основой повести «Больше Бэна», проявилась и в повести, эстетически ей противоположной. «Австралийский связанной» Антона Янковского кажется на первый взгляд традиционной реалистической прозой, имеющей ряд достоинств, свойственных именно этому типу повествования. На самом деле это хроника событий, произошедших с самим автором: уроженец Фрунзе, он видел и пережил все тягостные сюжеты, связанные со становлением «национального самосознания» и мучительным разрывом русских с «освободившейся» малой родиной. Но в отличие от книги Андрея Волоса «Хуррамабад» (с которой чаще всего и сопоставляли «Австралийского связанного») повесть Антона Янковского — не эпос, но медитативный (что было отмечено на семинарах именно авторами «Больше Бэна») лирический текст. В повести есть некое приватное авторское пространство, куда читатель допущен лишь формально: он не получает разъяснений по поводу упоминаемых персонажей и событий и остается в своем незнании, вся ценность которого — в «спонтанном» прикосновении читателя к авторскому «я». Нечто подобное происходит и в интеллектуальном детективе Антона Фридланда «Запах шахмат». Фишка этого романа в том, что все его герои названы именами великих живописцев, при этом прототип (человек и творчество) никак не соотносится с ролью, которую играет в детективных событиях названный в честь него персонаж. Перед нами в чистом виде авторский произвол: главный герой назван Альбрехтом Дюрером только потому, что Фридланд любит Альбрехта Дюрера. Помимо игры побочных эффектов (Жоан Миро с пистолетом или наркобарон Сальвадор Дали — это, скажу я вам, неслабо), прием предельного субъективизма дает, как ни странно, тот результат, который в реализме достигается типизацией: «подкладка» великого имени сообщает читателю, что перед ним не просто киллер, частный сыщик или владелец ночного клуба, но *человек вообще*. В романе имеется и еще одна закрытая капсула смысла: некий Тренинг, бывший причиной ряда принудительных самоубийств, так и остается нераскрытой загадкой, глава, посвященная его описанию, в тексте пропущена. Таким образом, перед нами псевдетектив, изящный конструктор, где читателю предлагается насладиться чистой графикой текста — написанного, что характерно, предельно простым, почти драматургически голым языком.

Приватное нерасшифрованное авторское пространство, которое присуще, как отметил на семинаре «Дебюта» редактор альманаха «Вавилон» Михаил Кузьмин, современным лирическим стихам,— присутствует и в прозе. Более того: наличие нерасшифрованного становится одним из важнейших условий ее существования. Рассказы Данилы Давыдова (по большому счету это единственная проза «Дебюта», давшая мне несколько уколов *настоящего*),— это работа по периметру. Показывается не событие, но обстоятельства события. Некий человек едет с чемоданчиком и пишущей машинкой в некий город, где его ожидают встреча с некими людьми и некая работа, которая без него проделана быть не может; при этом читатель никогда не узнает, в чем заключались важность работы и цель поездки. Зато перед ним проходит несколько пластических картин, ему показывают миманс персонажей и предметов, из которого логически не следует ровно ничего. «Глядя на неизвестные пространства, Юлий думал о своем»,— вот та исходная позиция, из которой развивается проза Данилы Давыдова. Его премированный сборник эпатажно называется «Опыты бессердечия». На самом деле «бессердечие» точнее было бы назвать внесердечием: понимая, что прямое изображение человеческих поступков и чувств во многом утратило свой потенциал, автор учится *мыслить око-ло*. Вообще говоря, работа по периметру — прием не самый новый, у Давыдова нет на него патента (несколько подобных текстов имеется, например, в книге Виктора Лапицкого «Борхес умер», изданной в «Амфоре»). Однако, чтобы прием был реализован, необходима такая пластика письма, которая всегда эксклюзивна; у Данилы Давыдова эта эксклюзивность присутствует.

Что дальше? Этот вопрос, обсуждавшийся на семинаре «Дебюта», оказался не праздным и даже болезненным для его участников. Та новая документальность, что проявилась в прозе шорт-листеров (и во многих текстах лонг-листа) предполагает, в сущности, затратный метод создания героя. Чтобы написать текст, нужно сперва «съездить в Лондон» и до-словно (до-словесно) прожить-спровоцировать событие, расхлебывая совершенно реальные его последствия. Такой экспериментальный путь можно даже назвать героическим (мало кто из «старших товарищей» так жертвует себя литературе) — но рождается ли в этом процессе художник, творящий словом и воображением? Возникает ли «тот, кто пишет» — рабочее «я», подключающее литератора к многообразным ресурсам литературы? Вопрос остался открытым.

Зато «поколение “П”» свободно от другого проклятого вопроса: важна литература для общества или неважна? «Сорокалетние», даже те, кто страстно приравнял роль литературы к роли футбола, были равнодушны к статусу писателя в социуме; «новые молодые» оставляют проблему без внимания, поскольку социум больше не является для них поставщиком авторитетов. Под защитой своей Великой Китайской стены (любое оборонительное сооружение есть произведение трудности, помноженной на особенности жизни) талантливые ребята консервируют молодость впрок и пока не стремятся к той конечной свободе художника, когда никаких границ больше не существует. Их герои создаются сравнительно простыми, натуральными художественными средствами; странность обстановки прозы порою заменяет точность метафоры. Зато у «новых молодых» есть один завидный творческий ресурс: выросшие в историческую эпоху слома причинно-следственных связей, они в своих текстах свободны от цензуры причинности. Вышеприведенный эпизод с собаками тому иллюстрация; исчезновение жесткой причинности обеспечивает иное, более текучее агрегатное состояние прозы, и это проявилось в рассказах Данилы Давыдова — единственного из «дебютантов», по которому, как мне кажется, вопрос о рождении художника уже не стоит.

Примерно год назад под рубрикой «Терпение бумаги» в «Октябре» я писала в связи с некоторым корпусом «молодой» литературы, что поколение детей в каком-то смысле «старше» родителей, потому что живет в более позднее историческое время и принимает на себя больший исторический груз. Очень может быть, что культурный барьер, именуемый здесь Великой Китайской стеной, есть на самом деле плотина, которой «новые молодые» отгораживаются от бывшего до них и написанного до них. Постмодернизм исчерпал свои адаптационные возможности; видимо, прав писатель, начинающий с условного нуля. А что до героя «молоче двадцати пяти», то я бы за это дело не взялась: пусть нынешние «дебютанты» сами увидят себя на расстоянии, которое с возрастом не преминет образоваться.

Владимир БЕРЕЗИН

Три Саломеи

Время Луны, это время Луны...
Борис Гребенщиков

Но ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн ни словом не обмолвились о безумном и порочном ее обаянии.

Шарль Гюисманс

Эта история напоминает нескончаемый спектакль, полный символических фигур. А именно символы управляют человеческим сознанием. Луна и Солнце, любовь и смерть, женщина и мужчина... Этот спектакль, кажется, происходит и сейчас — под отраженным светом луны. И вот — действующие лица этого спектакля:

Оскар Фингалл О'Флаэрти Уайльд (1854—1900) — английский писатель. «Счастливый принц» (1888). «Портрет Дориана Грея» (1891). «Саломея» (на французском языке — 1893, на английском — 1894), «Баллада Редингской тюрьмы» (1898). Эстет. «Кавалер зеленой гвоздики». Осужденный. Писатель, про которого Чуковский говорил: «...когда мы услышали от него этот гимн о счастье страдания, мы закричали: он наш, мы раскрыли ему сердца, и Оскар Уайльд уже давно наш русский, родной писатель». А Бальмонт сказал о нем так: «Оскар Уайльд напоминает красивую страшную орхидею. Можно говорить, что орхидея — ядовитый и чувственный цветок, но это цветок, он красив, он цветет, он радуется».

Обри Бердслей (1872—1898) — английский художник-график. Не получил специального художественного образования; начал с подражаний поздним прерафаэлитам (Берн-Джонсу и Крейну) и уже с середины девяностых стал одним из наиболее модных художников английского символизма. Иллюстрировал журналы («Савой») и альманахи («Желтая книга»). Рисунок его тщательно отделан и изощрен.

Рихард Штраус (1864—1949) — немецкий композитор и дирижер, рожденный в Мюнхене, живший в Веймаре, Мейнингене и Берлине, а последние годы жизни проведший в Гармише. Автор симфонических произведений, которые написаны им в XIX веке, и опер, которые почти все написаны в XX.

Однако настоящие действующие лица — это юная девушка Саломея, дочь Иродиады, пророк Иоанн, тетрарх Иудеи Ирод Антиппа, молодой римлянин Тигеллин, безымянный сириец — начальник стражи, паж, нубиец да каппадокиец.

Судьбы последних неизвестны. Они, что называется, лица не исторические.

Что касается Ирода Антиппы, то Ренан пишет следующее: «Когда Калигула возвел Ирода Агриппу в царское достоинство, завистливая Иродиада поклялась, что и она тоже будет царицей. Постоянно понукаемый этой честолюбивой женщиной, которая обходилась с ним как с трусом, потому что он допустил другого быть главою его семьи, Антиппа, преодолев свою обычную беспечность, отправляется в Рим, чтобы ходатайствовать титул, только что доставшийся племяннику (в 39 году нашей эры). Но дело приняло самый дурной оборот. Ирод Агриппа повредил ему у императора, и Антиппа был смещен и влачил остаток своей жизни из одной ссылки в другую, в Лионе и в Испании. Иродиада последовала за ним в его опале. Понадобилось по крайней мере сто лет, прежде чем имя их безвестного подданного, ставшего Богом, дошло в эти отдаленные страны, чтобы напомнить на их гробницах об убийстве Иоанна Крестителя».

Крестителю отрубили голову и как лакомое блюдо поднесли девушке.

Девушку потом (но это уже домысел) забили щитами солдаты. Уайльд пишет: «Солдаты бросаются и своими щитами сокрушают Саломею, дочь Иродиады, принцессу Иудеи».

Именно «сокрушают» — будто разрушают здание или уничтожают статую. Но и этот большой list или cast — список персонажей — неточен. История строит героев по три. Главных персонажей всегда трое. Это три Саломеи.

Саломея Оскара Уайльда, Саломея Обри Бердслея и Саломея Рихарда Штрауса. Я привожу имя без кавычек, не имея в виду названия произведений.

В истории Саломеи, ее поступках много эстетики, эстетики XIX века, его закатной части, умирающей этики. Как было на самом деле, никто не знает. Мы лишь реконструируем события, отправляясь от текста. (Лишь одна женщина, немецкая машинистка, имела наивную смелость сказать Томасу Манну, передавая ему отпечатанную рукопись романа «Иосиф и его братья»: «Теперь-то я знаю, как было на самом деле».)

В поисках смысла человечество использует ворох неверных коннотаций, строит удобные для себя миры. Виктор Шкловский писал так: «У профессора Нечаева приведен пример того, до какой степени неотчетливо неподготовленный человек воспринимает картину».

В киоте одной бабы он нашел лубочную картинку, которая изображала, как весна взяла мужика за чуприну. «Что это такое?» — спросил он хозяйку. Она ответила: «Это усекновение головы Иоанна Крестителя».

Есть, правда, канонический вариант этой истории. В нем много загадочного, многозначного. Он пересказан евангелистами в Священном Писании.

Непонятна пружина поступков, или, вернее, недосказана. Быть может, дело в матери Саломеи, которая, «злаясь, желала убить его; но не могла». Но ведь и Ирод тоже «5...хотел убить его, но боялся народа, потому что почитали его за пророка».

24. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя.

25. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.

26. Царь опечалился; но, ради клятвы и возлежащих с ним, не захотел отказать ей.

27. И тотчас послав оруженосца, царь повелел принести голову его.

28. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей».

Бердслей изобразил свою Саломею изнеженной, с книжной полочкой, с томиком Золя. От его изящного рисунка веет, как говорят ученые люди, «интертекстуальностью».

Но Бердслей шел не за Уайльдом, чья пьеса впервые была поставлена в 1896 году. Он двигался за образом Саломеи, а не за словом текста, и мог это себе позволить.

Надо сказать, что Саломея имеет своего двойника, тоже язычницу, как и она сама, — Юдифь. Женщину, оруженную с головой. Юдифь представляется только с головой Олоферна, как нерасторжима Саломея с головой Иоанна Крестителя. На картинах у Юдифи застывшее лицо, это Зоя Космодемьянская давнего времени. Юдифь всегда бесстрашна, легкая улыбка, радость и спокойствие — от *Literatur de Judith a Bethulie* Боттичелли (где голову несут на блюде) до Юдифи Кранаха. Ряд этот бесконечен, меняются платья, мелькают в женских руках мечи — кривые, прямые. Остается константой спокойствие (в противоположность страстным движениям или — иначе — плясам Саломеи).

Героиня Кранаха вполне соответствует женщине 30-х годов XVI века. И это тоже «интертекстуальность».

Итак, Бердслей следует образу. Но важнее, что он следует стилю времени, кодексу, сформулированному Уайльдом: «Поменьше естественности — в этом первый наш долг. В чем же второй, — еще никто не дознался».

Отношение времени к экспериментам — жесткое. Современники не любят экспериментирования. «Саломея» и «Электра» Штрауса были типичными и по стилю, и по судьбе.

Жизнеспособность этих опер является вопросом социологическим. Пороки персонажей, превращение античной и библейской историй в гротеск привели к кризису этики. И если число поклоняющихся Зевсу ничтожно мало, то уважающих Библию — достаточно. Красота безобразия, порок, к которому, как ценник, прилипло прилагательное «сладостный». Смешение стилей приводит к синтезу искусств. Говорят, что, когда в ноябре 1903 года в Берлине, во время представления «Саломеи» Оскара Уайльда с Гертрудой Эйнзольдт в главной роли, кто-то сказал Рихарду Штраусу: «Вот подходящий сюжет для вас», — композитор ответил: «Уже работаю над оперой».

Уайльд написал свою пьесу в 1893 году под влиянием «Иродиады» Флобера и романа Гюйсманса «Против течения». А Гюйсманс пишет о нашем сюжете так: «Из художников дез Эссент больше всего восхищался Гюставом Моро. Он купил две его картины и ночи напролет простаивал у одной из них, “Саломеи”. (...)

Саломея сосредоточена, торжественна, почти царственна. Начинает она похотливый танец, который должен воспламенить дряхлого Ирода. Ее груди волнуются, от бьющих по ним ожерелий твердеют соски. На влажной коже блещут алмазы. Сверкает все: пояс, перстни, браслеты. (...)

Образ Саломей, столь впечатливший художников и поэтов, уже много лет не давал дез Эссенту покоя.

Но ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн ни словом не обмолвились о безумном и порочном ее обаянии. И осталась она непонятой, таинственно, неясно проступая сквозь туман столетий, была малоинтересной обычным, приземленным людям, но волновала обостренное восприятие невротиков. Не получалась она у поэтов плоти, к примеру, у Рубенса, который изобразил ее своего рода фландрской мясничихой, и оказалась неразгаданной писателями, проглядевшими и завораживающий жар плясуньи, и утонченное достоинство преступницы.

И вот наконец Гюстав Моро пренебрег евангельским рассказом и представил Саломею в том самом сверхъестественном и необычном виде, в каком она рисовалась дез Эссенту. Нет, это ни лицедейка, которая танцем бедер, груди, ляжек, живота заставляет старца исходить от животной страсти и подчиняет его себе. Это уже божество, богиня вечного исступления, вечного сладострастия. Это красавица, катаlepsический излом тела которой несет в себе проклятие и колдовскую притягательность, — это бездушное, безумное, бесчеловечное чудовище, подобно троянской Елене, несущее гибель всякому, кто ее коснется.

Увиденная именно таким образом, Саломея принадлежала уже преданиям Древнего Востока и обособлялась от евангельского образа.

Герой Гюисманса, кстати, любил разглядывать и другую картину, вернее, акварель на тот же сюжет, где дворец Ирода был похож на Альгамбру, где все уже произошло, меч напоен кровью, где вокруг головы на блюде уже нимб и сама голова возносится с блюда. А тело плясуньи горит огнями — ее драгоценности отражают свет возносящейся головы. Они горят отраженным белым светом, так, как всегда светит луна. Луна навсегда связана в мифологии с женщиной. И не потому, что она же — Диана, закинувшая за спину или держащая в руках табельное оружие охотницы — колчан со стрелами. А потому, что она, Луна, повелевает водами, потому что рождение и умирание Луны, превращение ее в месяц (уже не женского рода в нашем, навеки русском языке) периодически в четыре недели, потому что ночь — женское, а никакое другое время.

И женщина есть зеркало, хозяйка отраженного света.

И в этом отраженном свете Саломея преобразается: «...ушла богиня. Явилась насмерть испуганная лицедейка, возбужденная танцем плясуньи, оцепеневшая от ужаса блудница. На акварели Саломея предстала более чем реальной — созданием горячим и жестоким; и была ее жизнь по-особому и грубой, и тонкой, как возвышенной, так и низкой, чем и пробудила она чувства старца, покорив волю его и опьянив, точно цветок любви, взошедший на земле похоти в садах святотатства».

В своей статье «Религия и зрелища (по поводу снятия со сцены «Саломей» Оскара Уайльда)», Розанов писал (предварительно гениально заметив: «А Россия — территория неожиданностей и беспричинного»), что «в Берлине актеры продолжали бы играть, публика не допустила бы и мысли, что то, что нравится *всем*, может быть остановлено по желанию *одного*... Но в Берлине был Гегель и написал свою «Логику», были Гумбольдт и Риттер; Германия есть страна Гете и Шиллера; в Германии был Лютер».

Это большая натяжка — сравнение общественного мнения в пользу Германии или какой-нибудь другой страны. Общественное мнение везде одинаково. Поэтому цитировать знаменитые слова о территории неожиданностей нужно очень аккуратно.

Об этом говорит история не только пьесы, но и оперы. Один из уважаемых сотрудников Байрёйтского театра в ответ на вопрос, слушал ли он «Саломею», ответил: «Я не прикасаюсь к грязи».

Первая исполнительница партии Саломей отказалась от роли после третьего спектакля, «...а музыкальной компетенции его королевского величества короля Саксонии было явно недостаточно для этой необычной оперы. Все считали, что в Берлине, где кайзер проявил по отношению к «Саломее» «очень большую сдержанность», в Вене, в Англии, в Соединенных Штатах тем более будут высказаны сомнения морального порядка», — так писали об этом.

Однако опера, где либидо идет в танце рука об руку с мортидо, уже начала свое победное шествие по миру. И это именно ее Ромен Роллан назвал «чудовищным шедвром».

В пьесе Уайльда есть одна особенность, которая соотносит текст с Серебряным веком русской литературы. Это все та же тема Луны. И это тема отраженного, мертвого света.

В отличие от Солнца, дающего жизнь, Луна в этой символике — солнце мертвых, знак смерти. Они существуют в оппозиции, как Серебряный век к Золотому, как эсхатологический мотив *fin de siècle* ко времени начала века XIX.

Луна — особое светило, полное своих тайн и загадок, на котором то Каин убивает Авеля, то человек отправляется в странствие с мешком, прихватив дубинку. Она повернута к нам вечно одной и той же стороной. Она напоминает о чем-то.

А Саломея движется к смерти и — одновременно — к любви. В этом неодолимом движении есть что-то неотвратимое, как что-то неотвратимое есть и в смерти.

Теперь самое время отвлечься от высокого стиля и от западноевропейской утонченности. На другой край континента, называемого Евразией, по узким камчатским речкам идет на нерест лосось, идет на нерест нерка, давится в узких речках красная рыба, выпихивает кого-то из своих на берег, оставляя лежать с раскрытыми, пульсирующими жабрами.

Если рыба в этом косяке не успевает дойти до верховий, то брызжет икрой на берег, в приречные кусты. Этим — не повезло.

Но если проследить путь той рыбы, что дошла до места, то можно удивиться произошедшей с ней перемене. Живая, полная сил в устье, она превращается в полутруп, из последних сил борющийся с течением. Она плывет уже мертвой. Рыба действительно гниет с головы. Даже сквозь воду виден на этих головах белый налет. Это отмершее, умершее мясо. Рыба выбросит из себя продолжение своего рода — маленькие красные шарики в точном, не поддающемся коррекции месте собственного рождения. Она обречена умереть вслед за актом продолжения рода.

Я видел эту рыбу. Кстати, рыба — символ христианский.

У нас, впрочем, была своя голова, воспетая Пушкиным, большая, как нестреляющая Царь-пушка и незвонящий Царь-колокол. Это голова неназванного витязя, в которой сверхъестественная сила остановила жизни дух. И умирает она тоже страшно: надувает ноздри, скрипит зубами, шепчет невнятный укор брату и затухает, как умирающий костер. «Дрожащий карлик за седлом не смел дышать, не шевелился и чернокнижным языком усердно демонам молился».

Этот карлик, между прочим, традиционно изображается в халате, осыпанном обломками луны — полумесяцами.

Теперь вернемся к Саломее. Она обречена с первых тактов музыки Штрауса, она обречена с первых строк Уайльда.

«Паж Иродиады: Поглядите на луну. У луны очень странный вид. Можно подумать, что это женщина, вставшая из могилы. Она похожа на мертвую женщину. Можно подумать, что она ищет мертвых».

Даже зная, что она обречена, принцесса Иудеи не может остановиться.

Батай писал: «У людей издавна было о смерти тревожное знание. Картины, изображающие человека с грозно выпирающим фаллосом, относятся к верхнему палеолиту. Они входят в число древнейших изображений человека (им около тридцати тысяч лет)». А потом он замечает: «Но в этой замкнутой глубине обнажается — на миг — парадоксальная связь — связь тем более тяжкая, что разоблачается она в этом недоступном сумраке. Эта существенная и парадоксальная связь смерти и эротизма».

Эрос движется рука об руку со смертью. Это существенная, но необходимая разумному человеку биологическая связь.

Три «Саломеи» появились почти одновременно — на рубеже веков.

Перед большой войной. Перед бойней, в которой не шел счет отдельным головам. Та война (впрочем, как и другие войны, но именно эта подвела черту прежнему веку культуры) была «антиэстетической».

Три «Саломеи» недаром родились сразу в нескольких контекстах — литературы (драматургии), живописи (графики) и музыки (оперы). Символы разбрелись по миру, как погорельцы. Саломеи множатся, и взмахивают мечи послушных палачей. Встает над миром луна, освещая отраженным светом красоту, злодейство и покупку смерти без помощи денег. Восточные орнаменты, не имеющие никакого отношения к подлинным орнаментам, узоры, придуманные в Европе, символы, общие для всех. Голова и женщина. Вот этот набор, в котором меняется только женщина. Меняются узор и орнамент литературного или какого-нибудь другого описания.

Орнамент строфичен, узор строчковат.

Символ — общекультурен.



Павел БАСИНСКИЙ

ГОРНО-АЛТАЙСК

Лилия ЮСУПОВА. «КАЧНЕТСЯ МАЯТНИК...». Горно-Алтайск, РИО «Универ-Принт», 1999. Тир. 500 экз.

Стихи горноалтайской поэтессы, которые, как утверждает автор предисловия к сборнику Паслей Самык, «написаны кровью сердца». Увы, комплимент сомнительный, ибо «кровь сердца» — это поэтический штамп. Стихи очень личные, даже тогда, когда автор обращается к великим.

Когда любовью полнится душа,
Ахматову читаю, не спеша.
Когда я размышляю в тишине,
Волошин или Гете ближе мне.
А в дни разлада обретаю мир,
Когда со мною Пушкин и Шекспир.

И в час любой всегда дадут совет
Мне Лао-Дзы, Христос и Магомет.

Стихи Л. Юсуповой мне не показались выдающимися. Однако ж не могу не согласиться и с такой ее поэтической формулой:

Не зри, мой критик, недостатков в слове —
Не подрывай читательской любви.
Когда мой стих не для твоей души —
Возьми перо и сам стихи пиши.

Не могу, не умею! И потому умолкаю, дабы не подорвать читательской любви.

ДОНЕЦК

Светлана ЗАГотова. С МИРОМ ПО МИРУ. Донецк, «Кассиопея», 1999. Без указания тиража.

Наталья ХАТКИНА. ЛЕКАРСТВА ОТ ЛЮБВИ. Донецк, «Юго-Восток», 1999. Тир. 500 экз.

Русское поэтическое поле существует и в ближнем зарубежье. Мы об этом начинаем забывать, но это так. Выходные данные стихотворного сборника Натальи Хаткиной (стихи написаны и изданы по-русски) даны на украинском языке. Литературно-художне видання. Наталія Вікторівна Хаткіна. Лікі від кохання. Російською мовою. Пока я это набирал, раз двадцать приходилось переключаться alt-shift — с кириллицы на латиницу и обратно. Ужасно неудобный язык! Но стихи хорошие, озорные:

Платон! Любовник мой беспутный!
Теперь мне истина милей.

Стихи Светланы Заготовой ритмически нервные, в духе Цветаевой.

Красавчик Ужас!
Как уснешь?
Прижмет — не вздохнешь.
Два черных озера — очи —
музыка ночи.

Напряжение — разрядка, напряжение — разрядка. Не очень-то новый принцип, но некоторые стихи написаны мастеровито, а главное, чувствуется, что у поэтессы хорошо поставлен слух:

Красны маки,
Красны флаги,
Красны пашни.
Кровью пахнет.

ИВАНОВО

Ирина СОЛОВЬЕВА. МУЗЫКОЙ ПОДНЯТЬ ДО ТИШИНЫ. Иваново, «МИК», 1998. Тир. 200 экз.

Тоже стихи. Пейзажи, пейзажи. Иногда вдруг прорывается что-то почти «японское»:

На одной стороне ветки — луна,
На другой — снегирь,
Значит, величина равна
У таких неодинаковых гирь,
Если ветка не дрогнет?

Для гирь все же главное не величина, а вес.

Владимир ЧЕРКАШОВ. С ДУШОЮ НАРАСПАШКУ. Стихотворения. Иваново, «Иваново», 1999. Тир. 500 экз.

Покосившийся забор.
Куст крапивы у порога.
За рекой косматый бор.
Лентой пыльная дорога.

Это родина моя...

АСТРАХАНЬ

Анна ЕВГЕНЬЕВА. СВЕТЛЯЧОК. Астрахань, без издательства, 2000. Тир. 100 экз.

Стихи вместе с прозой. Стихи, уж простите, плохие:

Любовь перед разлукой все сильнее.
Пусть осень жжет костры — я вижу лето.
Моя свеча всех в мире солнц ясней.—
Ну, что возьмешь с безумного поэта?

В самом деле — что с него возьмешь? Ну как минимум честное пионерское, что в его стихах осень больше не будет жечи костры (отожгла уже сто раз!), а свеча не будет сравниваться со всеми в мире солнцами. Ладно? Куда интереснее проза А. Евгеньевой, особенно ее симпатичные афоризмы. Например: «Зависть — детское размышление о справедливости». Удивительно тонкое и парадоксальное наблюдение. Может, на этом и стоит сосредоточиться?

ВЛАДИМИР

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Книга первая. Владимир, «Фолиант», 2000. Тир. 1000 экз.

Первый коллективный сборник (стихи и проза) восьми авторов, которые называют себя «владимирской школой»: Дмитрий Кантов, Анатолий Гаврилов, Владимир Пучков, Иван Котельников, Владимир Краковский, Мария Васильева, Александр Шарыпов, Вадим Забашкин. Из этой восьмерки в Москве наиболее известен Анатолий Гаврилов, одна из главных звезд издательского проекта Александра Михайлова «Соло». В целом сборник оставляет серьезное впечатление: это — да! — стихи и — да! — проза, это заслуживает более основательных рассуждений, чем позволяет наша рубрика. Из джентльменских соображений процитирую отрывок стихотворения единственной дамы сборника — впрочем, очень страшный, несмотря на «веселенький» мотивчик:

Я беременна немного,
я беременна слегка,
ненадолго, ненадолго,
а всего до четверга.

Понятно, о чем это?

В. КОРМАН. ГИРЛЯНДА. Корона и четыре венка сонетов. Владимир, «Транзит-Икс», 2000. Тир. 200 экз.

Это нечто! Не просто «корона» и четыре «венка», но еще и «венки» эти не обычные, но «бимагистральные акровенки сонетов»! Вдобавок стихи, слагающиеся из первых букв сонетных строк, выдержаны в размере и только что не рифмуются между собой. Все это блуд мастерства, поэзия в этом и не ночевала, скажет строгий ревнитель свободного вдохновения. И я с ним почти соглашусь. И все же с невольным уважением следишь за этим искусным стихотворным макраме.

Владимир ПУЧКОВ. ЭКЛОГИ. Владимир, «Транзит-Икс», 1998. Тир. 500 экз.
Один из участников альманаха «Местное время» (см. выше).

Метались птицы. Где одна,
Там все уже кружились хором.
И пахли яблоки раздором,
Простором, долгим разговором
В сенях у мерзлого окна.

«Пахли яблоки раздором» — хорошо!

ВОЛГОГРАД

Евгений ЛУКИН. ДЫМ ОТЕЧЕСТВА. Стихи и песенки. Волгоград, «Станица-2», 1999. Тир. 200 экз.

Изящно изданная в карманном формате и с супером первая стихотворная книга известного волгоградского фантаста. Остроумная социально-политическая лирика, гораздо лучше, чем пишет сегодня Игорь Иртенев.

РЕЦЕПТ: берется коммунист,
Отрезанный от аппарата.
Добавить соль, лавровый лист —
И кипятить до демократа.

РЕЦЕПТ: берется демократ,
Замоченный в житейской прозе.
Отбить его пять раз подряд —
И охладить до мафиози.

РЕЦЕПТ: берется мафио...
И все. И больше ничего.

Валерий ДАНИЛЬ. ИЗБРАННОЕ. Стихи. Волгоград, без издательства, 2000 (?). Тир. 200 экз.

Трогательное вступительное слово от автора: «К сожалению, когда книга была закончена, оказалось, что мои финансы допели уже последние романы. Именно по этой причине пришлось от каравая отрезать две трети и только одну треть отдать вам». В книге 287 страниц. О стихах не скажу, а вот в прозе (таковая тоже наличествует) встречаются любопытные государственные мысли. Например: «Должность президента (для его же благонадежности) дважды требует голосования от народа: первый раз — в президенты, и второй (по окончании срока) — на пенсию или в тюрьму. Слуг народа надо поощрять за честность и наказывать за вранье, тогда это будут хорошие слуги».

РЖЕВ

Н. В. ЗАРИПОВА. СБОРНИК СТИХОВ. Ржев, без издательства, 1995. Тир. 1000 экз.

Изданные коллективом ржевского краностроительного завода (теперь АО «Высота») стихи уже покойной поэтессы Надежды Васильевны Зариповой (1936—1993), отработавшей на заводе более тридцати лет. Трогательное предисловие как бы от всего завода. Стихи хороши тем, что могут читаться в любой «своей» компании — среди друзей и родственников.

ИСТОКИ. Сборник стихов ржевских поэтов. Ржев, без издательства, 2000. Тир. 1000 экз.

Мудрое начало предисловия: «...наша культура зарождается в народной гуще, на сельских просторах или в провинциальных городках, и только потом дает себя знать в столице. На пустом месте ничего не растет. Чтобы один долгожданный гений создал бессмертный шедевр, нужна основа, нужна та культурная Среда, которую создают сотни скромных талантов и тысячи самоотверженных тружеников». Золотые слова! Если бы это понимали те, кто в свое время разорял наши литературные «колхозы» — центральные и местные союзы писателей, литературные объединения и т. д.!

Евгений ФЕДОРОВ. ПРАВДА О ВОЕННОМ РЖЕВЕ. Документы и факты. Ржев, без издательства, 1995 (?). Тир. 300 экз.

В прошлом выпуске «Русского поля» я писал о книге И. З. Ладыгина и Н. И. Смирнова «На ржевском рубеже» — тоже документальной. Во Ржеве с большим

вниманием относятся к истории одного из самых кровопролитных сражений минувшей войны. Вот и здесь множество документальных свидетельств, которые позволяют увидеть войну без героической дымки — реальную и страшную именно в своей обыденности. Вот, например, сюжет: «Со слов жительницы деревни Барановой Пелагеи в конце ноября или в начале декабря 1941 года в д. Радюкино появился красноармеец. Так как был сильный мороз, красноармеец развел в овине костер. Согревшись, уснул. От костра загорелся овин. Проснувшись, красноармеец побежал. Его заметили деревенские ребята. Сироткин Александр Семенович сообщил о случившемся старосте Комарову. Тот заставил ребят догонять красноармейца вместе с немецкими солдатами. Красноармейца догнали и расстреляли». Вот так!

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Владимир НЕЧАЕВ. ЗОЛОТЫЕ ЗВЕРИ. Стихи. Петропавловск-Камчатский, Дальневосточное книжное издательство. Камчатское отделение, 1992. Тир. 3000 экз.

Владимир НЕЧАЕВ. РОССИЯ, С ПЕЧАЛЬЮ... Опыт приближений. Петропавловск-Камчатский, без издательства, 1995. Тир. 500 экз.

Что такое «опыт приближений», мне не совсем понятно. Почему-то сразу вспоминается «Книга отражений» Ин. Анненского. Есть, однако, очень недурные, на мой вкус, очень горько-русские строки:

Ночью в плацкартном вагоне — тоска и тоска,
Нет ни числа, ни имен — только желчь перегара.
Утро забрезжит. Мелькнут перелески, река,
Хмурый погост, полустанок, убогий и старый.

Вторая книга вышла пять лет назад, а до меня дошла только сейчас. Что с этим автором, как ему живется-пишется на Камчатке? Неплохо было бы получить письмо.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Евгения ИЗВАРИНА. ПО ЗЕМНОМУ КРУГУ. Стихотворения 1991—1998 гг. Екатеринбург, «Уральский литератор», 1998. Тир. 300 экз.

Запомнилось стихотворение, посвященное покойной московской поэтессе Нине Искренко:

Каждому по вере
всем по праву кроме
заперев все двери
не закроешь крови

не зароешь в ямку
не заправишь в рамку
хуже если ту же
перетянешь лямку —

оживать-то в прозе
на кривом ин. язе
каждому по розе
вот и пусто в вазе

Замечательны две последние строки!

Владимир СУТЫРИН. МОСКВААЛЯСКА. Проза для всех. Екатеринбург, без издательства, 2000. Тир. 1000 экз.

Полуфантастическое, комедийное повествование о нашем пограничнике, который случайно оказался в Америке и кое-чего там натворил. Не очень смешно, зато динамично. Мораль: русский из любой беды выпутается. Что Сибирь, что Аляска — два берега...

ПЕРМЬ

Василий ТОМИЛОВ. ПЕРВЫЙ. Стихотворения. Пермь, без издательства, 1997. Тир. 200 экз.

Из предисловия Надежды Гашевой: «Он — красивый, двадцатидвухлетний. Он — талантливый». И дальше по тексту: «лирическая дерзость», «ирония», «влюбчив»,

впрочем, не хватает «глубинной культуры», но это — «дело наживное». В стихах избыточно много самолюбования, пусть и ироничного.

САРАНСК

Юрий САМАРИН. ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ. Повести. Саранск, типография «Красный Октябрь», 2000. (Библиотека журнала «Странник»). Тир. 1000 экз.

Традиционная проза о поисках русским человеком Бога. Современной ее делает наличие духовидцев, экстрасенсов, бывших афганцев и т. д. Читать интересно, хотя результат поисков почему-то заранее ясен.

ЯРОСЛАВЛЬ

Виктор ЛЕВАШОВ. ШЕЛ МОКРЫЙ СНЕГ. Стихи из первой тетради; КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ. Стихи из второй тетради. Ярославль, без издательства, 1999. Без указания тиража.

Видно, что 30-летнему автору нравится писать размером и рифмовать, и это у него, в общем, почти получается. Больше, увы, пока ничего не видно.

Наталья КАЛИНИНА. ЗИМНИЙ БУКЕТ. Поэтический сборник. Ярославль, без издательства, 2000. Без указания тиража.

Любовная лирика:

Я хочу быть зимней вишней
Сладко-спелой, озорной...

А ночи, как и прежде —
Все короче,
А губы, как и прежде —
Далеки...

Не судите, да не судимы будете!

ТОМСК

Вадим МАКШЕЕВ. ПО МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ... Повести и рассказы. Томск, без издательства, 2000. Тир. 1000 экз.

Книга издана в рамках программы «Гражданское общество» при финансовой поддержке Института «Открытое общество» (фонд Сороса). Книга о детстве, об аресте отца, смерти матери и сестры на поселении. «В повести моей не было злобы, нет ее и во мне». Это верно, и это делает прозу Макшеева привлекательной.



Книги для обзора в рубрике «Русское поле» присылайте, пожалуйста, в редакцию «Октября».

Титульный лист

Наталья АСТАФЬЕВА, Владимир БРИТАНИШКИЙ. ПОЛЬСКИЕ ПОЭТЫ XX ВЕКА. АНТОЛОГИЯ. В 2-х тт. СПб., «Алетейя», 2000.

В 1980 году Нобелевскую премию по литературе получил Чеслав Милош, а в 1996-м — Вислава Шимборская. Таким образом финиш столетия для польской поэзии оказался триумфальным. А появление антологии — просто неизбежностью. В нее вошли стихи как Леопольда Стаффа, творившего еще в самом начале века, так и молодых дарований, чьи сборники датированы последними годами века уходящего. Неискушенный читатель встретит знакомое имя — Станислав Ежи Лец. Правда, тут известный сатирик-афорист выступает в жанре для нас диковинном. Но фразки — лишь название непривычное. А по сути — веселый народный стишок, иной раз довольно соленый.

Сами же создатели антологии, давние поклонники и знатоки поэзии, неоднократно получали польские награды за свои труды. Теперь перед нами — самая полная антология польской поэзии на русском языке.

Борис ЭЙХЕНБАУМ. МОЙ ВРЕМЕННОК. МАРШРУТ БЕССМЕРТИЯ. М., «Аграф», 2000.

Блестящий лидер ОПОЯЗа не избежал искушения творить и самому. Всегда любопытно посмотреть, как крупный теоретик управляется с практикой. Не всем удастся. Борис Михайлович (1886—1959) с честью прошел испытание. Если «Мой временник» (1929) — творение сугубо мемуарное, то «Маршрут бессмертия» (1933) — остроумнейшее и увлекательное художественное жизнеописание полуграфомана Макарова, жившего в веке XIX. И передающего поклон коллегам из времен для него будущих.

Андрей САХАРОВ. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI ВЕКА. Учебник для 6-го класса. М., «Просвещение», 2000.

Давненько не выходило у нас толковых учебников по истории. Настолько давненько, что не выдержал сам директор Института российской истории РАН. И взялся за дело. Получилось ново, свежо, без занудства. Без идеологизированности. С упором на цифры, факты и личности. Таким и должен быть цивилизованный учебник для подростков государства Российского, ведущего с историей столь непростой диалог.

Борис ЕКИМОВ. ПИНОЧЕТ. Повести, рассказы. М., «ВАГРИУС», 2000.

Один из немногих нынешних писателей, полностью соответствующих избранному роду занятия. Мудрое спокойствие позволяет ему, не впадая в крайности и не участвуя в литературных играх, просто и здорово писать. Обитаючи себе не в столицах, а на Дону. Рассказывая о людях, самостоятельно и мужественно живущих собственной судьбой.

Наверное, так творили летописцы. По трудам которых изучалась изумленными потомками история России, история горькая и смешная.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ЙОЗЕФА ГАЙДНА, ЗАПИСАННАЯ С ЕГО СЛОВ АЛЬБЕРТОМ ДИСОМ. М., Издательство «Классика-XXI», 2000.

В оригинале название книги звучало несколько иначе: «Биографические сведения об Йозефе Гайдне». Первая публикация относится аж к 1810 году. Именно тогда в Вене увидели свет воспоминания современника о великом композиторе. Альберт Дис описал 30 встреч с Гайдном, назвав их «Посещения» и отведя каждой из них главу в книге. Спустя почти два века мы имеем вполне классический русский перевод ценного исторического документа. Интересного всем.

Райнер ЦЕРБСТ. АНТОНИО ГАУДИ. Пер. с нем. «Taschen/Арт-Родник», 2000.

Этот испанский (правильнее — каталонский) архитектор пользуется любовью не только в Каталонии, но даже и у нас. Антонио Гауди-и-Корнет (1852—1926) буквально вылепил своими руками архитектурный лик Барселоны. Главную улицу города — авеню Диагональ — украшает ровно дюжина выстроенных Гауди зданий! А его собор Саграда Фамилия, строившийся более сорока лет, стал национальным символом. Но наша любовь к нему вызвана иным обстоятельством. Гауди видел, слышал и понял вся и всех, горячо промчавшихся по земле Каталонии. А Россия издавна живет круговертью и сшибкой различных культур и эпох.

Уолтер АБИШ. СКОЛЬ ЭТО ПО-НЕМЕЦКИ. Роман, рассказы. СПб., «Симпозиум», 2000.

Некоторые современники считают Абиша самым значительным писателем, появившимся в США за последние десятилетия. И продолжающим набирать уверенную мощь из огромного потенциала. Роман «Сколь это по-немецки» получил в 1980 году престижную Фолкнеровскую премию. На русском языке публикуется впервые в переводе Виктора Лапицкого, лауреата премии Андрея Белого за 2000 год.

Густав МАЙРИНК. СОБРАНИЕ ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. Т. 1. АНГЕЛ ЗАПАДНОГО ОКНА. Роман. Т. 2. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. Сборник рассказов; ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ. БЕЛЫЙ ДОМИНИКАНЕЦ. Романы. Т. 3. ВОЛШЕБНЫЙ РОГ БЮРГЕРА. Рассказы; ЗЕЛЕНЫЙ ЛИК. Роман. М., «Ладомир», 2000.

Трехтомник представляет собой попытку наиболее полно представить отечественному читателю творчество прославленного в прошлом австрийского автора. Основной корпус его произведений подпадает под определение фантастической прозы. С серьезными элементами гротеска и мистики. Сам он в свое время издавал и редактировал фантастическую и оккультную литературу. Издание добротностью и комментариями напоминает знаменитую серию «Литературные памятники», над которой издательство также продолжает работу.

САФО. ЛИРА, ЛИРА СВЯЩЕННАЯ. Пер. с древнегреческого В. В. Вересаева. М., ООО Издательский дом «Летопись-М», 2000.

Всем известно: Сафо бросилась с Левкадийской скалы в море из-за несчастной любви к молодому красавцу Фаону. Сафо была гетерой, продавалась мужчинам, но истинные чувства испытывала лишь к юным девушкам. По месту рождения Сафо противоестественная любовь носит название «лесбийской». Так вот, почти все это — выдумки. А не выдумки — пленительные звуки ее лиры, перенесенные с далекого острова Лесбос на отечественную почву стараниями Виктора Вересаева.

Валерий БРЮСОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ. Художник Л. Бирюков. **Сергей ЕСЕНИН. СТИХИ.** Художник Н. Калита. **КНИГА ЕККЛЕСИАСТА ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА.** Гравюры Г. Доре. **САЙГЁ. ВРЕМЕНА ГОДА.** Художник Е. Узденикова. **Эдгар ПО. МОРЕЛЛА.** Художник Е. Узденикова. М., «Янико», 2000.

Эта изящная пятерка выпущена в миниатюрном исполнении, в переплетах ручной работы, малыми тиражами и с великолепными иллюстрациями. Издательство «Янико» неутомимо продолжает баловать ценителей плодами любимого дела. «Книга Екклесиаста» (30X40 мм) исчезает в кулаке. И это не фокус. А пиршество для библиофилов и коллекционеров.

Александр ЯКОВЛЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
www.Gazety.ru

Во втором полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:
для подписчиков Российской Федерации — 52 рубля;
для подписчиков стран СНГ — 69 рублей
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28;

«Эйдос» — Гагаринский пер., 21.

" ПЕРСОНА " - журнал для широкого круга читателей, ставящий своей целью раскрытие качеств, которые формируют персону. У нас это личность, обремененная культурными традициями. Герои журнала - те, кто определяет лицо России в XXI веке. Мы рады всем, кому небезразлично состояние нашего общества вообще и культуры, в частности. Наша задача - напомнить о вечных ценностях, рассказать о выдающихся современниках и уже вошедших в историю персонах.

ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Подписной индекс 38678

Объединенный каталог "Подписка-2001".

Адрес редакции: 121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 21

Телефоны: 290-19-85, 291-20-05

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2001 году

«Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Дмитрий БОБЫШЕВ. **Я здесь.** Фрагменты из книги.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**

Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Далее везде.**

Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**

Давид МАРКИШ. **Рыжий.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Тайная история творений.** Рассказы, эссе.

Олег ПАВЛОВ. **Вольная проза.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Бессмертный.** Повесть.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Продолжение новой книги.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭПЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, писатели Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ, Александр ЯКОВЛЕВ.